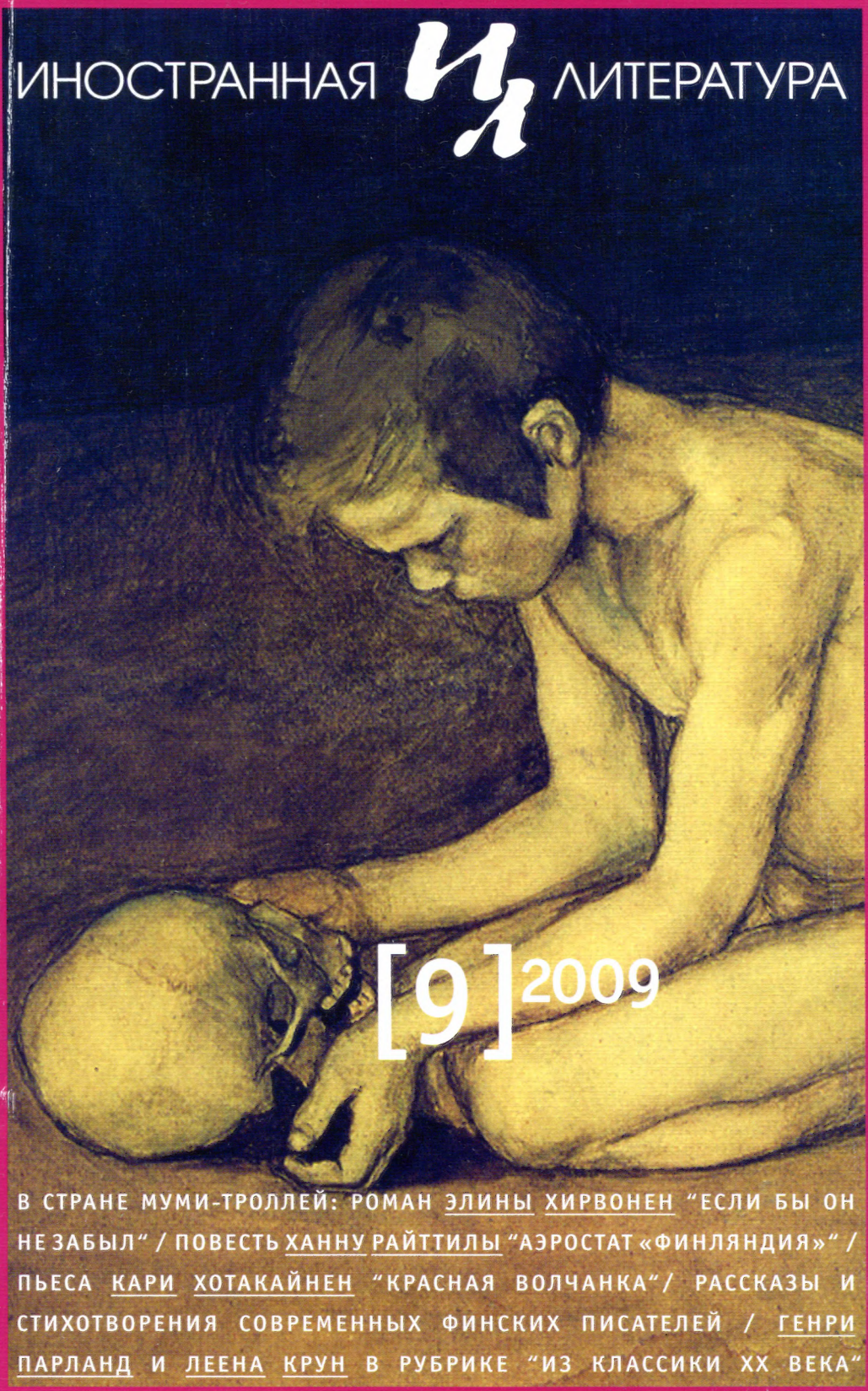
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2009

В СТРАНЕ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ: РОМАН ЭЛИНЫ ХИРВОНЕН "ЕСЛИ БЫ ОН НЕ ЗАБЫЛ" / ПОВЕСТЬ ХАННУ РАЙТТИЛЫ "АЭРОСТАТ «ФИНЛЯНДИЯ»" / ПЬЕСА КАРИ ХОТАКАЙНЕН "КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА"/ РАССКАЗЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ГЕНРИ ПАРЛАНД И ЛЕЕНА КРУН В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА"

Основан в 1955 году

От редакции

Некоторое время назад мы с прискорбием обнаружили: за последние 17 лет журнал лишь однажды опубликовал финского автора, да и то шесть лет назад. А ведь раньше не проходило года-двух, чтобы на страницах журнала не появлялось "чего-нибудь финского". К сожалению, это отражает сложившееся положение вещей на российском книжном рынке: есть представительный сборник финских пьес и готовится антология поэзии, есть Паасилинна и Хяркенен, есть кумиры самого молодого поколения — Мякеля и Куннас, но нет системного представления о том, что такое сегодняшняя литературная карта Финляндии. Вот почему мы решили сделать номер "В стране Муми-троллей", который вы держите сейчас в руках.

Большая обзорная статья немецкого литературоведа Штефана Мостера, написанная специально для "ИЛ", даст вам исчерпывающее представление о сегодняшней финской литературе, а интервью известного журналиста Ярмо Папинниеми — о литературной кухне этой страны.

Мы очень гордимся рубрикой "Из классики XX века" с интереснейшими публикациями из Генри Парланда и Леены Крун. Уверены, что вы увидите этих писателей с новой и, возможно, неожиданной для вас стороны.

Не пропустите пьесу Кари Хотакайнена, глубокое, стильное, сделанное отчасти в традициях театра абсурда исследование межкультурных различий, внезапно обостряющихся, когда в Финляндию вдруг прибывает из далекой России внебрачная дочь добропорядочного главы семьи.

Дебютный роман Элины Хирвонен показался нам очень "финским" — это мастерски заплетенный клубок психологических проблем: взаимоотношения сестры и брата, конфликт детей и родителей, несостыковка мира психически здоровых и больных людей, счастье и горечь любви. Все это написано легко и в то же время остро, недаром в Финляндии роман произвел фурор.

Антология поэзии и блок малой прозы составлены по принципу максимального разнообразия: музыкальность Хелены Синерво, урбанизм Юрки Киискинена, черный юмор Ханну Райтиллы, чувственность Ээвы Тикки, брутальность Юрки Вайнонена. Плюс отрывки из очень интересного культурологического труда Петри Таминена "Земля беглецов", исследующего феномен эскапизма и бегства, беглянок, беглецов и убежищ. Кстати, эту же тему, но совершенно на ином материале рассматривает в своей парадоксальной статье "Катастрофа и выживание в Муми-мире" Кристина Роткирх. Ясное представление о том, кто такие "финские шведы" и каковы особенности и подробности жизни этого национального меньшинства, дает эссе Мерете Маццареллы. И завершают номер иронические страноведческие заметки о Финляндии давно живущего здесь немецкого писателя, актера и телеведущего Романа Шатца.

Этот номер никогда бы не состоялся без деятельного и заинтересованного участия Евгении Тиновицкой, именно ею была предложена большая часть вошедших в номер произведений. Редакция журнала благодарит ее, а также Анну Сидорову, оказавшую нам неоценимую помощь в решении практических вопросов.

Редакция журнала **“Иностранная литература”**
выражает огромную благодарность организации

FILI — Finnish Literature Exchange

за всестороннюю, в том числе финансовую,
помощь в издании этого номера.

FILI — Finnish Literature Exchange —
экспертная организация, деятельность которой
направлена на оказание финансовой поддержки
при переводе и издании финских книг за границей,
распространение литературы Финляндии
за рубежом и повышение ее популярности в мире.

Контакты:
Mariankatu 7 A 4, 00170 Helsinki
Tel. +358 (0) 201 131 293
Fax. +358 (0) 9 656 380

fili@finlit.fi
www.finlit.fi/fili

FILI
FINNISH LITERATURE ABROAD

[9]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

В стране Муми-троллей

5 Штефан Мостер *Финская литература сегодня.* Перевод с немецкого Андрея Чистякова

13 Элина Хирвонен *Если бы он не забыл.* Роман. Перевод Евгении Тиновицкой

80 Кари Хотакайнен *Красная волчанка.* Пьеса. Перевод Анны Сидоровой и Александры Беликовой

138 Ханну Райттила *Аэростат "Финляндия".* Повесть. Перевод Бориса Сергеева

158 Ээва Тикка *Канун весны.* Рассказ. Перевод Любови Тимониной

167 Юрки Вайнонен *Путешественник-исследователь.* Рассказ. Перевод Бориса Сергеева

176 Петри Таминен *Земля беглецов.* Главы из книги. Перевод Евгении Тиновицкой

185 Сюзанна Рингель *Миниатюры из книги "Отличная 'гавана'".* Перевод со шведского Марии Людковской

Антология поэзии

189 Сергей Завьялов *В схватке с чудовищем времени: современная финская поэзия*

192 Юрки Киискинен *Из книги "Туда и обратно".* Перевод Сергея Завьялова

196 Йоуни Инкала *Избранные стихотворения.* Перевод Михаила Яснова

199 Миркка Рекола *Избранные стихотворения.* Перевод Марины Бородицкой, Евгении Тиновицкой

204 Олли Хейкконен *Избранные стихотворения.* Перевод Элеоноры Иоффе

207 Хелена Синерво *Избранные стихотворения.* Перевод Элеоноры Иоффе

Из классики XX века

210 Генри Парланд *Стихи 1929–1930 годов.* Перевод со шведского и вступление Ольги Мяэотс

217 Леена Крун *Тайнарон.* Главы из романа. Перевод Евгении Тиновицкой

Статьи, эссе

233 Мерете Маццарелла *Почему я плохо говорю по-фински.* Фрагменты книги "Линии между звездами". Перевод со шведского Марии Людковской

248 Магдалена Сластушинская *Жизнь продолжается: кино по-фински*

257 Кристина Роткирх *Катастрофа и выживание в Муми-мире.* Перевод с английского Аркадия Гриднева

Наши интервью

262 *"Продвигать чтение – забота государства".* Интервью с главным редактором финского литературного журнала *Парнассо* Ярмо Папинниеми. Запись и перевод беседы Магдалены Сластушинской

Ничего смешного

266 Роман Шатц *Из Финляндии с любовью.* Главы из книги. Перевод с английского Алины Михайловской

БиблиофИЛ

272 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Библиография

276 *Финская литература на страницах "ИЛ"*

Авторы номера

278

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

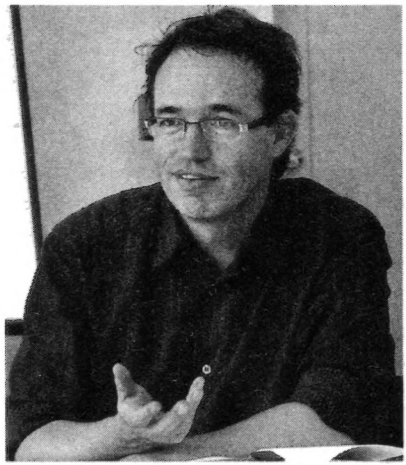
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

М. М. Алексеева
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Штефан Мостер



Финская литература сегодня

Перевод с немецкого Андрея Чистякова

Кому взбредет в голову плохо отзываться о Финляндии? Никому, во всяком случае не тем, кто живет за пределами этой страны. В Европе сегодня найдется мало государств, имидж которых столь же безупречен. Тень "финляндизации"[1], которая когда-то, с западной точки зрения, омрачала картину, уже давно исчезла. На карте мира не найдется места, где бы на Финляндию смотрели как на противника, — везде в ходу положительные стереотипы: многие уверены, будто в Финляндии, по большому счету, хорошо абсолютно все.

В стране по-прежнему тысячи озер и огромные, тихие леса; на севере дорогу переходят олени; на востоке бурые медведи выхватывают форель прямо из воды и лакомятся на десерт черникой. В то же время в городах на юге и западе страны на базе генной инженерии, хай-тека, акций и опционов прижилось благополучие, причем богатство не приобрело извращенных форм; экономика функционирует вполне приемлемо даже во времена финансового кризиса; успехи в образовании выше всяких похвал, даже если рассмотреть их в международном масштабе. Да и северное сияние, едва ли померкнувшее от высокодисперсных частиц, обеспечивает приятную иллюминацию.

Возникает вопрос: что за литература рождается в таких идеальных условиях? Ведь она растет и развивается, несмотря на полярную ночь.

© Stefan Moster, 2009
© Андрей Чистяков. Перевод, 2009

1. Словом "финляндизация" в политологии обозначают политику осторожного нейтралитета и мелких уступок, которой придерживается небольшая страна по отношению к могущественному соседу; это понятие ввели немецкие политики в 1960-х гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Как и прежде, финские библиотеки считаются образцовыми; значение книги как культурного достояния в стране протестантской словесной традиции непоколебимо; книжный рынок процветает, как и местный литературный бомонд; открываются новые издательства; писателям предоставляются государственные стипендии; книги — тема для разговора; писатели — герои статей не только литературных, но и женских журналов, как, впрочем, и бульварной прессы.

В таких условиях литература не сталкивается ни с социальными проблемами, ни с отсутствием свободы. Поэтому неудивительно, что она обращается к частной жизни. В наши дни то, что происходит в стенах финского дома, исследуют преимущественно романисты. При этом среди них есть провидцы, которые выявляют изъяны буржуазного рая, открывают подспудные процессы эрозии в донельзя структурированной жизни народа, сплошь состоящего из среднего класса, — процессы, которые затрагивают не только личную и семейную сферы, но и то, что обычно называют общественной реальностью. Ханну Райттила, пожалуй, относится к авторам именно этого толка: его романы, написанные с юмором и без малейшего намека на нравоучения и социальную критику, изображают переход от материальной культуры к виртуальной — и какой отпечаток это накладывает на финскую душу.

В романах таких проницательных писателей вдруг обнаруживается, что благополучие полностью зависит от колебаний конъюнктуры, а в стране происходят перемены: обезлюдение провинции и разбухание густонаселенных районов (что вообще характерно для малых государств). Взгляд автора останавливается на тех, кому процветающее скандинавское общество известно лишь по картинкам в телевизоре, — а таких в стране треть населения; внимание писателя привлекают высокий процент разводов и рост насилия, свирепствующий национальный недуг — депрессия — и столь же разрушительное "народное средство" от него — бутылка.

В новом тысячелетии финская литература, как и прежде, аполитична, многие авторы боятся прилагательного "социально-критический" как огня, и за этим стоит не что иное, как тоска по автономии искусства. Когда-то литература в Финляндии должна была служить интересам государства и нации, доказывать емкость национальной культуры и языка и, соответственно, вынуждена была придерживаться строгих правил, определявших манеру письма.

Этот конфликт привел, конечно же, к осложнениям, которые испытал на себе еще Алексис Киви, автор "Семерых братьев" (*Seitsemän veljestä*, 1870), самого первого финноязычного романа. Вместо того чтобы с благодарностью оценить его заслуги, академическая элита разразилась упреками: Киви обвиняли в том, что финский язык предстал не в надлежащей чистоте, красоте, благонравии, ведь автор дал слово сельским жителям, крестьянским сыновьям, причем говорили они отнюдь не гладким академическим слогом.

По этим причинам Киви тогда было очень нелегко выжить как писателю, сегодня же, напротив, именно его последователи пользуются наибольшей популярностью. Это те авторы, которые не засматриваются на доступную лишь избранным красоту, а "прислушиваются" к народной речи, берут своих персонажей из народной среды и позволяют им

свободно говорить от своего имени. Лучшее подтверждение этому — Кари Хотакайнен, чей роман "Улица Окопная" (*Juoksuhaudantie*, 2002) имел у публики немалый успех, потому что подарил многим читателям возможность отождествить себя с героями: книга повествует о труднейшей задаче нашего времени — сохранить семью в обществе, где человеку предписано гнаться за счастьем и играть отведенную ему социальную роль. Возможно, настоящий секрет успеха заключается в том, что Хотакайнен следует за Киви: предоставляет слово персонажам и постоянно меняет перспективу, так что некий центральный повествователь не сводит все к одной правде. Благодаря такому методу писатель, кажется, вернее передал переживания многих читателей, чем это сделала бы проза мейнстрима — с неизменной перспективой и правильной книжной речью.

Романы Хотакайнена — как, впрочем, и произведения Райттилы — воплощают тенденцию, которая, строго говоря, всегда присутствовала в финской литературе и окончательно утвердилась в 50-х годах благодаря большим романам Вяйнё Линны: язык финской прозы значительно чаще и теснее, чем в большинстве других стран Европы, соприкасается с языком разговорным. Финские романы с легкостью вбирают в себя диалекты и просторечие, писатели могут фиксировать живую речь людей, причем никто из-за этого не ставит под сомнение художественную ценность книг. Не то чтобы это было абсолютным правилом, но исключением это также не является.

Такое проявление литературной самобытности хорошо соотносится с особым интересом писателей к внутреннему миру своих собственных соотечественников. Даже если они повторяют, что независимы от национального контекста и связанных с ним требований, все равно многие ищут ответа на вопрос, что вообще за люди живут в этой стране, в специфических условиях ее общества и культуры. Поэтому основной фон произведений — повседневная жизнь среднестатистического финна, и обставлена такая сцена привычным, всем знакомым реквизитом.

Это, опять же, тесно связано с ожиданиями публики. Литература в Финляндии абсолютно свободна, она не страдает от каких-либо общественных или политических ограничений и может позволить себе все, что ей заблагорассудится. Но все-таки есть одна норма: специфически финский аспект должен быть выписан не менее отчетливо, чем экзистенциальный и социальный. Ждут некоей литературы о национальном менталитете, которая охарактеризует все сообщество в целом: кто мы? каковы мы? Ждут узнаваемости — чтобы можно было поставить себя на место героев и сказать: да, мы именно таковы!

Если писатель отвечает на подобные запросы слишком охотно, он неизбежно подвергается опасности способствовать формированию национальных клише. Тексты же, которые подкрепляют клише, опускаются до уровня женских журналов. Особенно заметно это в романах, разрабатывающих тему отношений между мужчиной и женщиной. Если в них повторяются стереотипные представления о конфликтах между полами, то им обеспечены — в силу узнаваемости — высокие объемы продаж, но при этом страдает художественная ценность, материя вообще-то долговечная.

Задачи искусства и литературы заключаются не в том, чтобы закреплять клише, а в том, чтобы их выявлять, ставить под сомнение или по крайней мере дифференцировать. Что касается понятий пола и гендера, то современная финская литература не очень склонна проводить границу между ними; скорее наметилась тенденция подчеркивать особенности полов. Сейчас в ходу словосочетание "новая мужская и женская литература", и в самом деле выходит удивительно много книг, построенных по принципу *gender matters*[1]. Можно было бы даже выделить некоторые поджанры, например роман, в котором женщина мобилизует свои природные внутренние силы, чтобы выстоять под натиском внешних бедствий. Такая писательница, как Мария Пеура, наглядно воплощает данный тип. Пожалуй, можно выделить еще один класс, который сегодня переживает расцвет как в поэзии, так и в прозе, — обозначив его ключевым словом *girlpower*[2]. В этих текстах главное — жизненная сила девушки, необузданная женская энергия выражается уже в самом языке. Таким ощущением пронизаны, например, стихи поэтессы Сайлы Сусилуото, а также Мерьи Виролайнен, которая даже дала одному из своих сборников соответствующее программное название: "Я — девчонка, вот так класс!" (*Olen tyttö, ihanaa!* 2003).

А что же мужчины? Да, они тоже ставят гендерную проблематику в центр творчества. И, как и женщины, не всегда преодолевают стереотипы. Однако есть исключения. Так, например, Петри Тамминен, исследуя глубины мужской души, умеет придать своей прозе необходимую форму и смысл, единство которых помогает ему показать зияющую экзистенциальную бездну.

При всем своем чувстве экзистенциального Тамминен, однако, осознанно и решительно придерживается точки зрения финнов. Если он пишет о мужчинах, то, само собой разумеется, о мужчинах финских. Пожалуй, может даже создаться впечатление, будто имеешь дело с особым видом — финским мужчиной, который водится в некоем отдельном ареале. Действительно, сюжет прозаических произведений Тамминена обычно разыгрывается в камерной обстановке, зачастую в провинции. Тем самым Тамминен в наши дни продолжает давно утвердившуюся традицию деревенского летнего романа, хоть и в своеобразной модификации.

Многие из его более молодых коллег делают акцент на другом. В финской литературе в последние годы стала более заметна урбанистическая тема, не в последнюю очередь потому, что большинство писателей, которые родились в 70-е и 80-е годы, живут в Хельсинки, Тампере или Турку. Литературу больше не занимают леса и луга, теперь она поселилась в городе. Такие писатели старшего поколения, как Ээва Тикка, до сих пор предпочитают показывать отдельно взятого человека в его обычном природном окружении: там, в тишине и "при естественном освещении", он находит самого себя. Ее более молодые коллеги, например, Элина Хирвонен или Тайна Латвала, уже давно специализиру-

1. *Gender matters* (*англ.*) — пол имеет значение.
2. *Girlpower* (*англ.*) — букв.: девичья сила, популярный лозунг феминисток.

ются на изображении естественной среды своего поколения — на крупных городах.

Но даже несмотря на современную урбанизированность, каждый городской житель Финляндии знает, как сесть в лодку, не теряя равновесия, как лучше спустить ее на воду, как насадить на крючок червя, а чуть позже одним точным ударом прикончить пойманного окуня. В Хельсинки, Турку и Тампере живет огромное число людей, которые, по сути дела, приехали из деревни и до сих пор втайне считают, что их настоящая родина — природа. Поэтому антитеза города и села никогда не исчезнет из финской литературы, а будет лишь видоизменяться. Роза Ликсом в своей книге "Земля" (*Maa*, 2006) пишет о том, какие формы принимает тоска по сельской жизни. Речь идет о людях, которые изначально принадлежали деревне, но затем, став современными космополитами, независимыми путешественниками, в обстановке комфортабельных авиалайнеров и гостиничных номеров забыли привычный запах хлева, отчего и страдают меланхолией.

Сегодня финская литература в известной степени эксплуатирует тему оттока сельского населения, но это еще не все. Ее словно что-то гонит за пределы страны. Сегодня финские писатели не ограничиваются территорией республики: они осваивают в своих книгах зарубежные страны, и это стало почти повседневным явлением. Иногда это помогает поставить под сомнение некие (якобы) чисто финские черты (см., например, роман Ханну Райттилы *Canal Grande*[1] (2001)); однако во многих случаях национальный аспект все же выражен не столь ярко — например, в новом романе Олли Ялонена "Со скоростью 14 узлов по направлению к Гринвичу" (*14 solmua Greenwichiin*, 2008) повествуется о том, как двое англичан и двое финнов отправляются из Гринвича в кругосветное путешествие вдоль нулевого меридиана.

Некоторые писатели в последнее время даже отважились заглянуть в Россию. Действие романа "Космонавт" (*Kosmonautti*, 2008) Катри Липсон разыгрывается в Мурманске 80-х годов, но автор переносит его туда не затем, чтобы рассказать о последних годах Советского Союза, а чтобы создать чуждые, меланхолично-поэтичные декорации для своего мечтательного повествования. Яри Терво, напротив, в историческом романе "Тройка" (*Troikka*, 2008) отправляет героя в Петроград и Москву 1918 года, чтобы точнее передать послереволюционную атмосферу, а Софи Оксанен рассказывает в своем нашумевшем романе "Очищение" (*Puhdistus*, 2008) о советской Эстонии, о чувстве вины и стыда, которыми мучались ее жители, и о том, как это все воспринимает женщина.

Преодоление границ у Терво и Оксанен имеет не только географический, но и исторический характер. Здесь можно отметить еще один феномен: когда литературе в благоприятных условиях современности недостает конфликтов, она уходит в историю, чтобы найти новые важные темы. А как еще объяснить то обстоятельство, что необычайно много авторов, живущих в обществе согласия, то есть обществе, не имеющем непреодолимых социальных разломов, занимаются финской гражданской войной 1918 года, которая в свое время была причиной

1. Canal Grande (*ит.*) — Большой канал.

фундаментального раскола Финляндии? Наряду с Терво среди самых значимых авторов в этом контексте стоит также упомянуть Аско Сальберга, Леену Ландер и Челя Вестё.

Наверное, то, что финская литература порой не оправдывает ожиданий и не остается в пределах страны, в рамках узнаваемых будней, а стремится раздвинуть свои границы, свидетельствует о ее жизненной силе.

Наряду с путешествиями за рубеж и погружением в историю существуют и другие формы преодоления границ. Например, повествования о том, как человеку становится тесно в рамках повседневности, – характерная черта романов о художниках.

Действительно, не может не бросаться в глаза, сколько романов о художниках произвели в стране фурор за последние пятнадцать лет и получили, к примеру, премию "Финляндия" (важнейшую литературную премию страны): это и "Мастер" (*Mestari*, 1995) Ханну Мякелы, и "Портрет друга" (*Ystävän muotokuva*, 1998) Пентти Холаппы, и "Красная книга расставаний" (*Punainen erokirja*, 2003) Пиркко Сайсио, и "В доме поэта" (*Runoilijan talossa*, 2004) Хелены Синерво, и "Вторые ботинки" (*Toiset kengät*, 2007) Ханну Вяйсянена – этот список можно продолжить целым рядом серьезных романов, в которых ведущую роль играют искусство и художники. Может быть, так писатели выражают свое несогласие с распространенным мнением, будто литература должна изображать быт, который нравится большинству? Может быть, здесь проявляется и страстное желание писателей выйти за пределы обыденности? Может быть, люди хотят узнать о становлении творческих личностей, потому что их зачаровывает мысль, что в жизни можно попробовать нечто большее, нежели дающийся тяжким трудом хлеб насущный?

Вполне вероятно. В Финляндии осуждают элитарность и обособленность, а превыше всего ценят труд: ориентированное на достижения и эффективность мышление – важнейшая часть общепринятой коллективной идеологии. Однако искусство и художники предлагают контрпроект: творчество, не ограниченное рамками экономической целесообразности. Роман-биография художника дает читателям возможность заглянуть в свою душу и обнаружить в ней желание освободиться от гнета повседневности – и проявить свою незаурядность.

Наконец, следует упомянуть еще один путь преодоления границ, который выводит нас за пределы реализма, в мир образов и фантазий по ту сторону обычных причинно-следственных связей. Среди авторов, которым удается пробудить к жизни такой вымысел, – Леена Крун и Юрки Вайнонен.

Крун и Вайнонен (как и Тамминен), несмотря на то, что пишут романы, знают толк также в рассказах и других формах малой прозы. А значит, принадлежат меньшинству – ведь в финской прозе доминирует роман. Он стал ведущим жанром финской литературы, хотя это не специфически финское явление, а скорее дань общеевропейской тенденции.

Это видно хотя бы по тому, что уже упомянутая премия "Финляндия", которая первоначально была открыта для произведений всех жанров, вот уже пятнадцать лет подряд присуждается исключительно романистам. Финский роман сегодня – это разнообразная палитра форм и

техник повествования, но некоторые его разновидности все же представлены мало. Так, в более чем сотне ежегодно публикуемых романов лишь редко можно отыскать такой, который по доброй европейской традиции можно назвать романом идей. Традиция психологического романа также представлена очень слабо. Вместо того чтобы пускаться в исследования глубин психики, финские писатели отдают героев на волю обстоятельств и затем наблюдают, как эти несчастные выкручиваются (причем со стороны рассказчиков не предпринимается никаких попыток интроспекции); то есть ведут себя скорее как этологи, ведущие литературное исследование поведенческих реакций. Может даже показаться, будто финская литература неосознанно ориентируется на нормы времен Гегеля.

Однако внутреннее, субъективное, Финляндии, конечно, не чуждо. Просто взгляд, устремленный в душу человека, нашел свое место совсем в другом жанре — в поэзии.

Пока жанры рассказа и новеллы скорее прозябают на задворках, роман становится своего рода литературным *master discourse*[1]; однако где-то совсем рядом находится полная ему противоположность — лирика. Разумеется, этот феномен не нов. Напротив, поэзия для финской культуры всегда была крайне значима. В конечном счете язык финской литературы основывается большей частью на народной поэзии: без фольклорной метрики не было бы "Калевалы", без "Калевалы" — литературы на финском языке.

Когда в середине XX века в литературе утвердился модернизм, опять же именно лирика свершила работу первопроходца. Такие поэты, как Пааво Хаавикко и Ээва-Лииса Маннер, внесли большой вклад в то, что после Второй мировой войны финской литературе, в которой в начале XX века еще не сформировался авангард, удалось влиться в мировой модернизм. Эти поэты устранили рифму и размер, освободили стих от претензий на нравоучительность и от преклонения перед идеализированной природой, а вместо этого превратили его в среду, где царил независимый поэтический образ. Стихотворение рассматривалось не как отражение действительности, а как самостоятельное творение, позволяющее читателю реагировать на него собственными ассоциациями.

К важнейшим дебютантам того времени принадлежала и Миркка Рекола. Новшества в ее стихотворениях поначалу казались не столь радикальными, но зато поэтесса проявляла творческую независимость, которую в 60-е и 70-е годы восприняли негативно — что и обрекло Реколу на многолетнее забвение. Тогда литература как раз отошла от модернистских представлений о независимости. В ту пору политика была однобока, а литература отчетливо нормативна: стихотворению надлежало быть злободневным, а языку — бытовым, чтобы поэт декларировал на нем верность текущей политике и всему обществу. Для Реколы же всегда было важно философское и экзистенциальное измерение, которое она пыталась открыть с помощью смыслового потенциала

1. Master discourse (*англ.*) — господствующий дискурс.

слов. Стихотворение допускает разные прочтения, а содержащаяся в языке полисемия отражает сознание человека и его мировосприятие.

Лишь с начала 90-х годов поэтический посыл Миркки Реколы снова снискал широкое признание. Нормативность в финской поэзии сегодня полностью отсутствует. Позволено все: начиная с импрессионистических описаний природы и заканчивая потоком сознания. Бросается в глаза, как много пишется и публикуется в наши дни так называемых стихотворений в прозе. Вряд ли найдется еще одна страна, где бы этот жанр был представлен так же широко. Тексты, конечно же, бывают разного качества. Иногда — ни рыба ни мясо, и трудно не заподозрить, что автор просто не сумел написать стихи или сочинить историю и поэтому выбрал некую "гермафродитную" форму. Бывает, однако, что форма эта достигает такой степени литературной свободы, которая не требует предельной концентрации смысла, необходимой в стихотворении, но в то же время не нуждается и в фабуле. Если стихотворение в прозе удалось, то поэтическое и нарративное в нем сливаются воедино — и читающий вдруг ловит ту искру, которую ни с чем нельзя спутать.

Равным образом сильнее заявляет о себе то, что во всем мире принято называть *language poetry*[1] — лирика, которая ставит языковой материал выше значения отдельных слов и смысловых взаимосвязей. Хенрийкка Тави, удостоенная наград за свой дебютный сборник "Напр. Эса" (*Esim. Esa*, 2007), представляет именно это течение, которое почти всегда привносит в поэзию игровой элемент. И ее стихи полны радости, ведь ей больше не грозит опасность попасть под жернова пользы и окупаемости. В таком идеально организованном "от и до" обществе, как финское, любой выход за установленные рамки может оказаться удивительно раскрепощающим.

Но это ощущение не может длиться вечно. Игра быстро исчерпывает себя, в чем, однако, ее винить нельзя, ведь такова ее сущность. Будущими классиками станут другие авторы, по крайней мере, те, что родились в 60-е и дебютировали в 90-е (кстати, в подавляющем большинстве случаев они относятся с огромным почтением к лирике Миркки Реколы). Трое самых интересных представлены в данной подборке: Йоуни Инкала, Олли Хейкконен и Хелена Синерво.

Они многим обязаны литературе современной Европы, они отказываются от рифмы и размера (лишь Хелена Синерво в отдельных местах сознательно реанимировала и то и другое), но обладают чутким восприятием формы. Мнения этих поэтов совпадают в том, что́ отличает хорошее стихотворение: хорошее стихотворение представляет собой языковое и идейное образование, которое невозможно пересоздать в какой-либо иной форме. Именно поэтому удачные стихотворения нельзя перефразировать. Возможно, даже не стоит и пытаться их публично интерпретировать, а надо лишь отсылать к ним: читайте сами!

1. Language poetry (*англ.*) — поэзия языка.

Элина Хирвонен

Если бы он не забыл

Роман

Перевод Евгении Тиновицкой

До самого конца,
До самого конца я сожалел, что он ребенок.
Ему бы быть облаком.
Таким, где прячутся испуганные птицы.

Мильтос Сахтурис

1

ПОЧЕМУ я счастливый человек

Я счастливый потому что у меня есть Паровая машина (и она работает)

Я счастливый потому что у меня есть Папа Мама Сестра Бабуля и на Рождество мне подарили Снегокат

Я счастливый потому что хожу в научный кружок и когда вырасту стану изобретателем и получу Нобелевскую премию

Я счастливый потому что всегда буду жить в свободной и независимой стране Финляндии и потому что Господь Бог любит меня и заботится обо мне

Иона Лоухиниити, 3-й А

© Elina Hirvonen, 2005
© Евгения Тиновицкая. Перевод, 2009

2

Я смогу прожить этот день.

Запах собачьих испражнений и оттаявшей земли. Сутулая женщина в высоких рабочих сапогах и ребенок в комбинезоне, размазывающий языком усы от мороженого. Начало длинного дня, когда не нужно смотреть на часы.

Кофейня, где подают сваренный по старинке кофе и пирожные в толстой глазури и где ощущаешь свою причастность к некой тайне. Гремят трамваи, пробегают запоздалые школьники, переходят дорогу, поддерживая друг друга, седоволосые женщины. У меня есть книга, принесенная Яном. Есть Ян, который любит меня.

Книга.

Мир, куда можно погрузиться с головой. Один день трех женщин, разделенных временем. Писательница Вирджиния Вулф, которая бросилась в воду, набив карманы камнями.

"Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать"[1].

Я перечитывала прощальное письмо Вирджинии много раз, но возвращаюсь к нему снова и снова. Каких камней она набрала? О чем думала, уходя под воду? И успела ли пожалеть о содеянном, прежде чем потерять сознание?

3

Впервые я увидела Яна в поточной аудитории. Его пригласили из Нью-Йоркского университета к нам на филологический факультет вести семинар по творчеству Вирджинии Вулф. Ему было сорок лет, но выглядел он старше. На нем были коричневые вельветовые брюки, желто-оранжевый свитер и того же цвета ортопедические сандалии, такие носила моя мать, когда мы с Ионой были маленькими. Он стоял посреди аудитории, худой, сутулый, в одной руке стакан с водой, в другой кипа бумаг, и оглядывался, куда бы это все положить.

Девицы в коротких юбках и молодые люди с волосами, собранными в хвосты, громко обсуждали прочитанные книги ("Ах, "Роланд" разбудил во мне женщину!") и вчерашнюю вечеринку ("Представляешь, я проснулась где-то у черта на рогах, на полу, совершенно никакая"), а Ян все повторял: "Excuse me, excuse me, please"[2], добиваясь тишины. Наконец он опустил стакан и бумаги на стол, топнул ногой и крикнул: "Shut the fuck up!"[3].

Мы притихли. Он уселся на стол, отодвинул в сторону бумаги, глотнул воды. Взгляд у него был острый, а голос низкий и глубокий, и казалось, что в груди у него кто-то тихонько мурлычет.

1. Перевод Д. Веденяпина.
2. Извините, извините, пожалуйста (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
3. Заткнетесь вы или нет?! (*англ.*)

Сначала Ян рассказал нам, почему решил заниматься литературой. "Я убежден, что помнить — очень важно. Только благодаря памяти можно понять что-то о себе. К сожалению, у меня очень плохая память. Поэтому пришлось воровать ее у других". Ян посмотрел поверх голов, сделал еще глоток и начал говорить о жившей в начале прошлого века выдающейся писательнице, которая пыталась постичь малейшие движения человеческой души и углубиться во внутренний мир человека так, как не углублялся до этого никто в истории мировой литературы.

От его слов у меня в горле стоял ком. Я готова была поднять руку и возразить: в том, чтобы помнить, нет ничего хорошего. Память — это бремя, с которым мы ничего не можем поделать. Мне хотелось встать, оборвать скрип ручек и понимающие кивки и во весь голос объявить о своем единственном желании — избавиться от памяти.

Щеки у Яна горели, руки описывали в воздухе круги. Худые руки с темными волосками на запястьях. Хотелось коснуться их.

4

Я не успела дочитать письмо Вирджинии: зазвонил телефон.

— Ты где? — Тон у мамы был нерешительный, как обычно.

— Расшифровываю интервью, — соврала я. — А что?

— Только не раздражайся сразу. Пожалуйста, сходи сегодня к Ионе в больницу.

— Я ведь сказала, я пойду к нему тогда, когда посчитаю нужным.

— Да, я помню. Но Иона очень просил, чтобы ты пришла именно сегодня. Ты нужна ему. Иначе он никогда не выздоровеет.

Черт возьми! Вот что мне хотелось ответить. Черт возьми, оставьте меня в покое и дайте жить собственной жизнью. Но нельзя отвечать так маме. Тем более если ты уже большая и живешь самостоятельно. Маме, которая нянчится с Ионой, как с гигантским младенцем. Маме, у которой никогда не было собственной жизни.

— Он и так не выздоровеет.

— Ну, может, ему все-таки станет получше. Он сказал, что ты больше не заботишься о нем.

— О господи!

— Он все время о тебе спрашивает. Что мне ему сказать?

— Ничего ему не нужно говорить. Я закончу свои дела и приду.

"Он сказал, что ты больше не заботишься о нем".

Как он смел такое сказать? Откуда он выкопал это слово — "заботиться"? Заботиться — это что-то отвратительно лживое. Заботиться — это из детских песенок и речей социал-демократов. Типа, все должны заботиться об окружающих, и тогда все будут очень-очень счастливы.

Нет, конечно, я о нем не забочусь. Мое отношение к нему — это что-то другое. Это не тепло, и не нежность, и не ощущение счастья. Просто моя связь с ним сильнее, чем с кем бы то ни было в этом мире. И мне бы очень хотелось, чтобы его не стало и я смогла бы о нем забыть.

Когда я родилась, мир был уже полон Ионой. У него были золотистые волосы, нежный голос и гоночный автомобиль, весь в наклейках, на котором он снова и снова врезался в желтые стены детской. В конце концов краска пошла трещинами, и папа убрал автомобиль на чердак.

Иона играл печальные мелодии на коричневой пластмассовой флейте и подолгу молча сидел за книжкой с картинками, не переворачивая страниц. Он мечтал сварить меня вместе с морковкой, брюквой и сельдереем в бабушкином чугунке и попробовать, какой получится суп. В плохом настроении он подкрадывался к моей белой кроватке и, просунув руки за перегородки, отчаянно дергал за волосы. В хорошем настроении накрывал одеялом стол в детской, и мы играли в Иону в чреве кита. У нас был фонарик и сушеные бананы. Иона хватал меня на руки и тряс изо всех сил. В темноте, под одеялом, я представляла, как нашего кита бесконечно подбрасывает в бушующих волнах.

Голос-колокольчик и золотистые волосы — мои первые воспоминания об этом мире. Долгое время я думала, что Иона и есть весь мир.

На блюдце половинка пирожного и след от кофейной чашки. Мужчина за соседним столом уставился в пустоту. За окном гремит трамвай. Поглаживая шероховатую обложку, закрываю книгу. Хочется попросить прощения у ее героев.

5

Когда мне было пять, а Ионе семь, папа приехал домой на старом катафалке. Мы с мамой качались на качелях — на одной доске Иона, на другой мама со мной на руках. Услышав автомобильный гудок, мы вскочили и побежали посмотреть. Машина была большая и черная, с вмятиной на крыле, на пыльном заднем стекле кто-то нарисовал огромный член. Я надеялась, что мама с папой этого не заметят, и делала вид, что тоже не замечаю.

Отец погладил руль, открыл окно, из стереосистемы хлынул "Roadrunner". Отцовские волосы топорщились на затылке, он расстегнул верхние пуговицы, в вороте рубашки виднелись золотистые волоски. Он постукивал пальцами по рулю в такт музыке и улыбался во весь рот. Мамина рука стиснула мою.

— Генри, — сказала она. Она старалась говорить спокойно. Отец перестал улыбаться и прижал палец к губам.

— Не надо.

— Но мы же договорились.

Отец сделал музыку погромче и вышел из машины. Он был похож на моряка, сошедшего с корабля. Он подошел к нам и подхватил нас с Ионой на руки. В животе у меня ухнуло.

— Поедем кататься, — сказал он. — Весна на дворе.

Отец притянул к себе маму, я втиснулась между ними. От отца пахло потом и табаком, от мамы травой и розовым кремом. Их запахи смешивались, кружили голову.

— В ней мертвых возят? — спросил Иона.

Отец сказал, что да, возят, "но они очень обрадуются, если увидят на заднем сиденье веселого мальчугана". Мама ничего не ответила. Она пошла к дому, а я заревела, испугавшись, что вот сейчас она уйдет и не вернется. Но мама скоро вернулась в цветастой косынке, с корзинкой. В корзинке была бутылка сока, пакет печенья и завернутые в промасленную бумагу хлебцы. Мы все сели в машину, мама рядом с отцом, мы с Ионой сзади. Кожаные сиденья были горячими от солнца и прилипали к голым ногам.

— Тут, наверное, души мертвых, — шепнул Иона. Я представила себе сморщенных старушек и старичков, как они сидят с нами, кивают маленькими головками и поглядывают, нет ли в других машинах таких же покойников. Солнце вливалось во все окна, Иона сидел справа, и член на заднем стекле возвышался у него над головой, будто рог. Мама положила руку отцу на бедро, и я увидела в зеркале, как оба они слегка улыбнулись. Я встала на коленки, повернувшись лицом к заднему стеклу, помахала бородатому мужчине, который ехал следом, и засмеялась, когда почувствовала, как спинка сиденья пружинит под моим животом.

"Мы счастливая семья", — подумалось мне. Эта фраза будто влетела мне в голову с книжной страницы. Я представила себя девочкой из детской книжки — румяной, с косичками, отправляющейся в путешествие, полное захватывающих приключений, к которому кто-то уже приписал счастливый конец.

Папа ехал очень быстро. Окна впереди были открыты, пахнущий землей воздух развевал волосы, они падали на глаза. Мама придерживала руками край косынки. Папа, гудя, обогнал идущий впереди пузатый "фольксваген". Водитель показал нам средний палец, Иона в ответ показал двойную фигу. Я сунула большие пальцы в уши и показала язык.

Когда мы обогнали оранжевую "ладу" и еще две машины, мама сказала:

— Генри!

Она сжала отцовское бедро так, что пальцы побелели. Отец положил руку ей на руку и засмеялся:

— Классно, верно, ребята? — крикнул он через плечо. Мы пробормотали что-то невразумительное: не хотели злить ни мать, ни отца.

Когда отец обогнал открытый спортивный автомобиль и одетого во все кожаное мотоциклиста, мама крикнула:

— Vad i helvete menar du?[1]

Мама всегда говорила по-шведски, если хотела, чтобы мы не поняли. В животе заныло, руки покрылись гусиной кожей, хотя было тепло, даже жарко. Я попыталась взять Иону за руку, но он сжал кулаки и смотрел отцу в затылок без всякого выражения, как кукла.

— Я наслаждаюсь жизнью! — выкрикнул отец во весь голос, будто мама была в сотне метров от него. — Попробуй и ты, хоть раз!

Потом отец воскликнул:

— Твою мать!

Зазвенело стекло.

1. Что ты, черт возьми, задумал? (*шведск.*)

Вскрикнула мама.

Послышался хруст. Будто кто-то свернул шею птице.

Я лежала на полу, внутри машины что-то стучало. От резинового коврика на полу пахло псиной. Иона горячо дышал мне в шею. Зажмурив глаза, я ждала, пока кто-нибудь придет и вытащит нас.

"Скорая" увезла маму в больницу. Папа сказал, что с ней ничего страшного. У мамы из носа шла кровь, она перепачкала ему всю рубашку, волосы на груди местами слиплись от крови.

Когда санитары вели маму в машину, она молчала. Я сидела на краю тротуара, обеими руками обхватив колени, и тоже молчала. А может, кричала. Не помню.

— У мамы просто шок, — сказал отец. — Она вернется, и все будет как раньше. Смешная она была с носом в повязке, да? Но с ней все в порядке. Ничего особенного.

Мы сидели на кухне, отец жарил хлеб в тостере. Иона забрался с ногами на стул и смотрел в стену. За весь вечер он не произнес ни слова. Отец поставил перед нами дымящиеся гренки с ветчиной, ананасом и расплавленным сыром. Когда Иона потянулся за ножом, отец с силой схватил его за руку.

— Помолимся, — сказал он. — Поблагодарим Господа за то, что сегодня он не оставил нас.

Иона вырвал руку и вскочил из-за стола, с грохотом уронив стул. Щеки его раскраснелись, он смотрел на папу так, будто первый раз его видел.

— А если это был не Господь? — по-взрослому спросил Иона. — Если это дьявол вселился в тебя и гнал как сумасшедший?

— Что? — переспросил отец. На шее у него проступили красные пятна. — Что ты сказал?

По радио пикнул сигнал времени. Отвалившийся кусок краски на стене был похож на человеческий профиль. Я откусила горячего сыра, на глаза навернулись слезы. Обеими руками я схватила стакан молока. Холодное молоко наполнило рот, потом желудок. Точно прополоскало меня изнутри. Прополоскало и смыло.

6

После Вьетнама отец Яна сошел с ума.

С той первой лекции о Вирджинии Вулф прошел почти год. Мы сидели в баре рядом с университетом. На столе пивные кружки, там же блокноты, ручки, исписанные листы бумаги. Ян сутулился сильнее обычного.

После семинара Ян вернулся в Нью-Йорк и год жил в крохотной квартирке, под окном которой вечно спали голуби. Каждое утро он выпивал чашку несладкого эспрессо, бежал в университет, где знакомил студентов с литературоведческими теориями и тонкостями творческого процесса. Вечером он приносил еды из индийского ресторана, открывал ноутбук и писал диссертацию. За окнами светились огни Манхэттена, а Ян сидел в шерстяном свитере за дедовским письменным

столом и размышлял о том, когда именно западная литература начала рассматривать человеческую личность как нечто неповторимое.

Осенью Ян сильно простыл. Несколько дней он просидел дома, с утра до вечера работая над диссертацией — в домашних тапочках и с накинутым на плечи пыльным пледом.

На третий день зазвонил телефон. Это был его друг, преподаватель истории из университета.

— Как ты? — спросил он.

Ян решил, что тот интересуется его здоровьем.

Когда же Ян уразумел, в чем дело, он долго не мог выговорить ни слова. Он вскипятил чайник, замотал пледом шею и включил телевизор. Там снова и снова показывали картинку: самолет врезается в высокую башню, и основательное, крепкое здание распадается на куски, превращается в пыль. Время от времени в углу экрана появлялся текст: "America at War"[1].

— В голове билось: надо что-то делать, надо что-то делать. Подготовить лекцию об отношениях США и стран Ближнего Востока, пойти добровольцем в спасательную службу, написать статью по истории Афганистана... Но единственное, что я тогда мог, это сидеть перед телевизором. Потом позвонили из вашего университета и предложили приехать сюда по обмену. Я тут же собрался.

Ян оглядел хмельных парней с длинными волосами, только что допытывавшихся, за что же его страна сравнивает с землей одно из беднейших государств мира. Он смотрел на меня и мою подругу, притихших, сидящих напротив него с блокнотами.

Это было первое занятие его литературного семинара. Мы с подругой пришли туда, потому что бесцветная жизнь студенток гуманитарного факультета толкала нас на поиски чего-то новенького. Мне хотелось снова услышать его голос. Хотела, чтобы он прочитал мои стихи об Ионе, страдании и смерти и нашел в них новый смысл. Хотела, чтобы он нашел что-то во мне самой.

Ян дал нам задание:

— Напишите стихотворение и рассказ о самом тяжелом событии в вашей жизни. Форма — любая.

Он посмотрел на меня. Я так надеялась, что посмотрит. Потом он рассказал нам о своем отце и о войне, уходя на которую, его отец был моложе каждого из нас.

Там, где Ян родился, все ходили в церковь. Женщины завивали волосы в крупные локоны, а мужчины стриглись так коротко, что на висках просвечивала кожа. Улицы в этом городе были прямые и широкие, и местные жители ездили на больших и новых машинах, а приезжие мексиканцы — на старых и не таких больших. За преступления несовершеннолетних родители платили штраф или попадали в тюрьму. Вокруг богатых домов высились заборы, лужайки и сады поражали ухоженностью. В магазинах продавали мыло и туалетную бумагу в гигантских упаковках, на улицах царило незыблемое спокойствие.

1. "Америка в войне" (*англ.*).

Ян не должен был родиться. Родители его не были предназначены друг для друга.

Она была самой способной девочкой в школе, писавшей рассказы и эссе для школьной газеты. Он — симпатичным юношей с полными губами, не блиставшим умом, но умевшим эффективно покачивать бедрами во время танца. И была летняя ночь, бутылка рома, украденная из папиного шкафа, короткое платье и голубой спортивный автомобиль.

Поскольку этой ночи не должно было быть, родители Яна собрали вещи и уехали в Нью-Йорк. Мама скрыла беременность и поступила в университет. Отец перебивался случайными заработками на стройках и в ресторанах и все время чего-то ждал. По ночам мать Яна спала рядом с отцом, но днем все чаще улыбалась совсем другим людям. Тем, что читают книги и проводят ночи в разговорах. Отец перестал улыбаться. По ночам он гладил узкую спину и округлившуюся грудь матери и мечтал о войне или революции — тогда он смог бы показать, на что способен.

Когда Яну было четыре года, США начали вводить войска во Вьетнам. Мать Яна носила юбки из индийского хлопка и яркие деревянные украшения. Отец водил такси и по вечерам накачивал мышцы в спортзале. Отправляясь с утра в университет, мать одевала Яна потеплее и отводила к чернокожей женщине из дома напротив.

— Вряд ли в этом было что-то идейное, — сказал Ян, когда я спросила, почему же отец так хотел на войну. — Думаю, он понятия не имел ни о коммунистах, ни о том, где вообще находится Вьетнам. Скорее всего, это был моральный надлом. Или поиски смысла жизни.

Ян откинулся назад и зажег трубку. Щеки запавшие, глаза полузакрыты. Дым синими клубами поднимается к потолку:

— Спустя какое-то время после начала войны мама взяла меня на демонстрацию. Это мое первое осознанное воспоминание.

Ян никогда не видел столько людей сразу. Он висел в рюкзачке, разрисованном слонами, у матери на спине и из-за ее плеча разглядывал человеческую массу, которая колыхалась, словно беспорядочно волнующееся море. Почти у всех, даже у мужчин, были длинные волосы. Мать Яна повязала вокруг лба шелковый платок с бахромой. Ян, перебирая узелки у шеи, случайно дернул мать за волосы, и та шлепнула его по ноге. Ян заревел. Мать стала пританцовывать на месте, чтобы его успокоить, рядом мужчина с косами бил в тамбурин и покачивал бедрами. Над морем голов возвышались широкие простыни с разноцветными буквами: "PEACE". Откуда-то доносились через мегафон дребезжащие голоса, время от времени люди выкрикивали что-то хором. Ян обнимал мать за шею, ощущая всем телом теплую и подвижную материнскую спину. В животе ныло. Почему-то ему казалось, что мать вот-вот снимет со спины рюкзак и убежит.

Когда отец вернулся с войны, Ян уже не оставался у чернокожей соседки. Теперь он ходил в школу, а вечерами сидел дома и читал книжки. Он был маленький и щуплый, носил очки с толстыми стеклами, и в первый же школьный день шестиклассники сунули его головой в унитаз. Матери Ян никогда об этом не рассказывал. Ни об этом, ни о том, как мальчишки из параллельного класса на переменах стаскивали с него носки и ботинки, закрывали его в туалете и мочились сквозь щели в дверях на

его босые ноги. Из-за этого Ян опаздывал на занятия и в наказание оставался в классе после уроков. Дома мать ерошила ему волосы и спрашивала, не случилось ли чего. Ян говорил, что все в порядке, и сам в это верил.

Мать покупала в университете и книжных лавках старые книги, и Ян проглатывал их от корки до корки. Ему казалось, что до тех пор, пока он может каждый вечер уходить с головой во все новые и новые истории, он выдержит все, что бы ни случилось в его собственной жизни. Выдержит боль в животе по утрам. Выдержит дорогу в школу, во время которой кто-нибудь подкрадывается сзади и швыряет в спину камни, выдержит перемены, когда не с кем поговорить, школьные коридоры и темные углы, где устраивали на него засады, а потом выскакивали и били по голове вешалкой для одежды. Выдержит то, что очки и рюкзак регулярно пропадают и возвращаются то пахнущими мочой, то изрисованными черным маркером. Выдержит одинокие вечера, ночные отлучки матери, ее смех и сладковатый запах, когда она возвращается под утро. Выдержит все.

Но настал день, когда Ян, придя из школы, увидел в кухне незнакомого человека. Тот сидел за столом напротив матери, они тихо разговаривали, как-то неловко держась за руки. Мужчина был седой, сутулый, с покрасневшими глазами. Когда Ян поставил на пол рюкзак, разговор прервался.

— Солнышко, — громко сказала мать, — поздоровайся с папой.

Мужчина не подал руки. Ян растерянно подержал свою руку на весу, потом хлопнул пришедшего по плечу:

— Привет.

Мужчина вздрогнул. Губы его шевельнулись одновременно с губами Яна. Мать схватила Яна за руку.

— Папе нелегко пришлось, — объяснила она ему, будто маленькому. — Поэтому некоторое время он будет не такой, как раньше.

Ян кивнул. Он налил себе стакан молока и сел за стол рядом с родителями.

— Пойду почитаю, — сказал наконец он. — А вы разговаривайте.

Ян переворачивал страницы. Он видел буквы, слова и предложения, но никак не мог погрузиться в книгу. Он читал, улавливал ход сюжета, понимал, о чем думают герои. Но при этом он все время помнил о том, что он маленький мальчик, с которым никто не дружит в школе. Знал, что рядом, за стеной — странно изменившаяся мама и отец, забывший, что у него есть сын.

Ян смотрел сквозь стекло на людей под зонтами, светящиеся розовым фонари и ярко-желтые такси. Хотелось открыть окно, залезть на подоконник, собраться с силами и прыгнуть.

Он весь вечер простоял перед окном, листая страницы. С кухни доносилась тихая речь отца, переплетаясь с высоким голосом матери. Когда свет фонарей стал призрачно-белым, а небо черным и зловещим, мать подошла к Яну и положила руку ему на плечо:

— Я постелила папе у тебя. А ты пока поспишь со мной, хорошо?

Я пообещала Яну, что к следующему разу напишу про своего отца. Правда, я и сама не знаю, что с ним случилось. До сих пор не знаю.

Мы были на кухне. Я пила молоко. Папа застыл с открытым ртом на своем стуле, а взъерошенный Иона стоял напротив.

— Что ты сказал? — спросил отец. — Что, черт возьми, ты только что сказал?

— А что, если это был дьявол? — повторил Иона. — Дьявол, дьявол, дьявол! Вылез из преисподней и вселился в тебя.

Сквозь дно стакана мне привиделась фигурка с рогами, и я сглотнула, хотя во рту ничего не было. Папа поднялся из-за стола. Иона тогда едва доставал ему до груди. Они стояли и смотрели друг на друга. Я затаила дыхание.

— Подойди сюда, — приказал отец.

Иона не двигался. Папа шагнул к нему, под ногами скрипнула половица. Иона смотрел на него во все глаза, не мигая. Отец ухватил его за волосы. У Ионы покраснели уши, но он по-прежнему молчал. Мне стало больно дышать.

— Никогда не смей так со мной говорить. Понял?

— Ты мог убить маму, — сказал Иона. — И нас всех.

Отец так сильно потянул Иону за волосы, что тому пришлось нагнуть голову. Я подула на горячий бутерброд. Иона опустился на колени. Отец взял Иону за ворот и прижал лицом к полу. Я зажмурилась.

"Господи, — начала я про себя так, как нас учил папа. — Господи, пусть ничего не случится. Пусть ничего не случится. Пустьничегонеслучитсяпустьничегонеслучится. Господипустьничегонеслучится. Господипустьничегонеслучится".

Послышался звук рвущейся материи. Отец тяжело дышал. Дыхания Ионы не было слышно.

Я молилась, не открывая глаз. Папа рассказывал нам, что Господь все видит. Он слышит, когда с ним говорят. Он приходит, когда нужно. "Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам"[1]. Так мы повторяли в воскресной школе, хотя и не очень понимали, что именно нам "отворят". Папа, сутулясь, играл на скрипучей фисгармонии, а я представляла, как стучу кулаком по огромной железной двери, которую открывает наконец длинноволосый Бог в белом купальном халате и стоптанных тапочках.

Сейчас я снова стояла перед этой дверью. "Господи, отвори!" — мысленно крикнула я так, что горло перехватило. Слезы жгли глаза, я скрестила пальцы и сунула их под себя.

Послышался резкий хлопок. За ним второй, третий, четвертый.

Отец дышал прерывисто и тяжело. Из горла Ионы вырвался пронзительный крик. Меня обдало пламенем. Иона кричал не как ребенок, а как попавший в капкан зверь. Я открыла глаза.

Иона скорчился на полу в позе эмбриона. Рубашка на спине была разорвана, лицо он закрывал руками. Из-за выступающих позвонков он вдруг показался мне драконом. Мой Иона — детеныш дракона. Вот только драконьей кожи у него не было, прочной чешуйчатой драконьей шкуры.

1. Мф. 7:7; Лк. 11:9.

Не было. У Ионы была нежная детская кожа с едва заметным светлым пушком. И вся она была исчеркана узкими пылающими полосами.

Отец обмотал ремень вокруг руки пряжкой наружу. Другой рукой он держался за стол, волосы на висках слиплись, на лбу проступил пот. Без ремня брюки болтались свободно, из-под них виднелась резинка трусов и светлые волоски вокруг пупка. Иона больше не кричал, он шипел сквозь зубы. Мгновение спустя я поняла, что он повторяет: "Дьявол, дьявол!" Отец тоже это понял.

— Молчать! — крикнул он.

Пряжка ремня опустилась на голую спину Ионы.

— Замолчи! Замолчи! Замолчи!

— Дьявол, дьявол, дьявол...

Удар. Еще. Еще.

— Папа! Не надо! Па-па-а-а-а!...

Я обеими руками вцепилась в отцовское запястье, повисла на нем. Слезы и сопли текли по лицу за воротник свитера.

Отец опустил руку. Ремень был так туго обмотан вокруг нее, что кожа с обеих сторон вздулась и побелела. Он вытер пот со лба и взглянул на меня, потом на Иону. Иона больше не шипел. Из рубцов на спине сочилась кровь.

Отец взглянул на ремень, на беспомощно спадающие брюки. На нас с Ионой он смотрел так, будто пытался понять, кто мы такие и откуда взялись. Потом он продел ремень в петли и взъерошил мне волосы.

— Ну ладно, — сказал он. — Ну ладно. Ну ладно. Ну-ну-ну.

Отец повернулся, глотнул воды прямо из-под крана и вышел из кухни. Хлопнула входная дверь. Щелкнула секундная стрелка.

Я села рядом с Ионой и притянула его голову к себе. Волосы у него пахли потом и ванильным шампунем. Я медленно провела пальцем по его голове. Утром я залезла в мамин трельяж и накрасила ногти красно-коричневым лаком. Сейчас на фоне светлых Иониных волос они казались каплями крови, а сами пальцы — розовыми гусеницами. Иона дышал уже спокойнее.

"Господи, пусть всего этого не будет, — я обращалась к Богу и одновременно пыталась почувствовать, что думает Иона. — Пусть всего этого не будет, пусть все будет как раньше. Господигосподигосподи! Сделай так, будто всего этого не было. Пусть все будет как раньше". Половинки разорванной Ионина рубашки свисали с обоих боков, капли крови засохли и потемнели. "Я сделаю все, что Ты потребуешь, — договаривалась я с Богом. — Я буду каждый день убирать в комнате. Буду помогать маме. Буду вовремя ложиться спать. Отдам все карманные деньги африканским детям. И поеду в Индию помогать больным, когда вырасту. Только сделай так, чтобы этого никогда не было, я больше ничего не буду просить и всегда буду делать все, как Ты хочешь".

Не знаю, сколько мы просидели так на полу. Мне казалось, что время остановилось или с ним произошло что-то еще. Мне казалось, весь мир изменился так, что к прежнему уже нет возврата.

Наконец Иона встал. Он ничего не говорил, но позволил мне отвести его в спальню. Пальцы у него были тонкие и горячие, ладонь была больше моей, я не могла обхватить ее пальцами, но сжимала изо всех

сил. Иона отвечал слабым пожатием. Я старалась смотреть только вперед, чтобы больше не видеть его спину.

Когда Иона был маленьким, а меня и вовсе не было, мама с отцом покрасили стены детской в солнечно-желтый цвет, под самым потолком пустили ряд ярких подсолнухов, а на кроватку купили желтое махровое покрывало.

— Ребенку нужно много солнца, — говорила мама.

Отец положил малярный валик в ведро, подошел к маме сзади и обнял ее за талию. Может, они поцеловались. Может, они даже занялись любовью прямо там, оба в старых отцовских рубашках, перемазанных желтой краской. Может, именно в тот день получила жизнь я. Может, после этого они так и остались лежать на полу — мамина голова на отцовской груди. Может, они думали о будущем. Мне кажется, смежив веки, они видели перед глазами одни и те же картинки.

Желтая комната купается в солнечном свете. Суббота, на одинаковых желтых кроватках только что сменили постельное белье. Комната пахнет бальзамом для белья и детским мылом. Двое детей, мальчик и девочка, сидят рядом на кровати. Мальчик читает девочке книгу. На ночном столике поднос в форме сердечка, а на нем два стакана молока и свежие булочки. Мужчина и женщина, мама и папа, стоят обнявшись в дверях. Семья едет на прогулку, в корзинку уже собрана еда. За окном проклевываются березовые почки, где-то поет радио. Мужчина и женщина улыбаются друг другу. Дети поднимают глаза от книги и улыбаются им.

— Ну что, едем? — спрашивает мальчик. Мужчина подхватывает его на руки. Женщина надевает на девочку вязаную панамку. Все четверо выходят на улицу, взявшись за руки. Мать держит корзинку, отец — ключи от машины. Пахнет весной. Они замечательно проведут день, он пронесется как одно мгновение, но это не печалит их. И мужчина, и женщина знают, что таких замечательных дней впереди — не сосчитать.

Мне было пять, Ионе семь. Я привела Иону в нашу желтую комнату и сняла с кровати желтое махровое покрывало.

— Ты поспи, — сказала я. — Завтра будет лучше.

Иона сел на кровать и дал снять с себя разорванную надвое рубашку. Я свернула ее в комок и засунула поглубже в мусорную корзинку, под пустые пакетики от сока, комки жевательной резинки и обрезки бумаги. Когда Иона свернулся под одеялом, я села рядом и долго водила пальцем по его голове, рукам, шее.

Наконец Иона заснул. Я влезла на пластмассовую табуретку и выключила свет. Красная ночная лампочка мерцала в углу над кроватью, как круглый глаз.

Я уже собиралась шагнуть за дверь, когда услышала за спиной Ионин шепот.

— Я убью его, — произнес Иона так тихо, что я решила: показалось. — Когда-нибудь я убью папу.

До меня не сразу дошел смысл его слов.

Но выйдя за порог детской и увидев свое отражение в залитом лунным светом трюмо у входной двери, я вдруг поняла. Это я должна поза-

ботиться о том, чтобы тень сегодняшнего дня растаяла и повесть о нашей жизни закончилась хорошо. Именно я.

Стемнело, наступила ночь, а отец все не возвращался. Я лежала в кровати с открытыми глазами и не заснула даже тогда, когда с другого конца комнаты донеслось ровное сонное дыхание Ионы. Я прижимала к груди старую Ионину собаку и пыталась унять боль внутри. "Я сделаю все что захочешь, — обещала я. — Что угодно, только забери этот день из нашей жизни".

Утром я проснулась оттого, что хотелось в туалет. Я заснула в одежде, не почистив зубы, на них чувствовался налет. Осторожно, чтобы не разбудить Иону, я выскользнула из комнаты. Кухонная дверь была приоткрыта, оттуда лился тусклый свет. Я подкралась к щели и увидела широкую сгорбленную спину отца. Он сидел за столом без рубашки, подперев голову руками. Рядом стоял стакан и полупустая бутылка виски.

— Папа, — шепнула я.

Он не услышал. Я подошла к нему сзади и положила руку на плечо. Кожа была липкой.

Отец повернулся, обдал меня тяжелым дыханием. Потом схватил за руку и посмотрел долгим испытующим взглядом. Будто я была чужим ребенком, который забрел сюда, заблудившись, и теперь надо понять, что с ним делать.

— Папа, — снова шепнула я. — Папа.

Отец взял меня на руки. Он прижал мою голову к своей груди так, что трудно стало дышать. Потом уткнулся лицом в мои волосы и стал медленно покачиваться взад-вперед.

Это было мое убежище. Отец брал меня на руки всегда, когда мне было грустно или страшно. Я прятала голову у него на груди и прошлой осенью, впервые вернувшись из детского сада.

Иону дразнили в детском саду, поэтому я боялась, что меня постигнет та же участь. Я в одиночестве лепила куличики и смотрела, как остальные дети раскачивают друг друга на качелях. Когда после прогулки мы сели обедать, случилось ужасное.

Под колготками вдруг стало тепло и мокро, и мальчишка, сидевший рядом, закричал:

— Фу! Анна описалась!

Воспитательница грубо подхватила меня под мышки и понесла в ванную комнату, сдернула мокрые колготки и посадила на край раковины. В зеркале напротив я видела свое бледное лицо, пухлые ножки в каплях мочи и плотно сжатые губы воспитательницы.

— У нас только недоразвитые в штаны писают, — сказала она, подмывая меня горячей водой.

Я сжала губы, как у нее, чтобы не разреветься, и стала считать про себя от одного до десяти, и опять от одного до десяти, и еще, и еще. Я знала, что, если сосчитать так много-много раз, наступит вечер и за мной придет папа.

В тот вечер я плакала долго, горячо, вздрагивая, и папа держал меня на руках, пока я не заснула. Так было и в тот вечер, и в предыдущие, и в последующие дни и вечера. Когда я падала с велосипеда, когда сосед-

ские девчонки не хотели со мной играть, я забиралась в свое убежище, к папе на руки, и знала, что в папиных объятиях ничего плохого со мной не случится.

Теперь беда прокралась и в папины объятия, и мне больше негде было спрятаться.

Я задержала дыхание. Папина грудь вздымалась под моей щекой. Я зажмурила глаза и решила отправиться куда-нибудь подальше отсюда, вылететь из приотворенного окна и воспарить к светлеющему утреннему небу.

Папа вздрагивал. Мне на волосы падали горячие слезы, но я была уже далеко. Я парила в весеннем ветре над городом, задним двориком, детским садом и Иониной школой, над церковью, в которой днем отец отпевал нашу одинокую соседку. Я пролетела над киоском с мороженым в сторону берега и отправилась вместе с морскими волнами в те края, которым не знала названия.

Перед глазами мелькали светящиеся точки, и я знала, что где-то вдали осталась маленькая девочка, напуганная до смерти, на руках у плачущего отца.

8

– Но почему твой отец так поступил?

Был февральский вечер, мы гуляли по льду залива. Ветер поднимал клубы снега, мы закрывали лица шарфами. Позади нас горели городские огни, над нами – тусклые звезды на багряном небе. Ян сжимал сквозь варежку мою руку.

Ян прочитал мой рассказ. Я в это время сидела за дверью его кабинета, прижимая кулаки к глазам и слушая, как шумит в ушах кровь. "Господи, пусть ему понравится!" – повторяла я про себя.

Господи, сделай, чтобы ему понравилось.

Я кивнула профессору, который прошел мимо, держа в руках очки. Я поболтала о кино со скучающей на своем посту библиотекаршей. Я успела раскровить обветренную губу и пролить на юбку кофе.

Сделай, чтобы ему понравилось.

Сделай, чтобы ему понравилось.

Сделай, чтобы я ему понравилась.

Наконец Ян открыл дверь. В руках у него был мой рассказ, он посмотрел на меня таким долгим взглядом, что захотелось стать невидимой.

– Ты торопишься? – спросил он. – Я подумал, что мы могли бы немного поговорить об этом.

Мы спустились по заснеженному холму к площади со старинными фонарями по углам. Прошли по скользким улицам мимо оштукатуренных каменных домов, крошечных баров и открытых только днем магазинов с деликатесами. Пересекли длинный мост над гулким льдом, в котором отражались огни соседних гостиниц. Люди на автобусной остановке закрывали лица от ветра, по площади пробежали краснощекие, красноносые мальчишки, под стрехами старого крытого рынка, точно каменные, спали голуби.

На льду Ян взял меня за руку.

Мы шли рядом, почти прижавшись друг к другу. Говорили меньше и шли медленнее, чем раньше. Дул пронизывающий ледяной ветер, приходилось идти почти согнувшись. На мне была слишком тонкая куртка, в рукава задувало снег, я сжала руки в кулаки под варежками. Ян шел справа, касаясь меня рукавом куртки.

Правому плечу было тепло. Мы не останавливались, не смотрели друг на друга, ничего не говорили. Не помню, чтобы я разжимала кулаки. Но моя рука вдруг оказалась в его руке, и это было все, что я знала.

— Почему твой отец так поступил?

Сквозь шарф голос Яна слышался тихо, неясно. Он сжал мою руку, я ответила тем же. Мы были на льду, далеко от берега, снег скрипел под ногами, летел в лицо, слепил глаза.

Почему мой отец так поступил? Откуда я могла знать? И кто мог это знать? Был ли он в тот день моим отцом?

Моим отцом, который делал нам гренки, ставил в спальне палатку и ограждал своими объятиями от любой беды? Который держал Иону на руках на фотографии в детском альбоме в те времена, когда меня еще не было? Моим отцом, который по вечерам пел у наших кроватей "Настал покоя час" и прижимался лбом к стеклу, когда думал, что мы уже спим?

Не знаю. Я ничего не знаю о своем отце.

Отец никогда не говорил о себе. Он слушал нас — это да, спрашивал, что мы с Ионой и мамой думаем по тому или иному поводу. Но сам он умел говорить только о машинах, музыке и о том, кого сегодня венчал или отпевал. Если мы спрашивали, он говорил нам о Боге. О любящем отце, который прощает грехи и защищает от всякого зла.

В детстве я каждый день молилась, чтобы Бог не оставил папу.

Но хотя отец никогда о себе не говорил, бабуля нет-нет да и рассказывала нам о своем сыне. Бабуля сидела в кухне на красной табуретке, чистила картошку и вспоминала времена, когда отец был ребенком, а сама она — молчаливой женщиной, выглядевшей старше своих лет.

Я, устроившись на скамеечке у бабули в ногах, чистила морковку. Мы готовили обед. Зимой у нас обычно варили мясной суп, а летом рыбу, которую покупали на рынке, у бородатого рыбака. Он всегда подмигивал бабуле на прощание. Я надеялась, что они поженятся. Бабуля шла бы по церковному проходу рука об руку с рыбаком, в белом платье и венке из рябины. А я, стоя у алтаря, вручила бы ей кольцо с синим как море камнем, обрамленным мерцающими бриллиантами.

— Не выдумывай, — сказала бабуля, когда я поделилась с ней своими мечтами. — Я своему мужу жена, ею и останусь.

— Ты разве была счастлива с дедушкой?

Бабуля не ответила.

Может, она и была счастлива. Пока не родился папа. Пока не началась война. Может, она была счастлива тогда, когда дед стучался в ее окно и они шли на затянутое утренним туманом озеро кататься на лодке. Может, была счастлива — и несчастна — когда провожала его на войну. Они тогда только поженились, и дед, прощаясь, обещал всегда ее любить. Она обеими руками обнимала его за шею, а из трубы паровоза вырывался сизый дым.

Когда война закончилась, бабуля шла по рыночной площади с цветами и знала, что все страхи позади и теперь мужчины вернутся домой. Она прижимала цветы к лицу и вспоминала волосы любимого.

С фронта вернулся усталый, почти незнакомый человек. Он садился, ссутулившись, к длинному столу и молча, не поднимая головы, напивался допьяна.

Часто под конец он просто падал с лавки на пол, и бабуля под мышки тащила его к кровати. Иногда он втаскивал в кровать и ее, дышал винными парами, холодными пальцами срывал юбку. Через год после войны бабуля родила на банной лавке сморщенного мальчугана.

— Ваш папа добрый был, — вспоминала бабуля, и глаза ее подергивались влажной пленкой. — Очень добрый, во всем помогал, совсем еще маленьким всегда на помощь бежал, когда папаша его безобразничал. Спасибо Создателю, что помогал ему, позволил вырасти человеком и дал хорошую семью.

Мы шли по льду, и Ян расспрашивал меня об отце. Но что я могла ему ответить?

Может, надо было пересказать бабулину историю о мальчике, который стоял с топором в углу комнаты, слушая плач матери и треск выламываемой отцом двери? Изобразить деревушку в канун Рождества, усыпанное звездами небо, а под ним — дом, окна которого дрожат от ударов?

— Из дома выбегает восьмилетний мальчик.

Волосы у него взъерошены после сна, от голой кожи идет пар, лопатки на худой спине торчат, будто обломки крыльев. Мальчик бежит босиком по насту, а возникший в дверном проеме человек кричит, придерживая дверь: "Ишь ты, как быстро наш Генри бегает!" Мальчик бежит дальше, босиком, сжимая кулаки. В соседнем окне вздрагивают занавески, человек уходит вглубь дома, а мальчик со сжатыми кулаками бежит дальше, пока не падает лицом в снег. Он лежит там, прижимаясь к насту щекой, мать находит его, заворачивает в плед и уносит спать к соседям.

Таким я представляю своего отца, и мысли о нем всегда обрываются на одном и том же месте.

Может, надо было развернуть эту картинку перед Яном, сказать: смотри, вот она, наша история, вот точка, с которой все началось? Мне хотелось поступить именно так. Хотелось найти эту точку. Проделать замочную скважину, сквозь которую можно увидеть жизнь. Дед, бабуля, папа, мама, Иона, я. Начало нашей истории. Но об этом не принято рассказывать другим. Об этом думают в одиночку, втайне, ожидая автобуса или сна. И каждый раз все представляется заново.

— Почему твой отец так поступил?

Ян сжимал мою руку, и, хотя я долго мечтала об этом, сейчас я отняла ее.

— Откуда я, черт возьми, знаю? — Я отступила, сунула руку в карман и быстро пошла вперед.

— Анна, — тихо сказал он, догоняя меня и удерживая за развевающийся шарф. — Извини.

Он стоял передо мной.

На куртке лежал снег.

Он обнял меня, моя вязаная шапка упала на лед.

Губы Яна хранили вкус кофе и мятной резинки, щетина царапала мне кожу. Снег заметал нас обоих. Ян прижал меня к своему грубому свитеру.

9

После войны отцу Яна начали сниться кошмары.

Отец спал на кровати Яна, а Ян пытался заснуть возле матери. Часто заснуть не удавалось. Ян лежал и слушал, как кричит в соседней комнате отец. Мать просыпалась, вставала и шла к нему, гладила его по лицу, а Ян притворялся спящим. Он натягивал на голову одеяло, зажмуривался и рассказывал себе повесть о другом отце.

— В этой повести отец вернулся с войны, познав смысл жизни, — усмехнулся Ян.

Мы сидели на моем диване и пили вино. Было далеко за полночь. Сквозь джинсы я чувствовала тепло его тела, и мне хотелось знать, ощущает ли и он мое тепло и приятно ли ему это. Промокшая одежда висела в ванной на батарее, сердце билось раздражающе громко. Голова Яна легла на мое плечо.

— В этой повести отец купил мотороллер, черный кожаный комбинезон и отправился путешествовать по континенту, — рассказывал Ян, полуприкрыв глаза. Я смотрела на сетку морщин вокруг глаз и пыталась представить, как он жил, когда меня еще не было на свете. Я видела маленького мальчика под одеялом, в темноте, хотелось обнять его.

В сочиненной Яном повести отец ездил по Америке и строил дома для пострадавших во время войны. Жители красили дома в яркие цвета и засаживали дворы фруктовыми деревьями. В домах были бассейны, врачи и кружки по рисованию и игре на гитаре.

Ян возвращался к своей повести каждый вечер. Отец становился супергероем, он умел проходить сквозь стены, видеть будущее и читать мысли. Он усовершенствовал мотороллер, и на нем можно было передвигаться и по воде, и по воздуху, а в конце концов даже в космос и к центру земли.

Когда одноклассники на уроках плевались жеваной бумагой или толкали Яна в школьном коридоре, он закрывал глаза и думал о том, что вечером можно будет забраться под одеяло и отправиться с отцом-супергероем в новое путешествие. По выходным, когда никто не звал его погулять, а мать с отцом сидели молча по разные стороны стола, Ян ехал на метро в библиотеку и взахлеб читал там книжки по географии и астрономии. Он искал новое место действия для своей повести — древние города, уходящие в глубь земли каньоны и неисследованные планеты, чтобы отправиться туда вместе с отцом на универсальном мотороллере.

Ян перестал замечать, как по утрам дрожат, рассыпая кукурузные хлопья, материнские руки, как по ночам тишину разрывает отцовский крик.

Он настолько погрузился в историю о новом отце, что не заметил, как кошмары стали мучить его настоящего отца не только ночью, но и днем, а мать все чаще забывала оплатить счет за свет и подмести рассыпанные хлопья.

К тому дню, когда Ян вернулся из школы и обнаружил за кухонным столом мать в халате и незнакомого мужчину, обнимающего ее за талию, — к тому дню над верхней губой у него уже пробился первый пушок.

Глаза у матери были красные, между зубами застряла помидорная шкурка. Ян вдруг заметил, как она постарела. Он сел напротив и протянул руку незнакомцу. У мужчины были длинные волосы, косынка на шее и вельветовая куртка.

— Майкл — мой старый приятель, — объяснила мать. — Пришел нам помочь.

Мужчина пожал Яну руку — с той резкостью, с какой хватают под уздцы взбесившуюся лошадь или волосы утопающего. Ян посмотрел ему прямо в глаза.

— Что случилось?

— Твоего отца забрали в больницу, — объяснил пришедший. — Ничего страшного. Он в специальной больнице для переживших психологическую травму на войне. Ему подберут лекарство от галлюцинаций. А я буду помогать твоей маме. Ей нелегко пришлось, ты ведь знаешь.

Ян не знал. Ему стало стыдно. Ему вдруг представилось, что отец и мать потерпели кораблекрушение, а сам он доплыл до берега и забыл обо всем, собирая кораллы. Зато он заметил, что пришедший смотрит на мать влюбленными глазами, несмотря на ее сальные волосы и нечищеные зубы. Ян улыбнулся гостю.

— Все уладится, — сказал тот.

Ян кивнул, похлопал мать по руке и ушел в свою комнату.

Он посмотрел в зеркало. За последние годы он похудел и вытянулся. Руки и ноги казались непропорционально большими. На подбородке цвели три прыща, на носу появились черные точки, кожа на щеках стала бугристой. Ян смотрел на себя и не мог понять, что это за человек — там, в зеркале.

Ян снял свитер. Под мышками появились волосы. Он поднял руку, сунул нос под мышку, понюхал. Запах изменился, стал мужским и терпким. Почти таким же, как у рабочих с блестящими от пота спинами, что укладывали по ночам асфальт и что-то кричали под шум машин о женщинах. Такой же запах был у его отца, когда Ян был маленьким.

Ян запер дверь и расстегнул ремень. Он спустил джинсы и трусы до колен и глянул вниз. Мужской орган тоже изменился — стал больше, темнее, вокруг него выросли нежные волоски. Ян осторожно тронул его, он покачнулся, дрогнул.

Закрыв глаза, Ян прислушивался к току собственной крови. Она бежала по его жилам с тихим шепотом, которого он раньше не замечал. Он многого не замечал, пока жил в своем придуманном мире. Теперь он вернулся. Он рассматривал свои удлинившиеся руки и ноги, потемневшие соски и пенис, смущенно болтающийся между ног, точно кто-то привесил его туда тайком, шутки ради. И глядя на изменившееся до неузнаваемости тело, он понял, что надо что-то делать.

Ян пошел работать.

Три раза в неделю он ходил после школы в супермаркет и помогал людям упаковывать покупки в блестящие пластиковые пакеты. У него была красная форменная кепка и полосатый свитер с именной биркой. Перед работой надо было почистить ногти и зашнуровать ботинки.

За кассой сидела женщина лет на десять старше Яна, с покрытыми красным лаком ногтями. Когда она двигалась, между пуговицами форменного халата виднелся бюстгальтер. Встретившись взглядом с Яном, она ему подмигнула.

В конце месяца Ян считал заработанные деньги и заносил сумму в клеенчатую тетрадь, которую повсюду носил с собой. Туда же он записывал подслушанные в метро обрывки разговоров и наблюдения за людьми на улице или в магазине. Вроде таких: "Голуби не боятся брать хлеб прямо с губ старика", "В магазин пришла женщина в одном ботинке. Интересно, где второй?" или "В обеденный перерыв напротив меня сидел прилично одетый мужчина с синяком под глазом. Интересно, а под костюмом у него таких много?"

После того как отец уехал, а Майкл переселился к ним, мать снова стала регулярно мыть голову, пользоваться румянами и помадой, носить джинсы, в которых казалась стройнее. Ян радовался, что по утрам мать мурлычет на кухне веселые мелодии и больше не роняет хлопья на пол, и одновременно грустил по отцу.

Отец жил теперь в крошечной комнатке реабилитационного центра для ветеранов и пил лекарства, от которых взгляд его стал мутным, а речь неразборчивой. Он нес ерунду и с виду годился Яну в дедушки. Каждый раз, возвращаясь от отца, Ян часами бродил по незнакомым улицам, останавливался на мосту и подолгу смотрел на реку, бросая монетки в воду.

Ян копил деньги, чтобы забрать отца из лечебницы.

Он откладывал большую часть зарплаты на дом в деревне, куда хотел перевезти отца. Там отец смог бы красить стены и сажать в саду все, что захочет. На заднем дворе был бы сарай с инструментами, где можно строить деревянные лодки или модели самолетов. Самолеты были бы с настоящими моторами, и они вместе запускали бы их на лугу за домом. Ян жил бы вместе с отцом, писал книги и вызывал врача на дом, когда отцу потребуется помощь.

Ян снова сочинял повесть, но теперь супергероем был он сам, а настоящий отец, дом в деревне, сад и сарай с инструментами — частью обстановки.

Он думал о доме, саде и мастерской каждый вечер, стоя возле кассы и упаковывая покупки незнакомым людям. Он так этого хотел, что дом словно уже существовал и где-то ждал его.

Однажды, когда Ян грезил о саде, доме и мастерской, знакомая кассирша с красными ногтями остановилась рядом с ним в комнате отдыха.

— Что делаешь вечером? — спросила она. Она стояла так близко, что Ян почувствовал ее запах — пота, сладковатого дезодоранта и мятной резинки — и одновременно ощутил, как набухло между ног. Руки покрылись гусиной кожей. Он продолжал копаться в сумке.

— Да вроде ничего, — наконец выдавил он, достал со дна сумки дезодорант, чистую рубашку и постарался дышать глубже.

— Я тут подумала, — начала женщина, наклонившись так, что ее грудь коснулась спины Яна. — Я вечером в кино собираюсь, может, вместе сходим?

Ян перевел дыхание. Ничего. Секунду подумать — и ответить.

— Почему бы и нет, — произнес он, показавшись самому себе почти взрослым. — На что?

На экране плыли джунгли. В зеленые заросли падали бомбы, от этих звуков у Яна рвалось все внутри. Гипнотизирующий мужской голос пел: "This is the end, my only friend, the end"[1], и джунгли, бомбы, окровавленные трупы и яркие женские наряды завертелись в мозгу Яна, точно во сне. Он почувствовал рядом руку женщины. Кружилась голова. Он видел в джунглях своего отца, вырывающегося из хаоса, в конце концов поглощенного им. Видел затуманенные лекарствами отцовские глаза.

— Мне надо выйти, — шепнул он женщине. — Что-то нехорошо.

Женщина поднялась за ним. Они, пригибаясь, прошли между креслами, люди сухо покашливали вслед.

Когда они вышли из здания, Яна стошнило. Он держался за стену, а женщина придерживала его отросшие волосы, чтобы они не падали на лицо. Его рвало спагетти с томатным соусом, тело сотрясалось, и как только он закрывал глаза, перед ним вставали джунгли. Он словно оторвался от земли и оказался внутри фильма, в душе отца или в какой-то другой реальности, в которой картинки с экрана и воспоминания всех прошедших войну сплетались воедино, образуя сеть, из которой не вырваться.

Ян чувствовал руку женщины на своей шее. Прикосновение было мягким, но решительным. Женщину не поглотили джунгли. Одетая в белый свитер, джинсы и такую же куртку, она целиком принадлежала этому миру с его кафе-мороженым, желтыми такси, кофеварками и бизнес-ланчами. Время в ее мире текло согласно распорядку, и люди, просыпаясь по утрам, знали, куда им идти. Врачи носили белые халаты и кормили пациентов успокоительными. Этот мир был полон улыбок, спокойных вечеров и случайных прикосновений, когда между людьми вдруг возникает загадочная связь.

Тяжесть женской руки вернула Яна в этот мир.

Мы допили вино. Голова Яна лежала у меня на груди, я водила пальцем по его волосам. Хотелось сквозь кожу прикоснуться к его мыслям. Если закрыть глаза и сосредоточиться на ощущении в кончиках пальцев, это получится.

— В общем, это был первый раз, — заключил Ян.

Я задержала дыхание. Я чувствовала тонкость волосков на его висках, изгиб лба и родинку за левым ухом. Ямку на подбородке, и щетину на щеках, и под ней рубцы от юношеских прыщей. Тепло кожи под свитером. Чувствовала, как учащается его дыхание по мере того, как моя рука скользит вниз.

1. Это конец, мой единственный друг, это конец (*англ.*).

Я увидела этот вечер. Тощего Яна и пуговицы на женской блузке. Скомканные джинсы, брошенные на ворсистый, во всю комнату, ковер. Покрасневшее лицо Яна. Глаза, ищущие, на чем остановиться. Белизну женской кожи. Я увидела ее глазами Яна. Изгибы, выпуклости, пугающие и дразнящие, волнующееся изобилие плоти, до которой надо надо надо сейчас же дотронуться. На робко скользящие пальцы легла нежная и сильная ладонь. Губы, зубы, язык Яна.

Губы у Яна были сухими, на языке привкус вина. Руки — большими, сильными и шершавыми. Кожа пахла морозом, потом и табаком.

10

Мама

Я ушел и не знаю когда вернусь

Мы поссорились и папа порвал мои тетрадки Анна пытается их как-нибудь склеить

Наверно я никогда не вернусь

Иона

PS Не волнуйся я сделал уроки

11

Рядом с больницей парк.

В отделении, где держат моего Иону, коридоры на замке, зато двери туалетов всегда должны быть открыты. Балкон обтянут металлической сеткой, у людей на балконе мутные от лекарств глаза и желтые от табака пальцы. За сеткой — клетчатый пейзаж: аккуратные дорожки парка, разросшиеся клены, деревянные скамейки и церковь, с крыши которой спрыгнул много лет назад молодой парень. О нем часто и уважительно вспоминают на балконе. О нем и еще об одном — тот прыгнул с моста, и труп потом прибило к винту затонувшего корабля.

В комнате у Ионы четыре кровати, под кроватями восемь тапочек с меткой больницы. В день, который я хотела бы забыть, Иона выпил моющую жидкость с тележки уборщицы, его отвезли на промывание желудка, и оттуда он сбежал. Была зима, он бегал по городу в распахнутом халате и тапочках на босу ногу. Он бегал по городу, а его имя объявляли по радио. Он бегал так, будто ему было где спрятаться.

Мне бы прийти к нему, сесть на край кровати, взять за покрытую шрамами руку и спросить, как он. Поболтать о том о сем.

Рассказать, что на улице солнце, пообещать, что в тот день, когда он выйдет отсюда, я приду за ним и возьму его сумку. Возьму его на набережную в кафе-мороженое, в бар, кататься на велосипеде, куда угодно. Буду всегда с ним, буду всем говорить: "Смотрите, это мой брат, я его очень люблю и никому не позволю считать его психом".

"Я уже совсем дошел, скоро в психушку попаду", — частенько заявляют люди, прекрасно зная, что не попадут. Никто не думает о том, что здесь можно провести недели, месяцы и годы. Это не то место, куда приходят навестить самых любимых людей. Об этой больнице говорят вслух только те, кто никогда не имел к ней отношения.

Я не пойду в больницу. Я не хочу об этом думать.

Я хочу приходить к Ионе в крохотную съемную квартирку где-нибудь на окраине, пить кофе и жаловаться на то, какой невыносимой стала мама. Хочу незаметно напиться вместе с ним и вспоминать детство. Хочу такое детство, которое можно было бы вспоминать. Жизнь, о которой можно рассказать другим. Нормального брата.

С книгой под мышкой сажусь на нагретую солнцем скамейку и закуриваю. Я больше не хочу никуда и ничего. Хочу быть неизвестной женщиной на парковой скамейке, кого-то ждущей, куда-то направляющейся. Хочу читать эту книгу. Хочу в Англию, в двадцатые годы, где усталая писательница смотрит на растворяющихся в уличной толпе людей и чувствует одиночество и близость злых сил.

Хочу сидеть на горячей от солнца скамейке, под которой пробивается свежая трава, над которой наклоняется клен. Читать в книжке красивые фразы о злых силах и думать, что понимаю их. Дышать ветром и знать, что скоро наступит лето и потеплеет море.

Две девицы идут обнявшись по усыпанной гравием дорожке. Они старше, чем была я, когда Иону впервые отвезли в больницу. На них кеды на толстой подошве, болтающиеся джинсы и тесные футболки с проступающими лямками бюстгальтера. В их возрасте я ненавидела свою грудь. Прятала ее под просторным пушистым свитером и умирала со стыда, когда кто-нибудь из мальчишек подкрадывался и совал под свитер холодную руку. Девицы по-взрослому курят и смеются, сверкая зубами.

12

Если идти из больницы к набережной, оказываешься во дворе другой больницы. На ее каменных стенах нарисованы фигурки. Замок принцессы, думала я в детстве, когда мы с Ионой, держась за руки, приходили сюда поговорить о нем.

Я знала, что в Ионе живет *кто-то*. Этот кто-то заставляет его часами сидеть тихо, а потом вдруг — и дома, и в школе, и на продленке — поднимать глаза и заводить свои речи про дьявола. Я видела черты *кого-то* на лице Ионы по ночам, когда он стоял один у окна, ссутулясь так, что лопатки треугольниками выступали под пижамой. Я тогда закусывала палец и молилась, чтобы Бог уберег моего Иону.

Мама говорила, что из-за этого *кого-то* отец потерял самообладание.

— Генри испугался, — объясняла она мне после той прогулки.

Я держала в руке телефонную трубку и собиралась звонить в Комитет по защите детей, чтобы они забрали нас с Ионой.

— Он любит Иону, он просто не смог сдержаться.

Мама гладила меня по голове, одновременно опуская трубку на рычаг и наклоняясь, чтобы выдернуть телефонный провод из розетки за комодом.

— Им надо помочь. Ведь мы, женщины, сильнее, правда?

— Правда.

Мы, женщины, сидели в детской больнице на составленных кружком стульях рядом с папой и Ионой. Напротив сидели две улыбающие-

ся тетушки с блокнотами, на одной из стен было зеркало, устроенное таким образом, что из-за него за нами наблюдал врач. Все они хотели нам помочь. Выяснить, кто живет в Ионе и как его выгнать. За это я любила их. И еще за то, что они давали мне поиграть в домик с маленькими куколками и делали записи в тетрадке.

— Трудный возраст, — заключили они, когда папа рассказал о Ионины речах про дьявола.

О том, что было дальше, папа умолчал.

— Переходный возраст, — говорили уже другие тетушки в другой комнате, когда Иона отказался ходить в школу из-за насмешек одноклассников.

На празднике в честь окончания учебного года, в украшенном березовыми ветками актовом зале, когда хор уже собирался спеть гимн весне, Иона прокрался за занавес и пристроил под роялем самодельную бомбу. Страшно даже представить, что было бы, если бы учительница музыки ее не заметила, а учительница химии не сумела обезвредить.

— Но он очень смышленый мальчик, — добавляли тетушки. — В этом смысле вы можете им гордиться.

Мне нравились их разговоры. Нравилось чувствовать, что не вся ответственность на мне, что кто-то поддерживает нас, помогает преодолеть Ионину болезнь. После этих сеансов я начинала верить, что все идет как надо, что это просто такой период, после которого придет нормальная жизнь. И в этой жизни у Ионы будут дети, работа, он будет заниматься спортом и платить налоги, и три поколения нашей семьи будут встречаться на Рождество.

Приход этой жизни затянулся, но я не теряла веры. Вот, еще немного, вот сейчас, вот после этого психотерапевта, после этого разговора. Еще немножко — и мы оба успокоимся, повзрослеем, страх и скорбь удастся приглушить, и все вопросы можно будет разрешать словами.

До того дня накануне Рождества, когда я была моложе девиц из больничного двора, мне еще казалось, что такая жизнь когда-нибудь наступит.

Мама с папой ушли что-то докупить, а мы с Ионой пекли имбирные пряники. На окне мерцали электрические свечки, из гостиной доносился запах хвои. Иона поднял глаза от теста и спросил, не хочу ли я попробовать план.

— Что?

— План. Траву. Анашу. Отметить Рождество.

Я вдавливала в пласт теста толстоногих поросят, а между ними — маленькие луны. Тесто пахло гвоздикой и корицей, от духовки веяло теплом. Завтра наступит Рождество. Мы усядемся на диване в гостиной и будем смотреть телевизор и слушать, как провозглашают Рождественский мир[1]. Мама сядет между мной и Ионой, обнимет нас за плечи. В Рождество даже Иона даст к себе прикоснуться. Папа принесет на подносе светлый глёг, и мы будем молча соблюдать неписаный закон. На Рождество не ссорятся. Что бы ни случилось, на Рождество не ссорятся.

1. Традиция публично провозглашать Рождественский мир существует в Финляндии со времен Средневековья. С 1983 г. транслируется по телевидению.

— Ну?

Иона мял в руке кусок теста, точно собирался им в кого-то швырнуть. За спиной у него висел скаутский рождественский календарь, мы по очереди открывали в нем окошки.

— Может, лучше оставить на Новый год? Для той тусовки, про которую ты говорил.

— Боишься.

— Не боюсь. Просто сейчас не хочу.

Я двумя руками вдавливала формочки в тесто. Иона отрывал куски теста и совал их в рот. Завтра его очередь открывать окошечко в календаре. Там окажется краснощекий спящий младенец в яслях. И все будет хорошо.

— Боишься — так и скажи. Я же вижу. А доказывать ты можешь что угодно.

Завтра Рождество. Надо было как-то донести это до его сознания.

— Таскаешься за мной везде. "Возьми меня, возьми меня..." Я там с тобой со стыда сгорю.

Запах брюквенной запеканки. Одноногий гном на еловой ветке. Ангел-колокольчик. Шоколадные конфеты. Шорох оберточной бумаги. Корзина с подарками. Иона, ну пожалуйста. Ты же помнишь, как это здорово.

Разве плохо просто печь пряники и играть в домик? Было бы замечательное Рождество. Только бы ты...

Не смей. Все. Портить.

— Я, пожалуй, расскажу Мике, какая ты трусиха.

Мика. Мика — Ионин лучший друг. Отец у него был в тюрьме, а мать пыталась покончить с собой, открыв газ. По ночам, когда не спалось, я сочиняла истории о себе и Мике. Как мы случайно встречаемся зимним вечером на станции. Ему грустно, он пытается это скрыть, но я замечаю застывшие на ресницах слезы. Мы вместе идем по тихим улицам и время от времени останавливаемся посмотреть на одинокое освещенное окно в каком-нибудь спящем доме.

Через некоторое время Мика начинает говорить. Он рассказывает, как ночью лежал, затаив дыхание, под одеялом и слушал мамины шаги. Рассказывает о коротких тюремных свиданиях и старом отцовском свитере. Я внимательно слушаю. Когда я поскальзываюсь, Мика словно невзначай подхватывает меня под руку. Мы идем сквозь ночь, одна теплая рука в другой, и я нахожу слова, чтобы утешить его. Мика понимает, что я могу сделать его счастливым.

Мика только что расстался со своей девушкой. У Мики будет тусовка на Новый год, и от Ионы зависит, взять меня или нет.

— Чего тебе прямо сейчас приспичило с этим планом?

— Чтобы отметить Рождество. Разве не классно — замутили бы с тобой что-нибудь тайком от родителей? Как в детстве.

— Ладно.

Иона заварил чай. Он принес из своей комнаты завернутый в фольгу, похожий на высохший имбирный пряник кулечек и накрошил содержимое в горячую воду. У Ионы была белая кружка в красных сердечках. На моей было написано "мама".

— За Рождество, — сказал Иона, стукнув своей кружкой о мою.

— За новогоднюю тусовку, — сказала я.

— Ты, похоже, втрескалась в Мику.

— Вот еще! Я его почти не знаю.

Мы пили чай с травой и вспоминали годы, когда во время летних каникул ездили на машине с домиком-автоприцепом на Ледовитый океан и вместе с отцом пускали плоские камешки по океанским водам. Вспоминали рождественские вечера, когда мама с отцом сидели на диване, взявшись за руки, а мы тайком вылизывали начинку из шоколадных конфет. Иона рассказал про компанию своих дружков, которые по пятницам собираются на заднем дворе и распивают на камнях купленное для них алкашами малиновое вино. Мика и Иона были там заводилами. Они всегда носили в штанине бейсбольную биту или автомобильную антенну и умели вытащить ее быстрее других.

По выходным они участвовали в групповых драках — за что-то наказывали парней из другого района. Десятки старшеклассников собирались в условленном месте в условленное время с антеннами, битами, свинчатками, цепями и кнопочными ножами. Они говорили о пинках, выбитых зубах и разбитых носах, точно все это было фильмом или игрой, за участие в которой получаешь сколько-то очков, а потом поднимаешься с земли и живешь себе дальше как ни в чем не бывало.

Приходя в себя после одной драки и готовясь к следующей, они гоняли на ворованных машинах и устраивали вечеринки с выпивкой и девушками. Я мечтала попасть на такую вечеринку.

Мне хотелось сидеть на камнях с Микой, чтобы он держал меня за талию. Хотелось уйти с ним с вечеринки, идти под снегопадом, взявшись за руки, и говорить о том, что мы хотим от жизни больше, чем другие. Сидеть на заднем сиденье краденого автомобиля и отхлебывать пиво из Микиной бутылки.

Иона не хотел брать меня с собой:

— Эти штуки не для тебя. Ты для них слишком нежная. Да еще мне за тебя стыдно будет.

Но теперь мы вместе пили чай с травой, и Иона обещал подумать.

"I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel to scream. This terrible silence stops me"[1]. Мы валялись на полу, Иона держал меня за руку. Его лицо виделось мне перевернутым и старым, похожим на лягушачье. Мы снова и снова запускали "Металлику"[2] и подпевали: "Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake meeee!"[3]

Под потолком кружилась люстра. Мы катались по полу. Стены тоже кружились. Басы, пульсируя, отдавались в груди и животе. Иона сжимал мою руку, и мы хохотали до боли в животе.

— Что, черт возьми, здесь происходит?

С папиных зимних сапог стекала грязь. На вычищенном к празднику ковре оставались серые следы. Мы лежали на полу, и следы окружали нас. Из кухни тянуло гарью.

— Пряники! — донесся откуда-то издалека мамин голос.

1. "Ничего не помню. Сон ли, явь, не разберу. У меня в груди созревает крик. Тишина затыкает рот" (*англ.*).
2. "Металлика" — американская группа, исполняющая музыку в стиле хэви-метал.
3. "Жду, дыханье затая, где ты, смерть моя. Разбуди меня, Господи!" (*англ.*)

— Какого *черта* вы тут творите? — отцовский голос раздался так близко, что голова, казалось, вот-вот разлетится на кусочки.

Когда отец поднял Иону с пола и ударил по лицу в первый раз, я была уверена, что он вообще меня не видит. Глаза у Ионы были полуприкрыты, из губы текла кровь. "Ионе не больно, — подумала я. — Он в густой высокой траве, и к нему не пробьется никакая боль".

Когда отец ударил во второй раз, Иона упал на колени. Рубашка на спине задралась, и следующий удар пришелся по голому телу.

— Генри! — Мама стояла в дверях гостиной. Запах сгоревших пряников заполнил всю комнату. — Не надо. Ты повредишь ему почки.

Мама держала заляпанную прихватку, на щеке чернела полоска. Шея у отца налилась кровью. Кровь Ионы капала на ковер.

Я наклонилась и обняла Иону. Он отстранил меня и встал. Тогда он уже перерос отца, но был худощавее. И он знал, как превратить человека в фарш.

Иона встал перед отцом и ударил его по голени. Сначала несильно, точно проверяя, возможно ли это. Отец отшатнулся. Он приподнял руку, будто хотел что-то сказать.

Следующий удар — как из ролика про карате — пришелся отцу по губе. Подбородок окрасился кровью. Третий удар — на сей раз в висок, — и отец упал на пол.

Отец не произнес ни слова.

Мама не произнесла ни слова.

Отец закрывал голову руками, Иона пнул его еще раз. Прямо в спину, туда, куда только что пнул Иону отец.

Иона не сопротивлялся, когда я потащила его на улицу. Я взяла его за руку, надела на него ботинки и защитного цвета куртку. Захватила свой пуховик, шарф и шапку. Мама по-прежнему стояла в дверях с прихваткой. Черная полоска на щеке превратилась в серое пятно.

13

Загорается экран телефона. Мама. Нажимаю на красную нарисованную трубку, вытираю глаза салфеткой и закуриваю.

— Он сказал, что ты больше о нем не заботишься.

Нет, я не собиралась возвращаться. Не собиралась вставать со скамейки и, сунув книгу в сумку, идти в кафе. Нет.

Я собиралась взять себя в руки и сходить в больницу, как в какую-нибудь контору, в расстегнутой куртке, с шарфом через плечо. "Здравствуйте, — собиралась сказать я. — Я сестра Ионы Лоухиниити".

Я пробыла бы там минут сорок или даже час, а потом пришла бы домой и мы с Яном приготовили бы макароны с моцареллой. Вечером Ян гладил бы меня по голове, перед сном я рассказала бы ему что-нибудь про больницу и всплакнула. Не рыдала бы, судорожно всхлипывая, а поплакала бы так, как плачут люди, знающие, что печаль скоро пройдет и следующий день станет обычным, вполне терпимым днем.

Передо мной горячий капуччино. Пена рыхлая и неопадающая, как вата. Вставляю ложку в белую шапку, вдыхаю запах кофе. Прижимаю ладони к выпуклым бокам кружки. Горячо.

Что, если Ян когда-нибудь так же прижмет ладони к моему округлившемуся животу, чтобы почувствовать, как бьется внутри крошечное сердце, прижмет к нему лицо, чтобы уловить сквозь кожу запах новой жизни? Что, если такой день никогда не наступит? Что тогда останется мне?

14

— Если у нас будет ребенок, как ты его назовешь? — спросил Ян.

Он лежал на диване, положив голову мне на живот, я наматывала на палец его влажные от пота прядки. Ян был без рубашки, на худой груди топорщились волоски. Пальцы помнили уже их расположение. Впрочем, пальцы запомнили все, к чему прикасались: мочки ушей, ключицы, ягодицы и изгибы позвоночника.

Мы провели у меня трое суток. Время от времени один из нас в расстегнутой куртке и незашнурованных башмаках выбегал в магазин, хватал с полок хлеб, виноград, сыр с плесенью, коробку дорогой привозной клубники и, побросав все это в сумку, спешил домой. Мы лежали рядом, гладили друг друга и говорили о детстве и юности, боли, радостях и снах. Мы говорили так, как обычно говорят с незнакомцем, встреченным после пьяной ночи поутру — кажется, что этому незнакомцу ты можешь доверить все, а никаких других лиц уже не помнишь.

Запоминая Яна пальцами, я успела придумать для нас двоих общую жизнь. Старый деревянный дом, играющий в кафельной печи огонь, Яна, согнувшегося над книгами, и себя у окна с чашкой чаю в руке. Белые звезды и звездами же падающий снег, тепло очага за спиной, — миг, свободный от страха за то, что еще может случиться.

Я вдруг поняла. Ян вообразил то же, что и я. Он тоже нарисовал картинку нашего совместного будущего. Мы двое, потолстевшие и постаревшие, один досказывающий начатую другим шутку. И — в его представлении нас было не двое, больше. Мы с Яном, спрашивающие в ресторане детский стульчик, собирающие с пола разбросанные игрушки, ждущие домой подвыпившего подростка.

Я повернулась, и голова Яна соскользнула с моего живота. Я провела рукой по его волосам и села.

— У нас не будет ребенка, — сказала я. — Я никогда не посмею дать кому-то жизнь.

Прежде чем Ян успел что-то сказать, я начала говорить о маме — о том времени, когда она была еще не моей мамой, а просто маленькой девочкой с очень аккуратным пробором и тревожным взглядом.

Мамин отец погиб на войне, а маму — как ребенка солдата — бабушка отправила в Швецию. Мамина новая семья жила в красном деревянном доме с кафельной печкой и белыми оконными переплетами — точь-в-точь иллюстрация к "Мы все из Бюллербю"[1]. Но новая семья так и не стала ее семьей. По вечерам, когда все ложились спать, мама садилась у

1. "Мы все из Бюллербю" — книга Астрид Линдгрен.

окна и представляла будущие годы, представляла, как когда-нибудь на Рождество ее собственные дети будут танцевать вокруг елки в одинаковых передниках.

Прежде чем стать нашей мамой, мама много лет любила человека старше себя — чернобрового, со шрамами на запястьях. Он пил пиво на завтрак и писал стихи о бедности и революции. Еще когда она не была нашей мамой, мама сидела на кровати в кофточке в красный горошек и ждала, когда любимый наконец закончит писать и придет к ней.

Закончив писать, он присаживался на кровать и начинал расстегивать пуговицы кофточки, и тогда в женщине загоралась надежда стать матерью. У них будет краснощекий чернобровый малыш, ее мечта сбудется, а мужчина научится улыбаться легко и непринужденно. А потом все они переедут из стокгольмской съемной квартиры в деревянный дом, пахнущий яблоками и елкой.

Мужчина поклялся, что этого никогда не будет.

— И в этом мире ты хочешь иметь ребенка? — спросил он, повернувшись к ней спиной. Она сжала кулаки.

Мужчина повторил эти слова много раз, и женщина больше не заговаривала о ребенке. Но, гуляя зимними вечерами по заснеженным улицам, она останавливалась перед освещенными окнами. Глядя на лампу с красным абажуром, она представляла, как там живут люди, как отец и мать целуют детей на ночь, а потом сидят друг напротив друга в свете лампы, читая книги или смакуя вино.

А когда она возвращалась домой, ее ждал полупьяный, одышливый человек. Рядом с пишущей машинкой стояла бутылка. Иногда, когда она пыталась завести разговор о чем-то — о чем угодно, лишь бы он улыбнулся, или ответил, или пальцем нарисовал слона или льва у нее на спине, — он стучал по столу и разражался криками.

— Ты думаешь, будто что-то знаешь о жизни? — восклицал мужчина, зло сверкая глазами. — Мечтаешь об идиллии, где все такое чистенькое, свеженькое и все желают всем добра. Ничего у тебя не выйдет. Слышишь? Такой идиллии нет!

Она провела много ночей на узкой кровати, видя перед собой лишь спину мужчины, а потом собрала потрепанный чемодан и купила билет на паром в Хельсинки.

Всю дорогу она простояла на палубе. Шел мокрый снег, было ветрено, связанную ее шведской мамой шапочку сдуло в море. Женщина сжимала поручень голыми руками, и снег на ее лице смешивался со слезами.

Однажды, спустя много месяцев после того, как паром прибыл в порт, после того, как мама разобрала чемодан, познакомилась со своей финской матерью и стала говорить без акцента, она отправилась гулять по набережной. Был прозрачный осенний день, на женщине был светло-коричневый плащ и цветастая косынка, и, проходя мимо старых каменных домов и старомодных фонарей, она вдруг услышала позади себя голоса.

Женщина повернулась и увидела приближающуюся гомонящую толпу — люди несли картонные щиты и скандировали: "Поддержим чехов и словаков!", "Да здравствует Дубчек!" Сотни людей плотной группой двигались вперед, многие держались за руки.

Когда большая часть демонстрантов обогнала женщину, она вдруг испытала прилив восторга и одновременно укол стыда оттого, что не

участвует в их шествии. Покрепче завязав косынку на шее, она решила было присоединиться к демонстрации и тут заметила в последней колонне сумрачного мужчину. Он шел чуть поодаль, держа руки в карманах расстегнутой куртки. Голос у него был громче и ниже, чем у остальных, глаза, когда он кричал, сощуривались до щелочек. Не успев осознать, что делает, женщина вдруг обнаружила, что шагает рядом с мужчиной и кричит вместе с ним в такт шагам.

— Не знаю, любила ли я вашего отца, — сказала мама спустя много лет, когда я попросила ее рассказать о том, что было до меня. — Я просто почувствовала, что именно он даст мне то, к чему я стремилась.

Я и не заметила, как начала плакать. Ян встал, принес из туалета бумаги и протянул мне. Я вытерла глаза и представила, что было бы, если бы он вдруг ушел и больше не вернулся.

— Я никогда не спрашивала, каково маме сейчас, — сказала я, вытерев глаза и высморкавшись. — Каково ей сейчас видеть, как осуществилась ее мечта.

Ян бросил бумагу в мусорное ведро, налил себе воды и сел рядом. Он передвигался по моей квартире так, будто жил здесь давным-давно, и это пугало и радовало.

— И как же она осуществилась? — спросил Ян.

Он так долго молчал, что я набралась сил и заговорила.

15

Была ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое декабря. Иона шел передо мной и сплевывал, я старалась не сводить взгляда с меховой оторочки его капюшона. План еще действовал. Фонари и темные окна домов кружились, но надо было взять себя в руки. Надо было сосредоточиться на Ионине спине и на том, что только что произошло дома. Надо было как-то уладить все это до утра.

На ступенях церкви Иона повернулся ко мне. Шедший изо рта пар делал черты его лица мягче.

— Я хочу побыть один, — сказал он. — Иди домой.

Я поджала пальцы ног. Холод поднимался от них к животу. На носках Ионины десантных ботинок засохла кровь. Я посмотрела на его распухшую нижнюю губу, на выбившиеся из-под капюшона волосы. И почувствовала, что меня трясет от ненависти к нему.

"Давай поменяемся, — хотелось мне сказать. — Давай ты станешь мной, а я тобой. Я пойду бить витрины, проведу ночь в вытрезвителе и проснусь наутро с больной головой. А ты стань моей сестрой, вернись домой и приведи все в порядок".

Я кивнула.

— Иди. Обещай, что не наделаешь глупостей.

Иона пошел, не оглядываясь, засунув руки в карманы, подняв плечи так высоко, что казалось, будто у него совсем нет шеи.

Когда он ушел, я легла на плиты заднего двора. На лицо падал снег. Я закрыла глаза, ощущая, как снежинки тают на лбу и щеках. Я прижималась спиной к холодной земле, не чувствуя больше собственных ко-

нечностей. Я вжималась сквозь ледяную кору в самое нутро земли, в мягкую лаву, которая тихо укачивала меня в объятиях, так что стирались черты и оставалось лишь ощущение. Я видела издалека маленький холмик — свое тело, обволакиваемое снежным саваном.

Когда под утро послышался стук двери, я пожалела, что вчера не осталась там, снаружи. Лучше было бы пролежать под снегом до весны, ничего не зная о том, что случится за это время.

Я услышала, как Иона чем-то гремит в прихожей. Свернувшись под одеялом, я стала молиться, чтобы он скорее ушел в свою комнату и из-за стены послышалось ровное дыхание.

Шаги Ионы донеслись уже с кухни. Он гремел дверцами шкафов и ящиками. Я обхватила руками колени и повторяла: "Господи, покажи, что Ты есть. Пусть Иона пойдет спать. Пусть папа не услышит и не проснется. Если Ты есть, пусть ничего плохого не случится".

Шаги и шуршание. Дыхание Ионы. Он шепотом выругался. Тишина. Стук моего сердца. Легкий запах дыма, проникающий в комнату. Нет. Только этого не хватало. Пусть все это мне кажется. Пахло горелым деревом. Я встала, открыла дверь и увидела языки пламени и Иону. Он стоял вполоборота ко мне и тер глаза, словно не веря тому, что видит.

— Чем меньше кислорода поступает к огню, тем меньше он горит.

Фраза была из Иониного учебника, по которому он занимался в научном кружке. Я вспомнила тетрадь в синей обложке, исписанную круглым почерком, Иону во фланелевой рубашке и скрепленных лейкопластырем очках, объясняющего, как из уксуса, пищевой соды и средства для мытья посуды получается пузырящийся вулкан.

— Я стану ученым! — говорил Иона.

— Надо бы прикупить костюм для вручения Нобелевки, — посмеивался отец. Они стояли рядом за кухонным столом, и отец показывал, как кормить паровую машину похожими на кусочки сахара кубиками горючего. Я пряталась под вешалкой и грызла папин галстук. Я ненавидела Иону за то, что отец ерошит ему волосы и рассказывает о машинах и научных достижениях. Ненавидела папу за то, что они с Ионой пойдут за Нобелевской премией, а я опять останусь с мамой.

Я отпихнула Иону от елки, толкнула горящее дерево на пол и набросила ковер на языки пламени.

Укрывая ковром тлеющий еловый ствол, я заметила в дверях спальни папу. На пижаме не хватало пуговицы, на виске была красно-синяя шишка с подсохшей кровью.

Когда отец переступил порог спальни, я провела ладонью по шее и изобразила губами: "Не выходи". Мама увела отца обратно в спальню. За дверью послышался жаркий шепот. Я попыталась приблизиться к Ионе.

— Отвали, — сказал Иона. — Не трогай меня. Не подходи.

Он сидел на полу, спрятав лицо в руки, и дрожал. На волосах остатки съежившейся от огня мишуры, вокруг разбитые ангелы и обгоревшие шары из папье-маше. Я села рядом с ним и высморкалась. На бумаге остался черный след.

— Иона, пожалуйста...

— Даже не думай, — Иона оттолкнул меня так резко, что я повалилась на ковер. — Ничего не объясняй. Я тебя насквозь вижу. А ты обо мне понятия не имеешь. О том, что у меня внутри.

В зеркало я увидела маму. Она прокралась босиком в прихожую и схватила телефон. Поймав мой взгляд, она прижала палец к губам.

Трудно вспомнить, что было потом. Не знаю, помню я тот вечер или один из последующих. И вообще, не придумала ли я все это много позже.

Но помню я вот что.

Из спальни донеслись торопливые препирательства и мамин обретший деловитость голос после того, как она набрала номер и дождалась ответа. Иона дал себя обнять. Волосы пахли морозным воздухом, сажей и отцовским шампунем. Возле моей ноги валялся одноглазый ангел. В уцелевшем глазу отражалась перевернутая комната.

Хлопнула дверь. Раз, другой. Перед глазами возникли четыре ноги в синих штанинах. Иона вырвался из моих объятий. Я зажала ладонями уши и уткнулась лицом в диван. Я вдыхала слабый запах пыли и чувствовала позвоночником Ионин крик.

Шум в ушах смешался с воем сирены, я подняла глаза и увидела обвивавшую балконные перила электрогирлянду. По белым огонькам бегали синие искры. За стеклом огни полицейской машины и "скорой" растворялись в рождественской ночи.

Не помню, о чем мы говорили с отцом и мамой. Наверное, поддерживали разговор о возникших теперь сложностях, надлежащем уходе и о том, чего никто не заметил вовремя. Наверное, кто-то из нас произнес словосочетание "психиатрическая больница". Наверное, потом мы разошлись по комнатам, потому что говорить и смотреть друг на друга мы больше не могли.

Когда начало светать, я прокралась в Ионину комнату, набросила на плечи покрывало с его кровати и свернулась клубочком на подоконнике.

Я не думала о Ионе. Я не вспоминала о его крике в дверях, о стиснутых чужими руками запястьях, о мигающих сигнальными огнями машинах во дворе. Я прижалась лбом к стеклу и вспоминала давнее-давнее Рождество. Ту пору, когда каждое Рождество сулило радостную тайну. Я обнимала руками колени и вспоминала церковь, горящие свечи, старушек, отряхивающих от снега монашеские шапки, папу возле алтаря — высокого, в белом, похожего на ангела, и нас — маму, Иону и меня — на передней скамейке.

Мы были маленькие, мама взяла нам с собой раскраски. Стоя на коленках, мы раскрашивали цветными карандашами пустые пространства между черными линиями. Иона упирался головой в мой лоб, его волосы щекотали мне висок. Иона раскрашивал космонавта, ступающего на поверхность Луны, а я — пастушку в кружевном платьице, с изогнутой тросточкой.

Папа начал говорить. Я подняла взгляд от пастушки и стала слушать. Рядом со мной сидела старушка, кожа у нее на руках была как папиросная бумага. Она вошла в церковь одна, останавливаясь и переводя дыхание на каждой ступеньке, обеими руками держась за перила. Она шевелила губами, повторяя те же слова, что и папа.

— Рождество Христово есть милость Божия, — сказал папа. — Так роду человеческому было даровано прощение.

Я сощурилась и в неверном свете увидела на стене Иисуса. У него были красные щеки, наморщенный лоб, он нес в пухлых ручках милость.

Милость была круглая, медного цвета. Похожая на лампу в бабушкиной прихожей — ее зажигали, когда я оставалась ночевать, чтобы я не боялась, если приснится страшное. В ней были звезды-дырочки и стеклышки — зеленые, желтые и фиолетовые, сквозь которые пробивался свет тоже в форме звездочек.

Когда мы вышли из церкви, папа взял нас с Ионой за руки. В прозрачном воздухе кружились снежинки. Если остановиться и смотреть на небо — как будто летишь вместе с ними.

— Вперед, — крикнул папа. — Нас атакуют космические эльфы! Мы должны спасти мир!

Мы высунули языки, чтобы поймать эльфов. Папа держал нас за руки, и мы кружились вместе со снежинками, с холодными каплями на языке, и я была уверена, что со снежинками проглотила и звезду.

Я прижималась лицом к коленям и с горечью вспоминала то Рождество. Оно наверняка было на самом деле. Мне хотелось, чтобы Иона помнил то же самое.

16

Я никогда даже представить не могла такой любви — любви всеохватывающей, до слез, до смятения, и при этом дающей уверенность в том, что любимый человек хочет проснуться рядом со мной и на следующее утро.

Две составляющие до сих пор присутствовали в моих отношениях с мужчинами: я о них заботилась и ни на что не надеялась. Я очертя голову погружалась в проблемы ожидающих суда угонщиков, сбежавших из больницы наркоманов и мечтающих о революции алкоголиков. Я постоянно находилась в боевой готовности: погасить просроченный платеж, найти припрятанный среди книжек пакетик амфетамина. Я любила ощущение опасности, меня тянуло к тем, кто скрывался от наркоторговцев или полиции, нравилось обнимать их, гладить испуганные лица и уверять, что мы, без сомнения, выкрутимся. Нравились долгие ночи, которые после ссор, секса и выкуренного косяка завершались рассказами об одиночестве, унижениях и попытках самоубийства, нравилось слышать слова, о которых я мечтала с детства: "Без тебя я бы пропал".

Чем более опустившимся был человек, спящий в моей постели, тем увереннее я себя чувствовала. Мне казалось, что я олицетворяю собой мир, наполненный свежим воздухом, прогулками, вкусными завтраками и надеждой на то, что когда-нибудь все образуется. Пытаясь — крайне редко — встречаться с нормальными людьми, у которых были приличные друзья и планы на будущее, я начинала испытывать страх ненужности и разоблачения. Ведь это лишь вопрос времени — когда человек узнает обо мне всю правду. О моей семье, которая вряд ли придет провести вечер в кругу его семьи, о черном вихре, могущем в любую минуту унести меня в тартарары.

И только с Яном я прекратила *налаживать и успокаивать* и смогла наконец пережить все те чувства, которые копились во мне долгими вечерами, когда я, лежа в постели, сжимала кулаки и слушала за стеной голоса отца и Ионы, которые становились все громче и громче. И потому я была готова ради него на что угодно.

Была ночь, Ян ушел на какую-то вечеринку на кафедре литературоведения. Нередко с таких вечеринок он возвращался только под утро. Вместе с коллегами он слушал старые финские пластинки, и те пытались переводить ему слова на английский.

Но сегодня он вернулся раньше обычного.

Я пошла выносить мусор и столкнулась с ним у двери. Он стоял, держась за косяк. Глаза красные, на воротнике засохшая рвота. При виде меня он протянул руку, словно собираясь приветствовать незнакомца.

— Прости, — сказал он. — Ну, прости, пожалуйста.

Я провела его в дом и сняла куртку. Он повалился на ковер. Нижняя губа кровоточила. Я сняла с него шарф, ботинки, подхватила под мышки и дотащила до кровати. Он уселся на кровать и тихо ждал, пока я счищала блевотину с подбородка и шеи, снимала рубашку, брюки и укрывала его. Он позволил мне делать с собой все это, точно я была врачом или медсестрой, прикасающейся к нему по долгу службы, точно между нами заключен был молчаливый договор о том, что и это тело не есть его тело, и рука, дотрагивающаяся до него, никому конкретно не принадлежит.

— Что случилось? — спросила я.

Ян попросил воды. Я нашла старую, еще домашнюю кружку с носиком, прижала голову Яна к своей груди и стала поить его, как ребенка.

Когда я подумала, что Ян уже заснул, когда и сама я задремала, сидя на кровати, с пустой кружкой в руке, он открыл глаза. И начал рассказывать о давней холодной ночи, городских огнях и мальчишке, который вдруг остро ощутил, что живет.

— Это было после того, как вернулся отец. Я старался поменьше попадаться ему на глаза. У отца были галлюцинации, мама нервничала. Я старался помогать по дому и выглядеть повеселее, чтобы не огорчать ее еще больше. Но в горле все время стоял комок.

Однажды ночью отец начал кричать. Мать пошла принести воды. Я лежал с закрытыми глазами и слушал голоса в соседней комнате. Пытался вспомнить, что было до того, как отец ушел на войну. Выдавались ли тогда минуты без тревоги и страха? Этого я не помнил. И сейчас не помню.

Стало нечем дышать. Я открыл окно, вдохнул ночного воздуха, но по-прежнему казалось, что задыхаюсь. Я решил залезть на крышу.

Ночь была туманной и полной городских огней.

Я лег на спину, закрыл глаза, и огни превратились в подвижные кольца. Потом кольца остановились. Я не открывал глаз. И кольцо, сжимавшее шею, ослабло...

— И?

— Да ничего. Тьфу, как все это по-дурацки звучит.

— И что?

— И воздух проник внутрь.

Ян помолчал, взял мою ладонь и нарисовал на ней дугу.

— Я впервые почувствовал, что я действительно живу. Ничего о себе не зная. Ни о чем не думая.

Его ногти щекотали мне ладонь.

— Больше я никогда такого не испытывал, — тихо сказал Ян. — Но в тот момент я родился. И когда было трудно, я лез на крышу и вспоминал этот момент.

— Даже взрослым?

— Пока не уехал в Нью-Йорк.

Ян поднял голову и посмотрел на меня так, будто не очень понимал, кто я и почему его голова на моих коленях, почему у него мокрые щеки и во рту привкус рвоты. Мне хотелось, чтобы рядом со мной он снова испытал то чувство.

Ян отпил воды и помотал головой, когда я попыталась что-то спросить. И тихо, запинаясь, начал рассказывать о Нью-Йорке после теракта.

— Это были дни и недели скорби. Я был полон ею.

Он в одиночестве ходил по городу, похожему на город из снов или фильмов — из тех бессчетных фильмов, где Америке угрожает неизвестная опасность и всех спасает человек с литыми бицепсами. Он ходил по городу и чувствовал общее единение, возникшее после теракта, заставлявшее людей улыбаться друг другу теплее, прикасаться друг к другу нежнее и слушать дольше обычного.

Ян встречался с друзьями, потерявшими во время теракта близких. Он пил с ними вино или кофе, держал за руку, давал выплакаться и выговориться.

Он встретился с матерью, переехавшей с Майклом за город, в большой дом с каштанами и подстриженной лужайкой за высоким забором. На ней был клетчатый костюм и серьги из настоящего жемчуга, она расцеловала Яна в обе щеки и напомнила ему, чтобы вымыл руки перед едой. На Майкле костюм был темно-серый, под ним розовая рубашка, он подливал матери белого вина, себе и Яну виски и повторял слова президента, не отдавая себе в том отчета.

Ян встретился с отцом. В психиатрическом отделении центра реабилитации он обнаружил человека с прокуренным голосом, забывшего надеть под больничный халат кальсоны. Сгорбленного человека, которого веселая санитарка увела заканчивать туалет и шлепнула, когда тот попытался ущипнуть ее пониже спины. Человека, который кашлял, плакал и матерился, и так и не понял, кто к нему пришел.

— Вы хороший, — сказал отец, когда Ян расчесал ему волосы на косой пробор, как на юношеской фотографии, и подстриг отросшие ногти. — Ах как жаль, что вам скоро уходить.

Они прошли по длинному коридору в холл с телевизором, отец опирался на руку Яна.

— Мы должны спасти мир, — сказал отец. Они сидели в холле среди таких же стариков в халатах и тапочках. На экране телевизора президент стоял среди руин в пожарной каске и непродуваемой куртке и произносил что-то бодрое. — Оно, конечно, собачья работа. По мне так лучше лежать себе да плевать в потолок. Но что поделаешь. Кто-то же должен его спасать.

— Вот как? — спросил Ян, сжимая руку отца. — Ты так думал, отправляясь во Вьетнам?

Отец притих. Потом отнял руку и невидящими глазами посмотрел сквозь Яна.

— Пиф-паф, — пропел он, прицелившись в Яна указательным пальцем. — Пиф-паф, ой-ой-ой, подыхает мальчик мой. Пиф-паф и капут.

Ян отвел отца в комнату, почитал ему анекдоты и гороскоп, уложил в постель.

— Приятно было поболтать, — сказал отец, когда Ян в дверях застегивал куртку. — Очень приятно было с вами поболтать, молодой человек.

Ян кивнул, мол, спасибо, взаимно, помахал и почти бегом бросился в холодный, мерцающий огнями нью-йоркский вечер.

— Глупо это было, — сказал Ян. Он почти касался губами моего тела, дыхание щекотало кожу. — Кажется, я только тогда понял, что отец никогда не поправится. До этого верилось, что...

— Что ты сможешь его спасти.

— Да. А там... Тогда я понял, что нет... что он никогда меня не вспомнит, и сегодня вечером...

— Сегодня вечером?

— Я понял, что — больше ничего нет.

Ян повернулся ко мне спиной и прижал колени к груди, скрестив руки. Мой Ян. Мой умный спокойный Ян, открывший мне мир, в котором, несмотря на беды и ночные кошмары, есть кто-то, кто вытрет слезы, разбудит ночью и покажет лунные блики в окнах соседнего дома и на плитах тротуара.

Мой Ян плакал и дрожал, как ребенок, а я могла только прижимать его к себе — так долго, что одеревенели руки и заныла шея.

17

Уважаемый смотритель,

пишу вам, чтобы развеять несправедливые подозрения в том, что я якобы пытался поджечь кладовку для велосипедов в нашем доме. Обо мне ходят всяческие слухи, и это не доставляет мне удовольствия. Однако в тот вечер я был в другом месте, и моя мать может это подтвердить.

В свою очередь я хотел бы, чтобы вы обращали больше внимания на то, как ведут себя дети во дворе (которые, подозреваю, тоже имели отношение к этим слухам): они никогда не здороваются (хотя я всегда приветливо здороваюсь как с ними, так и с остальными жителями дома, поскольку считаю, что это создает хорошее настроение).

Они же смотрят на меня в упор, а потом начинают хихикать. Это неприятно, особенно если учесть, что я им ничего плохого НЕ сделал. Позапрошлой ночью они хихикали у меня под дверью, а вчера один из них залез через окно в мою комнату и таращился на меня всю ночь.

Это, по-вашему, справедливо?

С уважением и надеждой на скорейшее вмешательство

Иона Лоухиниити.

— Хотите еще что-нибудь?

Официантка постукивает по столу, и я понимаю, что ей пришлось простоять здесь с пепельницей в руках довольно долго, а за соседним столом тем временем настойчиво требовали счет.

Да, хочу. Я хочу понять, в какой момент я потеряла Иону. Когда я перестала приходить домой и отвечать на его звонки? Когда перестала надеяться на перемены к лучшему? Когда начала жить так, точно его никогда не было?

— Так что же?

— Прошу прощения. Кампари со льдом.

В тот сентябрьский день, когда самолеты протаранили нью-йоркские башни, уничтожив три тысячи людей, я подошла к телефону. Звонил Иона.

Накануне он был у нас в гостях. Я сделала блинчики с начинкой и помогла ему написать объявление для сайта знакомств: "Мягкий, застенчивый, одинокий мужчина ищет понимающую женщину. Не хожу по барам, но отнесусь с пониманием к твоим увлечениям. Мечтаю о семье и размеренной, спокойной жизни". На Ионе была дорогая одежда, и он принимал новое лекарство, от которого лицо у него перестало отекать, а язык заплетаться. Когда мы отправили объявление, я уже готова была представить себе женщину, которая полюбит Иону больше жизни и с которой Иона решится наконец уйти из дома. Я представила семью Ионы и его размеренную, спокойную жизнь.

Утром на трамвайной остановке я рассказывала себе сказку о Ионе, который утром встал, сходил в магазин, проехал в трамвае, не вспотев и не распугав остальных пассажиров. У этого Ионы были вымытые волосы и почищенные зубы, была жена, которая беседовала с ним о политике, стихах и мироустройстве.

В тот сентябрьский день, когда Иона жалким голосом говорил по телефону, когда я выбежала с лекции с расстегнутым рюкзаком и подозвала такси, — в тот день я еще верила, что такой Иона где-то существует.

На улице Маннергейма такси остановилось на светофоре. В витрине соседнего магазина светились большие экраны.

— Гляди-ка! — сказал таксист.

На всех экранах показывали одну картинку: самолет врезается в высокую башню. Небо было серо-желтым от взрыва.

— Реклама американского кино, — пожала плечами я. — Поехали, зеленый.

Шофер включил радио. Мужской голос говорил о башнях и самолетах, не упоминая о количестве погибших. В зеркало я увидела, как ползут вверх брови водителя. За окном мелькали желтые деревья, башня стадиона и огни колеса обозрения. Таксист не останавливаясь бормотал:

— Черт побери! Господи, Боже мой! Да быть такого не может!

Я прикусила губу. Хотелось крикнуть ему:

— Заткнись! Выключи свое чертово радио и смотри на дорогу! Вези меня быстрее к Ионе.

Иона сидел в прихожей на полу. С сальными волосами, в полосатом халате. Рядом валялась кофейная чашка, все вокруг было усыпано осколками зеркала.

Это было зеркало без рамы, почти во всю стену. Оно словно увеличивало помещение, превращая узкую прихожую в просторный зал. В детстве Иона держал перед ним речи, а я просовывала руки ему под мышки, и вместе мы изображали Чаплина, Катри Хелену[1] и президента Кекконена. Иона надевал папины очки, натягивал на голову сдутый баскетбольный мяч, чтобы было похоже на лысину, и повторял: "Сограждане, medborgare[2]".

Теперь разбитое зеркало валялось на полу, а у Ионы из руки текла кровь.

— Люди падали, — сказал Иона, — падали и умирали, и ничем нельзя было им помочь.

Я принесла из кухни совок и веник, собрала осколки в ведро, промыла ранки и обмотала их туалетной бумагой. Иона обеими руками гладил меня и обнимал за шею.

В такси по дороге в больницу Иона заговорил об этом человеке. Он держал свою руку у меня на коленях, кровь просачивалась сквозь бумагу, пластырь и джинсы мне на ноги. По радио мужской голос говорил о самолетах, Всемирном торговом центре, президенте, спасательных работах и тысячах погибших, и понемногу до меня начало доходить, что и за пределами нашего дома сегодня случилось что-то ужасное.

Когда Иона начал говорить, водитель сделал радио потише. Я сжала руку Ионы, чтобы он тоже понизил голос или подождал, пока мы останемся одни. Но он не стал ждать, он громким бесцветным голосом рассказывал о человеке, который смотрел на него из зеркала. У человека было бледное грустное лицо, и он смотрел сквозь Иону. Эти глаза не оставляли Иону в покое и тогда, когда он отвернулся и даже когда разбил зеркало. Они не оставили его и сейчас — таращились из зеркальца такси, из смутного отражения в окнах.

— Это пройдет, — сказала я, гладя его руку. — Тебе дадут лекарства, и все снова будет в порядке.

Иона покачал головой:

— Не пройдет. Я не хочу, чтобы это проходило.

— Что?

Иона не заметил жесткости в моем голосе. Он продолжал говорить так же размеренно, будто обращаясь ко всем и ни к кому:

— Я не хочу, чтобы это проходило. Я только сейчас начал понимать, кто я такой.

Я посмотрела на Иону. Небритые щеки, на зубах желтый налет. На лице царапины от осколков. Запах немытого тела из-под халата. Мне вдруг показалось, что я вижу его в первый раз.

В сознании возникла четкая — будто сказанная по радио — фраза: "Ее брат — сумасшедший". Я прижалась лбом к стеклу. "Она везет брата в психбольницу". Она. Я.

1. Катри Хелена (р. 1945) — известная финская эстрадная певица.
2. Сограждане (*шведск.*).

Я попыталась вспомнить, каким видела Иону раньше. Вспоминалось только его лицо в детстве: серьезный взгляд и румянец, который означал, что Иона чем-то очень увлечен. В этот сентябрьский день, в такси, несущемся через парк к больнице, я уже не смотрела на Иону как на маленького мальчика, которого ждет будущее, ждет взрослая жизнь. В этот день я впервые увидела – рядом со мной сидит неопрятный, небритый, пропахший больницей мужчина. А сама себе я казалась женщиной, жизнь которой вот-вот обрушится в этот психобольничный мир.

Такси останавливается на светофоре возле парка. Женщина сдирает с губы подсохшую корочку. Выглядывает в окно: деревья, скамейки, гуляющие люди, дети кружат на карусели, жмут на крошечные педали. Женщина ничего не говорит, но по ее взгляду видно: что-то внутри нее, что она всеми силами старалась уберечь, умерло.

Остаток пути мы ехали молча. От теплой Ионiной крови мутило. Я открыла окно глотнуть свежего воздуха. На автобусной остановке молодая женщина говорила по-английски по телефону и плакала.

19

Привет, Водная ласточка!

Сегодня я весь потный от возбуждения опять включил компьютер. Может, там есть что-нибудь от тебя? Я понимаю, что ты уже не ответишь, и пора уже перестать на это надеяться.

Я понимаю, что, наверное, зря рассказал тебе про свою болезнь.

Я подумал, что ты не такая как все – добрая и чуткая. Когда ты написала, что для тебя внешнее не важно, а важно то, что внутри, мне стало тепло, и я подумал, что ты поймешь и то, что внутри у меня.

Очевидно, я ошибался. Теперь я понял ты такая, как все женщины. Я больше никому не буду верить.

Сломанный внутри

И.

20

На телефоне высвечивается: "Любимый". Это Ян. "Убрать звук". Говорить сил нет.

За окном сумерки, люди возвращаются с работы. Книга на столе обложкой кверху, рядом полная до краев пепельница и след от кофейной чашки. Я пересчитываю окурки – двенадцать. То есть я выкурила двенадцать сигарет, а из романа не прочитала и страницы. Даже не вынула из сумки диктофон, не говоря уж о том, чтобы расшифровать интервью с молодым депутатом парламента, которое два дня назад пора было сдать. И в больницу не пошла. И ни с кем не говорила, кроме официанта и мамы.

Я целый день просидела в кафе, наблюдая сквозь грязные окна, как люди запрыгивают в трамваи и автобусы, чтобы успеть на работу, как они потом спешат домой или еще куда-то, где их ждут, где заставят за-

быть о работе и уведут в другой мир, в иное измерение, которое оставит в их душе след более глубокий, чем оставил прожитый день. Я смотрела на людей, пробегавших мимо — отчаявшихся, воодушевленных, взволнованных, и на людей, идущих неспешно, опустив глаза или, наоборот, глядя в небо, на людей, жмущихся к каменным стенам домов, будто желающих слиться с ними.

По ту сторону оконного стекла время шло, там случались совещания и обеденные перерывы, свидания и бизнес-ланчи. Мое время в течение всего дня не сдвинулось ни на секунду. Мое время — это засохший кофейный след, размазанная по щеке тушь и погасший экран телефона. Вздох, превративший сияющий полдень в вечернюю усталость. Миг, за который кофе успел остыть, а воспоминания, копившиеся годами, преобразились в отчетливые картины. Город, в котором наводнение за ночь подмыло дома и люди шли по бурлящим улицам, неся на головах узелки; чистые брюки, за дорого купленные инструменты, свидетельство об окончании курсов английского, адрес далеких богатых родственников. Они крепко сжимали узелки и шли вперед, не зная, где и как продолжится теперь их жизнь.

Я убиваю время. Время убивает меня.

Я вижу, как главный редактор, барабаня пальцами по столу, напрасно дожидается интервью. Как краснеют его уши, когда он звонит мне, а телефон не отвечает, и в конце концов он просит кого-нибудь другого, кого-нибудь более надежного и хорошего, срочно написать материал за меня.

Я вижу, как он стирает мое имя из списка сотрудников и рассылает мейлы коллегам: "Анна Лоухиниити — никудышный и ненадежный журналист. Никогда не имейте с ней дела".

Вижу, как Ян приходит из университета в пустую квартиру, на миг застывает перед окном, а потом начинает собирать вещи.

Как друзья через несколько месяцев, а то и недель, пожимают плечами и удаляют мои имя и номер из памяти телефона.

Как сведения о моем банковском счете удаляют из компьютера, а пароль и налоговый номер продают иммигранту-нелегалу.

Как Иона однажды, спустя годы, садится на больничной кровати и говорит:

— Сестренка. Почему сестренка больше не заботится обо мне?

Как проходящая мимо медсестра хмурит брови, поворачивается и спешит в кабинет врача. Как врач поднимает глаза:

— Опять?

Сестра кивает:

— Опять.

Двое санитаров подхватывают Иону с обеих сторон, медсестра приспускает ему пижамные штаны и колет сильнейшее успокоительное. После укола Иона кричит, но медсестра обхватывает его голову и гладит, как гладила когда-то я.

— Анна! — кричит Иона, и медсестра прижимает его голову к подушке, вытирает ему глаза и уговаривает поспать.

— У тебя припадок, — шепчет медсестра и пальцем поглаживает Иону по голове. — Ты хорошенько поспишь и утром даже не вспомнишь, что у тебя когда-то была сестра.

— Пойдем? — спросил Ян.

— Решай ты.

— Ты ведь хочешь пойти.

— А ты нет?

Было воскресенье, конец зимы, мы встали поздно. На кухонном полу квадратами лежал солнечный свет, по радио сонно мурлыкал джаз. Мы сидели за столом и читали газеты. Газеты писали о грядущей войне и сегодняшнем митинге протеста. Люди всего мира готовились выйти на улицу с мегафонами и плакатами, чтобы выступить против войны.

Это обещало быть покруче, чем все демонстрации последних лет. Круче, чем марши мира, в которых не участвует уже никто, кроме горстки старых хиппи и юных активистов. Намного круче, чем хельсинкские пикеты защитников животных и антиглобалистов — всегда одни и те же толпы людей в камуфляжных куртках, лыжных шапочках и тяжелых ботинках. Вряд ли сегодняшнее мероприятие окажется таким же бурным и жарким, как интернациональные митинги в городах, где собираются для принятия решений ведущие политики всего мира, где на полицейских защитные каски, а у многих митингующих камни в руках. И все-таки это, скорее всего, будет похоже на митинги тех далеких времен, когда Ян болтался в рюкзаке у матери за спиной.

— Не знаю, — сказал Ян. — Страшновато.

Я закрыла газету. У Яна на подбородке застряла крошка от круассана, на щеке засохла капля варенья. Опустив глаза, он отрывал ногтем левой руки заусеницу на пальце правой. Оторвал, пошла кровь. Я вместе со стулом придвинулась поближе и вцепилась в него обеими руками.

— Что ты?

— Только не злись.

— Не злиться?

Ян стер со щеки варенье, посмотрел мимо меня не то на стену, не то на дверной косяк и начал рассказывать о вечеринке на кафедре литературоведения, с которой он вернулся в грязной куртке и с разбитой губой.

Это был любимый ученик Яна. Яну казалось, что он чувствует за мальчишеской самоуверенностью тень той отчужденности, которая была так знакома ему самому. Ему виделось в нем что-то, требующее особой заботы, нечто такое, что надо было взращивать с особой осторожностью.

На празднике мальчишка сел с Яном за один стол и заказал пиво и белое вино. Он был уже пьян и вел себя тише обычного. Ян начал говорить что-то малозначащее об учебе и победителе газетного конкурса на лучший рассказ. Паренек молчал. Ян выпил еще и заговорил еще громче и быстрее, просто не мог остановиться, хотя сказать ему в общем-то было нечего.

Наконец парень поднялся.

— Тебе не стыдно? — спросил он.

— Что-что? — не понял Ян.

— Тебе не стыдно? Сидишь здесь и плетешь чушь, а в это время твоя страна стирает полмира с лица земли.

Мальчишка говорил громко, и люди за соседним столом обернулись на них. Ян застыл с открытым ртом. Хотя и ожидал чего-то подобного.

Ожидал этого, когда, простуженный, закутавшись в плед и сжимая в руках чашку, сидел дома и глядел на снова и снова повторяющиеся кадры горящих башен. Мысль появилась раньше, чем ужас, тревога и боль. Она возникла сразу после того, как он включил телевизор и осознал, что произошло. Она возникла в мозгу в виде цепочки букв, похожей на бегущую строку в телевизоре, еще до того, как он успел толком переварить увиденное. "Все начнут нас ненавидеть. Америка в войне. Нас начнут ненавидеть".

"Все начнут нас ненавидеть". Фраза крутилась в голове, когда Ян бежал по улице в расстегнутой куртке, задыхаясь, сам не зная куда. Когда он остановился на мосту, глядя на темную воду и огни, отражавшиеся в ее поверхности, как звезды. Когда он подошел к киоску купить кофе и увидел, как пожилая негритянка, покупая газету, вдруг расплакалась, а продавец достал из-под прилавка бутылку коньяка, похлопал женщину по плечу и налил ей рюмку.

"Ненавидеть нас". Ян не переставал думать об этом, читая в газетах бесконечные описания того, как был совершен теракт. Он вскоре узнал все о тех, кто его совершил, узнал, как они проникли в страну и где учились. К его смятению, ужасу и ненависти примешивалось уважение к ним, когда он вспоминал, как долго они жили в стране, никому не раскрывая своих планов. Когда представлял себе, как они болтали с одногруппниками, преподавателями и соседями, как отмечали с американцами праздники и занимались любовью, не забывая ни на мгновение, что все это — лишь подготовка к одному-единственному часу, призванному потрясти весь мир.

Вскоре Ян знал о теракте столько, что эти знания оформились в некий фильм, бесконечно крутившийся у него в голове. (Кровавые буквы в названии? Нет, слишком патетично. Лица персонажей крупным планом, в нужный момент застывающие в стоп-кадре? Музыка "Рамштайн"[1]? Нет, все это уже было.) Его тошнило от творившегося вокруг. Все говорили, *как*, но никто, — во всяком случае публично, — не спросил: *"почему?"*

Когда Америка ввела войска в Афганистан, Яну стало казаться, что он задыхается под тяжестью одолевавших его вопросов. Он не был против этой войны. Ян считал, что это надо было сделать уже давно. Его возмущало, что кадры массовых убийств перемежаются концертами популярной музыки и разнообразными ток-шоу, что мир спокойно смотрит на отрезанные головы, на женщин, которым отказано в человеческих правах. Что при всем этом никто до сих пор не начал войны с талибами. Его возмущали и лицемерные объяснения, которыми обосновывалась необходимость войны, тревожили ее возможные последствия, хотя все это можно было понять.

А вот Ирака он не понимал. Сама мысль о нем была невыносима. Яну казалось: ответственность за то, что вот-вот произойдет в Ираке,

1. "Рамштайн" ("Rammstein") — немецкая рок-группа.

ляжет и на него. Ответственность за погибших, чьи тени не дадут покоя новым поколениям, незаметно и неотвратимо отравляя их жизнь.

Яну ни с кем не удавалось об этом поговорить. У финнов все разговоры начинались фразой: "Нет, не понимаю я вас, американцев", и Ян с удивлением замечал, что вдруг бросается защищать что-то, чего не понимает и сам. Это было невыносимо. Все спрашивали, почему вы такие идиоты-империалисты-психи-вояки, и никто не спросил, что он сам об этом думает и каково ему.

Ян смотрел на парня — бледное лицо, жидкую бородку, рыжие крашеные волосы. Бокал дорогого вина тот осушил одним глотком. Ян пригубил свое.

Болтовня вокруг затихла. Люди потягивали напитки, в полутьме мерцали огоньки сигарет. Воздух сгустился от ожидания, которое присутствующие маскировали как могли: беспокойно озираясь по сторонам, бросая ничего не значащие реплики, хрустя пальцами. Но несмотря на все их уловки, было ясно: все ждут, что ответит Ян. Вопрос и последовавшая за ним тишина вдруг поставили их по разные стороны баррикады. На одной оказался Ян, призванный теперь ответить за все поступки как своей страны, так и кого-то гораздо более сильного; на другой — остальные, смакующие вино в ожидании.

Яну хотелось рассказать о том, что свалилось на него после теракта, о том, что мешало ходить, дышать. Ему хотелось поговорить об истории, об американском менталитете и вопросах, которые никогда не поднимались. О высотных домах, вычертивших в небе ломаные линии. О кафе, где по воскресеньям подают толстые блины с черникой. О длинных китайских вертелах посреди улицы, о беззубой женщине, продающей в парке стихи. О запахе свежевыстиранного белья на веревках. О густых бородах одетых в черное религиозных евреев, о глуховатых румынах, разъезжающих на длиннозадых лимузинах с протертыми сиденьями. О взгляде, которым сверлила его уборщица-негритянка на лестнице, взгляде, на который он не мог ответить.

Яну хотелось рассказать обо всем этом. И еще о том, как по вечерам, возвращаясь домой по хельсинкским улицам и вдыхая запах мочи на лестнице, жареной картошки и моря, он почти физически чувствовал другие запахи. Запахи другого города — того большого города, который он неизменно носил внутри.

Яну хотелось выкрикнуть то, что скопилось в глубинах его нутра, вывалить на них все, что его мучило, чтобы голос смог наконец литься свободно. Но парень не отрывал от него больших серых глаз и спрашивал с нарастающей агрессией:

— Тебе не стыдно за свою страну — страну подонков?

Мучительная тишина, повисшая над столами, обернулась явным ожиданием, но Ян все еще не мог выдавить ни слова. Он встал, чтобы наполнить свой стакан. Поскольку все присутствующие отводили взгляды, он сунул под мышку картонную коробку с вином и выскользнул на улицу.

Небо было звездным, изо рта шел пар. Ян свернул шарф и присел на ступеньки. Он поднес коробку ко рту, открыл кран, вино полилось в рот. Ян пил длинными глотками. На секунду опустив коробку на землю,

он увидел мальчишку, его самодовольную улыбку и бледное лицо. За ним встало второе, третье.

"Тебе не стыдно? — спрашивали они. — Тебе не стыдно, что у тебя толстая задница и стрижка под горшок и ни одна девчонка тебя никогда не поцелует? Не стыдно, что отец чокнутый, а мать путается с наркоманами?" Ян прижал к глазам кулаки, чтобы отправить лица назад, в школьные коридоры и темные углы двора, на консервные фабрики, в дешевые забегаловки, к дверям ресторанов — туда, где они и были десятилетия назад. Он прижимал к глазам кулаки, стараясь загнать эти лица назад в то время, которого он не хотел помнить. Но лица не исчезали, а голос, повторявший слова, вдруг стал его собственным: "Тебе не стыдно, что ты бросил отца в таком заведении и ничего не хочешь о нем знать? Не стыдно, что не справился с одним-единственным делом, которое тебе было поручено?"

Открыв глаза, Ян увидел перед собой бледное лицо.

— А, вот ты где, — сказал мальчишка. Ян снова поставил коробку с вином на землю. Мальчишка мял в руке варежку. — Извини, я не хотел...

Ян встал. Лица опять были перед глазами. Все лица. Все незакрывающиеся рты. Все голоса. И громче всех — его собственный голос. Голос маленького мальчика, сжимающего кулаки, обвиняющего себя, уже взрослого, в том, что он зря растратил свою жизнь. Закружилась голова.

— Эй, ты меня слышишь? Ты чего?

Он с силой оттолкнул парня. Тот покачнулся.

— Эй, перестань!

Пакостный голосок. Пакостная улыбка. У них у всех были такие голоса. Ян схватил мальчишку за шею. Приблизил свое лицо к его лицу. Он, казалось, заранее подготовил эти слова.

— Стыдно, — сказал он. — Если бы ты только знал, как стыдно. Настолько стыдно, что хочется набросить на шею веревку и повеситься вон на том дверном косяке, чтоб ты видел, а ты... ты ни черта не понимаешь.

Он никогда ни с кем не дрался. Но это была его рука. И эта бледная худая рука размахнулась и ударила парня по лицу.

Его голова качнулась назад. На долгую секунду повисла тишина. Парень потрясенно взглянул на него, потом расхохотался, вырвался и, не застегивая куртки, побежал по скользкой улице.

— Почему ты не рассказал мне этого раньше? — спрашивала я.

У Яна задрожали руки.

— Почему не рассказал сразу?

— Я хотел, — ответил он, перебирая газетные страницы. — Но не смог. И потом... Не мог объяснить. — Уши у него налились краской. — Это было как в детстве. Когда надуешь в постель или стащишь чужой ластик.

Я встала, прижала голову Яна к себе и начала гладить по макушке, вискам, шее, спине. Я чувствовала тепло его дыхания у своего живота. Хотелось обхватить его руками, спрятать, как-то защитить от всего плохого. Я убрала с его лица волосы и стала целовать в лоб, веки, щеки.

— Хороший мой, — я заставила его взглянуть на себя. — Я люблю того ребенка, которым ты был. И тебя нынешнего люблю таким, какой ты есть.

Ян обвел указательным пальцем контур моего лица, точно срисовывая.

— Ну, давай пойдем, — сказал он. — Помитингуем.

22

Какая же ты сволочь. Хочешь сказать, что у тебя трудная жизнь?

Я НИКОГДА не путешествовал один НИКОГДА не выезжал летом на тусовки У меня НИКОГДА не было девушки (в старших классах не считается)

Ты такая же сраная карьеристка как и все остальные. Если ты и сейчас не ответишь знай я больше не хочу тебя видеть Пусть у меня вообще не будет сестры и пусть тебя убьют, изнасилуют и живой изрежут на кусочки мне на это будет наплевать

Чтоб ты сдохла

Иона

23

Мы шли в хвосте толпы митингующих.

Люди несли черные щиты с белыми "пацификами" и красно-желтые ленты с надписью: "Нет бомбардировкам Ирака!" Идущие впереди били в пустые канистры, на крыше автомобиля, возглавлявшего процессию, горели красные огни.

Ян прицепил на грудь "пацифик" из секонд-хэнда, я намотала на шею старую восточную шаль. Перед нами шла толпа мальчишек в армейских куртках и вязаных шапках с большим черным плакатом "Humiliating Generations. The American Way"[1]. Ян внимательно прочитал текст, и я начала говорить быстро и много, чтобы прогнать тень с его лица.

— Сколько народу! — воскликнула я. — Даже не помню, когда в последний раз видела такую толпу.

И продолжала говорить:

— Смотри, какой карапуз. Вот таким ты, наверное, и был на митинге против вьетнамской войны?

— Посмотри на того парня в черной шапке и "гриндерсах". Тебе не кажется, что мы его уже где-то видели?

— Холод собачий, да? Надо будет потом где-нибудь выпить какао.

— Скажи, если тебе надоест, ладно? Нам совсем не обязательно быть здесь до конца.

По пустым, без машин, улицам мы прошли от Вокзальной площади к американскому посольству, хором крича: "Нет бомбардировкам Ирака!" Перед посольством было снежно и скользко, само посольство окру-

1. "Унизить поколения. Так поступает Америка" (*англ.*).

жал забор, так что ближе было не подойти. Мы стояли по щиколотку в снегу и орали изо всех сил. Парень с дредами играл на бонгах, женщины постарше танцевали, обнимая друг друга за талию, и в какой-то момент вся демонстрация вдруг показалась одновременно и восхитительным карнавалом, и важным событием, способным что-то изменить.

Я заметила его слишком поздно, и деваться было уже некуда.

Он был один. Он стоял рядом с нами и дышал на замерзшие пальцы. Указательный палец на правой руке почернел от табака. Мутные глаза, махровый халат. Несмотря на то что перед посольством было людно, вокруг него образовался вакуум.

24

ПРИНЯТО ОДНО СООБЩЕНИЕ ОТ АБОНЕНТА "ЛЮБИМЫЙ"

Дорогая, пожалуйста позвони или напиши, все ли в порядке. Я волнуюсь. Люблю!

ОТВЕТИТЬ

Все в порядке. Просто занята статьей. Обнимаю.

Когда на экране телефона закружился конверт, на глаза навернулись слезы. Я держала обеими руками бокал с вином и представляла, что будет, если сжать его крепче. Сжать так, чтоб стекло рассыпалось на осколки, порезало ладонь, и кровь, смешиваясь с вином, брызнула на скатерть и свитер.

25

Он должен был быть в больнице.

Он должен был спать в белой палате за запертыми дверьми и наглухо закрытыми окнами. Три раза в день принимать лекарства из синих пластиковых коробочек, показываться врачу раз в неделю и передавать свои чувства с помощью рисунков во время групповых психотерапевтических сеансов. Ходить по коридорам в махровом халате и тапочках с меткой больницы. Выходить на балкон, где разрешается курить, и возвращаться к себе, по дороге останавливаясь поиграть в пинг-понг или в шахматы с человеком, который много лет назад увидел по телевизору документальный фильм про потерявшего мать слоненка и с тех пор не покидал больницы.

— Анна, что с тобой? — спросил Ян.

Я видела за его длинной фигурой зыбкий силуэт Ионы, видела за его армейской курткой полы Ионииного халата.

Я слышала их голоса, слышала барабанный бой, шум ветра и крики митингующих. Видела старуху в платке, с собакой, пришедшую поглазеть на демонстрацию, малыша в рюкзачке на груди у матери, мужскую руку на женской талии, забрызганные грязью сапожки, людей вокруг с их воспоминаниями, горестями и мечтами, от которых становился плотнее воздух.

Видела вопрошающие глаза Яна.

— Что ты?

Я кивнула на человека, стоящего в нескольких метрах от нас в развевающемся халате и больничных тапочках, с красными от холода ногами и грудью, на человека, который знал меня лучше, чем кто бы то ни было.

Я должна была защитить его.

Мне хотелось завернуть его в свой шарф и отнести домой, как воробья со сломанным крылом, которого мы в детстве нашли на камнях за домом и чью могилку украсили мишурой, ватой и листьями. Я отпустила руку Яна, обогнула разбрызгивающего грязь ребенка, девушку с дредами, старуху и обняла Иону. Тело его заледенело, взгляд был дикий, в голосе звучало отчаяние:

— Спрячь меня, — сказал он. — Пожалуйста.

Сердце Ионы билось о мою щеку. Я вспомнила день, когда мое сердце стучало так же. В тот день Иона спас меня.

В восьмом или девятом классе я решила устроить день рождения.

Прежде всего надо было набраться смелости. Мои одноклассники ходили в болтающихся спортивных штанах и толстовках с капюшонами, одноклассницы носили узкие "левисы" и красили синей тушью ресницы. Мне хотелось походить на них. Хотелось научиться стоять так же непринужденно изогнувшись, перенеся вес тела на одну ногу. Хотелось научиться столь же легко произносить: "Мать утром говорит, налей, бля, соку в хлопья", или: "Он обещал подумать три дня, будем мы встречаться или нет. Прошло два с половиной, вот возьму и повешусь". Хотелось, чтобы меня упоминали в числе прочих: "Кто там пришел? — Да Анна с этими", "Шатались с Анной по городу все выходные". Хотелось, чтобы хоть кто-то из них заговорил со мной.

Я добыла новые джинсы, того же фасона, что у остальных девчонок. Достала синей туши, розового блеска для губ и научилась воровать сигареты из соседнего магазина.

— У меня в субботу вечеринка, — объявила я, стараясь, чтобы мой голос звучал небрежно.

Я стояла в курилке и угощала девиц ворованными сигаретами. Из-за этих сигарет на меня и стали обращать внимание — изредка здоровались или спрашивали, который час.

— А выпить будет?

— Братец достанет.

Девицы разглядывали меня, приподняв брови, словно спрашивая, не вру ли я, не ошибались ли они на мой счет, словно обнаружив (так я надеялась) вылупившуюся из невзрачной куколки удивительную бабочку.

Я привела в порядок свою комнату. Сняла со стен плакаты "Секс пистолс" и повесила Мадонну, отнесла стихи Эдит Сёдергран[1] на чердак, наставила на полки Ионины дисков "AC/DC"[2]. Вечером, натянув уз-

1. Эдит Сёдергран (1892–1923) — шведскоязычная финская поэтесса, классик финской литературы XX в.
2. "AC/DC" — австралийская рок-группа.

кие "левисы", взбив челку и накрасив губы, я выглядела весьма достойно. Такая девчонка вполне могла бы клянчить деньги в переходе у вокзала или прийти в школу на два часа позже, повязав бандану, чтобы скрыть засосы на шее.

Вечеринка была назначена на семь. Я выпила два стакана коктейля и трижды подкрашивала губы. На столе были чипсы и чаша с коктейлем, а сама я казалась себе главной героиней фильма — скромной девочкой, у которой должна была вот-вот начаться настоящая жизнь. Я представляла лица своих недругов, когда я с самоуверенной улыбкой открою им дверь, поправляя новую прическу. Перед глазами мелькали картинки: руки, проворно зачерпывающие коктейль, крошки чипсов на полу, покачивающиеся бедра, удивленные и восхищенные взгляды, исподтишка бросаемые на меня. Я сама, с победоносной улыбкой проскальзывающая в спальню с самым популярным мальчиком класса.

В половине восьмого в животе стало холодно. Я металась из кухни в прихожую и гостиную и выглядывала во двор. Считала машины.

"Они придут, когда проедет пять красных".

"За следующим автобусом".

"Когда проедут две фуры и один пикап".

"После полицейской машины".

В девять вечера я сидела на подоконнике, уткнувшись лицом в колени, и рыдала так, что перехватывало дыхание.

Когда я уже не могла смотреть на часы, когда тушь ручьями потекла по щекам, когда опустела чаша с коктейлем, а на воротнике блузки засох рвотный след, в дверь позвонили.

Они были навеселе. Они ввалились в дом в уличной одежде, сразу наследив на полу.

— Гляньте, Анна накрасилась!

— Гляньте на ее рожу!

— Она тут провыла одна весь вечер!

— А где же твои друзья?

Я ничего не успела убрать. Они увидели все как есть. Опавшую челку, текущую по щекам тушь, размазанную помаду и джинсы с иголочки. Они видели меня насквозь, и мне негде было спрятаться.

— Не надо...

— Ты же этого хотела. — Один из мальчишек прижал меня к стене и сунул руку под блузку.

Остальные смотрели на нас, устроившись на полу среди осколков чаши из-под коктейля и блюда из-под чипсов.

— Романтики захотелось, да? Хотелось, чтобы на тебя обратили внимание?

— Пожалуйста...

— Тебе это пойдет на пользу.

Он дышал мне в лицо, рука была очень холодная. Это происходит не со мной, подумала я. Я не здесь. Эта рука касается не меня. Это не мой крик.

— Это что тут за хрень?

Рука под свитером застыла. Я открыла глаза и увидела Иону. Он стоял позади моего обидчика в куртке и уличных ботинках, и у него хватило бы злости и силы поднять того одной рукой.

С Ионой был Мика. На голове капюшон, пронзительный взгляд сквозь падающие на глаза черные волосы. Никто не произнес ни слова. Я слышала только учащенное дыхание и стук пивной бутылки, поставленной кем-то на пол. Иона и Мика дрались лучше всех в округе. Их знали все. Когда они встали посреди комнаты, сжав губы и прищурив глаза, когда Иона поднял руку и ухватил за шкирку стоящего передо мной мальчишку, мои акции поднялись на небывалую высоту.

Иона заломил руки парня за спину и поднял ему голову, заставляя смотреть себе в глаза.

— На колени, — приказал он. — Стань на колени и проси у Анны прощения.

— Да ладно, еще чего!

— Это пойдет тебе на пользу.

Иона пригнул мальчишку так сильно, что его лицо уткнулось в пол. Мика подошел, сдул со лба волосы и обнял меня за плечи. Я снова стала героиней фильма. Девочкой, у которой все закончилось хорошо.

Теперь сердце Ионы билось у моего горла, и моим долгом было увести его прочь.

26

Президент Джордж У. Буш,

пишу Вам, чтобы предупредить о последствиях планируемого Вами нападения на Ирак. Вы не восприняли всерьез то, что я писал во время афганской войны, поэтому Вы – убийца. Вы – катастрофа для современного мира.

Это не игрушки. Там погибнут ЛЮДИ. Не мне, наверное, говорить Вам об этом, ведь я уже долго не вижу вокруг себя ничего кроме этих стен. Но может, мой голос – голос тишины – станет тем голосом, который Вы услышите?

Я ЧУВСТВУЮ, как их убивают.

Жизнь не есть Великая доктрина, господин Буш. В этих стенах мы понимаем это без слов. Я буду бороться против Вашей Доктрины.

Я полагал, что самообман – это экзистенциальный вопрос. Но Ваш самообман иного рода. Вы не признаете ценность чужих жизней, но, убивая невинных, Вы лишаете ценности и свою собственную.

Вы калечите память поколений и поколений еще не родившихся людей. Вам Не Будет Прощения.

Господь отплатит Вам. Кто-то должен Вам отплатить.

Искренне Ваш,

Иона Лоухиниити.
Финляндия, Европа

27

В окно кафе стучится женщина с всклокоченными волосами. В руках табличка, на табличке выведено крупно: "Я есмь путь, истина и жизнь". Женщина смотрит на меня бесцветными глазами и улыбается так, буд-

то что-то знает. Я отвожу взгляд к газетной стойке с "Ньюсуиком" и "Финским иллюстрированным журналом" – на обложках того и другого мужчины в черных костюмах. И за ними я вижу моего Иону в больничном халате, в тот вечер накануне демонстрации.

Иона идет на балкон. Глаза сонные, в пальцах сигарета. Он огибает сестринскую и сквозь стеклянную стену видит на телеэкране светловолосую плачущую женщину. Он останавливается. Взгляд скользит от утонченно-прекрасного лица женщины к волосам сиделки, собранным в пучок, к осыпанному перхотью белому халату, грязным чашкам и склянкам с лекарствами, к раскрытой на столе газете.

"Остановить войну! Нет бомбардировкам Ирака! Демонстрация начнется 15 февраля в 14.00 на Вокзальной площади". Холодная рука сжимает его внутренности. Этого он ждал. Он лежал ночами без сна, смотрел на полоску звездного неба, свисающий со стены провод, открытый во сне рот соседа и ждал знака. "Дай мне знак, – повторял он Богу, которого теперь, после появления черноглазого соседа, он стал называть Аллахом. – Аллах, дай мне знак, который подтвердит Твою волю".

У него перехватило дыхание.

Он не знал еще, что́ надо сделать, но к действию был готов. Он был готов к действию, наверное, с самого детства, только тогда он не отдавал себе в этом отчета. Он был готов взять на себя Миссию, нести ее и умереть, если понадобится. Он был готов, как и те, кто надевал пояс и взрывал себя в переполненных автобусах и на площадях. Он был готов отдать жизнь за что-то более важное, чем его собственная жизнь. Часто ему казалось, что он должен был родиться палестинцем или чеченцем, но произошла ошибка, и все его беды начались тогда, когда он родился здесь, в благополучной северной стране, где невозможно стать героем иначе как взорвав себя.

Иона прочитал объявление еще раз и отвернулся. Медленно, чтобы никто ничего не заметил, он пошел на балкон. Он мог бы подняться в воздух, взлететь, как воздушный шар, над больничной крышей и городом. Иона зажег сигарету не с того конца, выплюнул, опустил голову и прижался, скрестив руки, к балконным перилам.

– Спасибо, Господи, – прошептал он, прислоняясь лбом к ледяной металлической сетке.

28

– Спрячь меня! Я сбежал из больницы и от полиции. Они меня уже ищут. Сестренка, пожалуйста, спрячь меня, пожалуйста!

Иона похудел. Из-под больничного халата выступали лопатки. Мутные зрачки, красные веки, небритый подбородок, капли йогурта на усах. Люди вокруг перестали кричать и оглядывались на нас. Одна девица шепнула что-то другой, и обе они фыркнули, прижимая ко рту варежки. Будь у меня пистолет, не задумываясь пристрелила бы обеих.

– Пойдем.

Я обняла Иону за плечи и стала выводить из толпы. Он опирался на мое плечо, как старик. Ян молча шел за нами. Когда мы миновали демонстрантов и вышли к парку, Ян снял куртку и набросил ее на Иону.

— Спасибо, — сказал Иона, глядя на Яна, как на ангела. — Большое спасибо.

Иона и Ян никогда раньше не виделись. Из-за меня. Мне было так хорошо с Яном, что я опасалась причинить этим боль Ионе. Впрочем, я боялась и за себя — что наш счастливый мир разрушится, если в нем появится Иона.

Ян посмотрел на меня, будто понял, о чем я думаю. Пока я вела Иону к обочине дороги и вызывала такси, Ян стоял чуть поодаль. На нем был только тонкий свитер, он сунул руки в рукава, чтобы согреться. Мой любящий, понимающий, одинокий и потерянный Ян. Хотелось посадить его в бутылку и спрятать в нагрудный карман, чтобы он всегда слышал, как бьется мое сердце, хотелось защитить от всего света. Он стоял в той же позе, когда подъехало такси, когда я усадила Иону на заднее сиденье и села рядом, когда я постучала по стеклу и проговорила одними губами:

— Call you later. I love you[1].

В такси Иона привалился ко мне.

— Ты ведь не отдашь меня им? — спросил он.

Я сказала, что не отдам. Волосы у него были сальные и в перхоти. Он прижимал лицо к моему плечу и бормотал что-то невнятное о том, как он выпил моющую жидкость с тележки уборщицы, как его отвезли на промывание желудка, как утром он сбежал, не дожидаясь, пока придет врач.

В окна такси летел мокрый снег. Я гладила вспотевшую спину Ионы и видела маленького мальчика в черной машине в тот день, когда папа ехал так быстро... Как бы мне хотелось попросить водителя уехать за пределы города, на восток, к далеким российским берегам, в Сибирь, в Китай, чтобы Иона заснул у меня на руках, веря в то, что такси будет безостановочно нести нас сквозь заснеженные березняки к пустыням, где скелеты погибших животных торчат среди бесконечных песков, будто памятники. Чтобы у меня хватило денег провести остаток жизни с Ионой в жестяной скорлупе автомобиля, глядя, как за окнами проносится весь остальной мир.

— Что ты собирался сделать?

Иона лежал в кровати в полосатой фланелевой пижаме Яна, полуприкрыв глаза.

— Сжечь себя, — прошептал он. — Как буддистские монахи. Вообще-то сначала я хотел взорвать себя у американцев в посольстве. Но это дело не такое быстрое.

В его голосе не было и тени иронии. Он вообще никогда не иронизировал. Это, пожалуй, была его самая характерная черта. У него всегда все было всерьез.

1. Позвоню. Я люблю тебя (*англ.*).

Я представила себе, как он это сделает. Как вспыхнет высоким пламенем посреди толпы, как вокруг запахнет горелой кожей, как выкрики сменятся испуганным ропотом. Я вспомнила чеха, который сжег себя на площади в Праге в тот год, когда встретились наши родители. И другого человека, сжегшего себя на той же самой площади совсем недавно, разослав всему миру через интернет письмо протеста против войны в Ираке и всеобщего равнодушия.

— Зачем? — спросила я Иону, стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы не ранить его.

— Это был бы выход, — сказал он. — Ответить на убийство смертью. Тогда бы все проснулись. Я долго об этом думал.

Я развела сок в старой пластмассовой кружке, с которой мы в детстве ходили в походы. Иона приподнялся в кровати. Он пил, держа кружку обеими руками, как ребенок. Я вспоминала толпу возле посольства — детей, родителей, стариков, молодежь с дредами. Что они подумали бы, осуществи Иона задуманное? Как долго еще это будоражило бы их? Нас. Как терзало бы нас то, что человек, слышащий голоса и видящий что-то, чего никто больше не видит, нашел такой кошмарный способ принять участие в нашем митинге. Кому нужен протест пациента дурдома? Почему-то именно это задевало меня сильнее всего. То, о чем думал мой Иона, никогда бы не сбылось. Последний в его жизни поступок не остановил бы никого.

Я отнесла кружку на кухню и накинула на Иону еще одно одеяло. Он лежал под ним, беззащитный и трогательный. Удивительно, как ему удалось осуществить все это. Как он додумался до этой моющей жидкости? Как смог утром улизнуть из больницы? Были ли у него с собой спички?

— Нет, — ответил он. — Я забыл их во всей этой кутерьме.

Я улыбнулась.

— Может, это хорошо, что ты сейчас у меня?

На секунду мне показалось, что он тоже вот-вот улыбнется. Потом он натянул на подбородок одеяло и вздохнул.

— Спасибо, — шепнул он. — Хорошо, что ты на моей стороне.

После того как он сомкнул глаза и вздрогнул, засыпая, я еще долго сидела и гладила его. Я слушала, как часы в соседней квартире каждые пятнадцать минут отбивают время на манер Биг-Бена, смотрела на бледные щеки и оставленные бритвой царапины и видела летний день и маленького мальчика на заднем сиденье автомобиля, делающего в сторону проезжающих мимо знаки, которые понимают в любой стране.

Когда лицо Ионы разгладилось, а дыхание стало ровным, я пошла в коридор и вынула из сумки телефон.

— Иона Лоухиниити, сбежавший утром из больницы, — сказала я, когда в отделе полиции женский голос ответил мне официально-деловым тоном, — проходящий принудительное лечение и объявленный в розыск, сейчас находится у меня вот по этому адресу.

Я спустилась встретить полицейскую машину. Было холодно. На мне были только джинсы и футболка, на ногах стоптанные тапочки Яна. Я сбросила их и встала на снег. Холод покусывал кожу, и я вспомнила Иону, тот день, когда много лет назад его впервые отпустили из больницы.

— Никогда больше не отдавайте меня туда, никогда!

Иона лежал в кровати в позе эмбриона, мы все сидели вокруг него — папа, мама, я. Иона кусал колени и запястья и плакал, плакал отчаянно, разрывался от рыданий.

— Там в палате старик, он ночью подкрадывается и сует руку мне в штаны. Я сказал санитаркам, они не поверили. Тогда я сказал, что они суки и я их убью. Я не собирался драться, но они мне не верили. А потом... Потом меня привязали ремнями к кровати. Я так был всю ночь. Всю ночь ремнями к кровати.

Мама переглянулась с отцом. Грудь у отца вздымалась, мамины глаза увлажнились. Мы гладили Иону по голове, рукам, спине. Мой взгляд вобрал золотистые волоски на тыльной стороне отцовской ладони, мамино бриллиантовое колечко, черный облупившийся лак на моих ногтях. "Это моя семья", — думала я, ощущая, как холодная волна накрывает меня. Так мы и сидели, вся моя семья, и между нами завязывались узы, о которых больше никто в целом мире не знал.

Полицейская машина въехала во двор с погашенными огнями.

— Он спит, — торопливо проговорила я в телефон, глотая слезы. — Если он проснется раньше времени, он может что-нибудь с собой сделать. — Я отдала ключи девочке в полицейской форме, с конским хвостиком и ямочками на щеках, моей ровеснице, а может, и моложе. — Второй этаж, первая дверь налево. Спальня сразу за прихожей. И вот еще что: если можно, я не пойду с вами.

Когда полиция зашла в дом, я забежала за угол и села на землю, прямо в снег. Прижала лицо к коленям, заткнула уши, чтобы не слышать Ионинного крика. "Иона, хороший мой, прости, — повторяла я про себя. Кровь стучала в висках. — Господигосподигосподи. Пусть Иона поймет. Пусть никто его не обидит. Пусть хоть что-нибудь будет хорошо. Пусть он меня простит. Господи, Иона, хороший мой, прости меня".

Но, услышав Ионин крик и приглушенные голоса полицейских, услышав, как хлопнула дверь машины, я уже знала, что никогда в жизни не буду прощена.

29

Официантка приносит кампари и вытирает след от кофейной чашки. Она улыбается мне, как улыбалась бы любой обычной посетительнице в обычный день. Я тоже улыбаюсь, заказываю салат с моцареллой и сухое белое вино. Я — женщина, которая ест на ужин салат и углубляется в хорошую книгу.

Я иду в туалет, споласкиваю холодной водой глаза, причесываюсь, крашу ресницы. От яркой лампы лицо кажется чужим. Я вспоминаю, каким оно было в тусклом свете в зеркале лифта, каким — у окна кафе. Другие видят меня так же, или в моем лице есть что-то такое, что замечаю только я? Может, в лице каждого человека есть черты, которые видит лишь он сам?

Когда я возвращаюсь, салат уже принесли. Он пахнет помидорами и базиликом, поверх белых сырных кусочков капли винного уксуса и рас-

тительного масла. Смакуя прохладное сухое вино, я воображаю, что я — это вовсе не я.

Я — уверенная в себе женщина, ждущая в кафе незнакомого мужчину. Он в черном костюме, и на пальце у него шрам. Вот он замечает женщину из окна машины, открыл окно и предлагает встретиться. Женщина смотрит на его палец и видит большую неприбранную квартиру, одинокого мужчину, нарезающего суши, острый нож, которым он нечаянно рассекает кожу. Женщина ободряюще улыбается и кивает, махнув рукой в сторону кафе.

Через секунду мужчина войдет в кафе. Женщина успеет отпить полбокала. Он сядет рядом, их ноги соприкоснутся. Женщина опустит на тарелку вилку, возьмет мужчину за руку и поведет на улицу, под дождь, а потом в отель, с верхних этажей которого виден весь город.

Они разденут друг друга перед открытым окном, изучат губами и пальцами выпуклости, изгибы и шрамы. За закрытой дверью время будет тянуться медленно, женщина и мужчина познают друг друга, словно они первые люди в этом мире, будто никогда не существовало ни слов, ни правил, будто они встретились на пустынной планете, без прошлого, без будущего, без груза ответственности. Будто нет ничего, кроме вечернего света и тел, стремящихся слиться.

30

— Любимая! Что случилось? Маленькая моя...

Мы сидели на полу в ванной. У меня на запястьях кровоточили ссадины. Ян притянул меня к себе. От него пахло свежим воздухом, пивом и табаком, я уткнулась лицом в колючий свитер, впилась в него зубами. Ян прижал меня к себе обеими руками и держал так долго, что дыхание успокоилось.

— Что случилось?

Вопрос сорвался с наших губ одновременно. Я покачала головой и снова уткнулась Яну в грудь.

— Сначала ты.

Ян промыл мои ссадины, сполоснул мне лицо и уложил в постель. Утренний сумрак за окном постепенно превращался в дневной свет, я прижалась к Яну, и он принялся рассказывать о том, что происходило с ним после демонстрации.

— Когда вы с Ионой уехали...

— У Ионы осталась твоя куртка.

— Да.

— Ты замерз.

— Да ничего. Когда вы уехали, а я остался там... мне показалось... что я совсем один.

После того как такси исчезло из виду, Ян долго стоял, сунув руки под мышки, слушая доносящийся через парк шум демонстрации. Ему хотелось с кем-то поговорить. Хотелось позвонить кому-то, кто понял бы все по его голосу и сказал: "Родной, хороший, приезжай сейчас же, приезжай на такси, я заплачу́". Хотелось оказаться у друга, развалиться на

диване, а тот принес бы вина, печенья или холодных макарон. У друга, которому можно было бы рассказать обо всем: и об этом отъезжающем такси, и о чужом городе, об одиночестве и войне, о демонстрации и бесконечном чувстве вины. И об этой всегдашней сжимающей грудь пустоте, давящей изнутри так, что трудно дышать.

Такого друга не было, и Ян решил поискать *место*. Он решил ходить по Хельсинки до тех пор, пока не найдет и в этом городе свою крышу. Место, где удастся забыть себя.

Ян прошел мимо демонстрантов, сунув руки в карманы, в промокших ботинках. Прямо на него выскочила хохочущая девочка в шапке с помпоном, ее приятель пытался сунуть ей за воротник горсть мокрого снега. Мальчишка, едва доставший Яну до пояса, попросил закурить, пока его приятель таращился на проходившую мимо женщину. Он высунул ей вслед язык, а женщина повернулась и показала средний палец.

От всего этого Яну стало еще хуже. Он закрыл глаза и увидел такую же демонстрацию в своем городе, уходящие в небо небоскребы и змеящуюся между ними толпу. Он увидел и услышал свой город, этот непрестанно работающий механизм с его шоссе в огнях автомобильных фар, с его ныряющими под землю эскалаторами, хлопающими дверями ресторанов, офисов, табачных лавочек и жилых домов. Увидел широкие автострады и океаны, объединяющие города с другими городами и странами. Железные дороги, порты и аэродромы, что связывали города, каждая улица которых нанесена на карту. (Яна неизменно восхищала та легкость, с какой среди шумов и запахов незнакомого города он обнаруживал отмеченное на карте место. Карта представлялась ему своего рода даром свыше, а не просто листом бумаги с указанием, как добраться из одного места в другое). Он представил себе и города, где улицы извиваются грязными лентами, а путешественнику приходится ориентироваться по солнцу, платить неимоверные суммы усталому рикше или спрашивать путь у придорожных торговцев.

Открыв глаза, Ян увидел на земле лицо президента своей страны. У президента была огромная голова с черными рожками на висках. Рожки были охвачены пламенем. Языки пламени с синими серединками с треском поднимались к улыбающемуся рту и увенчивающей рожки ковбойской шляпе.

"Смерть техасскому убийце! Долой американский империализм!" – кричал тощий мальчишка в серой шапке и камуфляжной куртке, вскидывая кулаки в такт собственным словам, девочка рядом с ним держала зажженную зажигалку – как на концерте во время исполнения любимого хита.

Трудно себе представить, мелькнуло у Яна в голове, что он или она будет когда-нибудь вот так стоять в незнакомом заснеженном городе, задыхаясь от ощущения собственной ненужности, от сознания, что в целом городе не с кем поговорить. И оттого, что он не смог себе этого представить, Ян громко сказал:

– Чтоб ты сдохла, срань, дерьмовая сука.

Он показал средний палец девочке, мальчишке, горящему плакату и, подняв плечи, бросился из парка прочь, мечтая о том, чтобы высшие силы смилостивились над ним и позволили ему исчезнуть с лица земли.

Моя голова лежала на коленях у Яна. Он с силой проводил пальцем вдоль границы волос ото лба к вискам и затылку. Если бы я сумела сосредоточиться на его движениях, то, наверное, смогла бы отрешиться от собственных мыслей и чувствовала только его руки.

— Ты меня слушаешь?

— Конечно.

Перед глазами картинка, будто вспышка: сутулый человек на мокрой дорожке, позади дым от горящего плаката. И одновременно другая: ребенок в квартире наверху выбирается из кроватки и несется на трехколесном пластмассовом велосипеде из прихожей в родительскую спальню, грохот колес заполняет комнату, мать встает, берет его на руки, с трудом отрывая от велосипеда, детский крик — и крик Ионы, когда он открывает глаза и видит рядом девушку в полицейской форме. Нет.

— Еще, любимый. Царапни сильнее. Сделай мне больно.

Висок, шея, затылок. Кожа головы заныла — Ян намотал на палец прядку волос и потянул.

— Сильнее.

Не Иона. Нет. Только Ян, с поднятыми плечами он бредет в сторону берега, оглядывается и бежит в магазин за выпивкой. Литровые бутылки. Два полиэтиленовых пакета с бутылками. Подростки у магазина, шепчущиеся при виде его:

— Смотри, вот этот точно алконавт, давайте попросим, может, он и нам купит?

С пакетами в руках Ян побежал на берег. Он уселся на холодный камень, впереди бурлило серое море, на острове напротив мрачно высился бастион, сливались в дымку огни паромов. Он открыл первую бутылку. Он пил теплое пиво большими глотками, пиво стекало по подбородку на шею, под свитер, влага застывала на холодном ветру.

Он отпил еще, рыгая громко и длинно, как в детстве, когда соревновались, кто сможет прорыгнуть свое имя. Ян всегда выигрывал. У него получалось не только "Ян Браун", а еще "Рональд Рейган", "Джонни Роттен" и "Мэрилин Монро". Мальчишки, накануне совавшие его головой в унитаз и запиравшие без штанов в девчачьем туалете, смотрели с уважением и просили прорыгать еще "сосалка-мочалка", "едрена мать" и "негрила траханый".

Ян выпил вторую бутылку, третью. Когда он встал на ноги, пейзаж завалился набок, точно кто-то перевернул камеру. Ян оперся на спинку стоящей позади скамейки, набрал в рот воздуха и глотнул. В пищеводе образовался шар. Громко рыгнув, Ян послал воздух наружу и одновременно произнес губами слова: "Ян Браун". Гуляющие с коляской супруги обернулись и посмотрели на него, подняв брови. Ян снова глотнул воздуха, развел руки в стороны и рыгнул:

— Долбаные финны.

Смех рвался с низа живота наружу, Ян опустился на колени, открыл четвертую бутылку, глотнул, остывшее пиво попало не в то горло, он закашлялся, икнул и начал хохотать до слез, пока не заныло в животе. Когда бутылка опустела, он снова встал и стал рыгать:

— Имел я Штаты.

— Имел я войны.

— Имел я финнов.

— Имел Саддама.

— И Яна Брауна имел во все дырки.

От последнего "имел" заболело в груди, во рту появился рвотный привкус. Ян глотком загнал его обратно, сел на скамейку и уткнулся головой в колени. Он обхватил ноги руками, но земля продолжала кружиться. Она кружилась как в детстве на карусели, тогда в животе мутило и хотелось слезть, но карусель не останавливалась, слоны, лошади и курицы продолжали вертеться, на крыше сверкали огни, музыка не смолкала. И как тогда, к сердцу подкрался страх. Что если это никогда не кончится? Что если он никогда не окажется на твердой земле, не сможет идти в обычном ритме, без спазмов в животе, без путаницы в мыслях? Если все это будет длиться и длиться, мать купит сахарной ваты у белого клоуна и махнет, улыбаясь, из-за розового облака, но никто никогда не придет за ним?

Ян нашарил в кармане телефон и набрал номер, сохраненный под цифрой "два". "Здравствуйте, это Анна. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону, оставьте, пожалуйста, сообщение".

Ян набирал номер снова и снова, повторяя:

— Ничего, Анна, привет, ничего.

Или:

— Я вовсе даже не пьяный, смотри, просто пришел подумать.

А потом:

— Забери меня отсюда, ну пожалуйста!

И, наконец:

— Ответь. Прошу тебя. Ответь.

Прослушав один и тот же ответ в девятый раз, Ян вытер рукавом лицо, выпил последнюю бутылку и нажал цифру "три". Он зажмурился, после долгой тишины услышал приглушенные гудки и подумал о протянутых по дну моря кабелях, о проводах, о сообщении, отправленном одним его движением, о том, как оно вспышкой света пересекает океан и достигает родины, которая, показалось ему, существует уже только в его воображении. Когда в телефоне послышалось сонное "алло", Ян секунду не мог произнести ни слова. И только когда голос пригрозил повесить трубку, Ян прошептал:

— Мама.

На трезвую голову Ян никогда бы ей не позвонил. Он относился к матери отстраненно-вежливо и, хотя не чувствовал себя особенно уютно в ее присутствии и никогда не скучал о ней на расстоянии, искренне надеялся, что его мать счастлива. Если бы Ян не погрузился целиком в свой вымышленный мир, где делал счастливым отца, он, вероятно, всеми силами души желал бы счастья матери. Ян с детства не рассчитывал на какую бы то ни было помощь с ее стороны и принимал это как данность. Он считал своим долгом заботиться о ней или, по крайней мере, о том, чтобы не доставлять ей лишних забот. Но он никогда ничего от нее не ждал.

Поэтому теперь ему было сложно понять, на что он надеялся, сидя там, на берегу, и слушая далекий голос в телефонной трубке.

— Может, ты надеялся на Великую Встречу, — предположила я с закрытыми глазами. Ян провел пальцем по моим бровям.

— Может быть, — сказал он. — Наверное.

Больше он ничего не сказал, но, представив его одного на берегу, прижимающим к уху телефонную трубку, я, кажется, поняла, на что он надеялся. Я представила его маленьким мальчиком со стрижкой под горшок и растерянным лицом — наверное, он надеялся, что мать услышит его голос. Наверное, Ян надеялся, что мать, проснувшись на другом континенте в дорогой ночной рубашке и с сеткой на волосах, вспомнит мальчика, который приходил домой с мокрой головой и, глотая слезы, говорил:

— Все хорошо.

Наверное, надеялся, что мать вспомнит этого мальчика и поймет, каких усилий ему стоили эти слова. И шепнет, что знает о том, каково ему было. Что она помнит и этого мальчика, и другого, постарше, уже с пушком на верхней губе. Что она знает и помнит все и что он не один, что он может когда угодно приехать домой и мать встретит и примет его таким, какой он есть.

Но этого не случилось. Голос у матери был сонный и раздраженный, она никак не могла взять в толк, почему ее взрослый сын звонит среди ночи настолько пьяным, что не может закончить фразы. Ян слышал, как проснулся Майкл, как мать прижала ладонь к телефонной трубке. Там шепотом велся спор, закончившийся словами:

— Ты что, собираешься сказать ему?

— Сейчас?

— А когда еще?

От этих слов голова прояснилась. Ян сжал вспотевшей ладонью трубку и прошептал, а может, прокричал:

— Сказать что? Мама. Мама!

Послышался шорох — мать через кровать передавала трубку Майклу. Ян услышал сонное покашливание, а за ним дружелюбно-равнодушный мужской голос, произнесший слова, которых он ждал и боялся с тех пор, как стоял в аэропорту на таможенном досмотре с ноутбуком и чемоданом, превышающим допустимый вес.

— Ян, твой отец умер две недели назад. Прими мои соболезнования. Самые искренние.

31

— Мама очень беспокоится.

Он снял фуражку и сел напротив меня. Красные уши, холодные руки, брошенное на спинку стула пальто пахнет улицей.

— Как ты догадался сюда прийти?

— Позвонил Яну. Он сказал, что ты здесь обычно сидишь. Он тоже волнуется.

Он заказал бокал хереса и закурил трубку. Весь в черном, с пасторским воротничком, он казался пришельцем с другой планеты. Окутанный клубами дыма благодушный священник, пастырь грешной паствы и сам тоже грешник. Грех — как по-идиотски звучит. В воскресной шко-

ле говорили, что грех отдаляет нас от Бога. Я подняла руку и спросила, как это. Неужели Бог — такой эгоист, что создал человека по своему образу, а теперь, не оставив никакого выбора, карает тех, кто его не любит? Неужели Бог бесчеловечнее и самовлюбленнее любого диктатора?

— Твой отец тоже так считает? — спросил священник.

— Черт его знает, — ответила я и вышла, прикусив губу.

Я дошла до берега и стала бросать мелкие камешки в шелестящий камыш. Я слушала шум ветра и думала о писательнице, бросившейся в воду с карманами, полными камней. Набраться бы мне ее смелости. Хотя бы однажды.

Теперь отец сидел напротив меня, и надо было сосредоточиться и поговорить с ним. Под столом я сжимала и разжимала кулаки. Только не сорваться. Только не здесь. Не совершить ничего такого, что расторгло бы наш договор о том, кто мы есть, как воспитаны и в каких состоим отношениях. Когда мы в последний раз были вдвоем? Когда я видела отца дома или в церкви, а не в больнице? Что я знаю о его жизни? Как можно было жить рядом с человеком с самого детства и вырасти настолько чужим ему, что общими останутся лишь мучительные воспоминания?

Отец вертел мою тарелку, вид у него был потерянный, в кафе он выглядел нелепо, как старые учителя вне школьных стен или бывшие любовники — где бы то ни было. Я смотрела в окно, пытаясь придумать, что сказать. У тротуара парковалась красная машина. Дверь открыл молодой человек в сдвинутых на лоб солнечных очках, и я вспомнила красную машину много лет назад. Отца, себя и день, который был почти счастливым.

В тот день я окончила школу. Отец повел нас в русский ресторан. На мне было платье, купленное в комиссионке, волосы я покрасила в рыжий цвет. Иона был одет в отцовский костюм. Волосы чистые. Он сидел напротив меня и болтал, сияя белозубой улыбкой. Мама с отцом держались за руки.

— Не надо семейного праздника, — сказала я, и мама стала сопротивляться, как будто мы и впрямь могли его устроить.

Отец поднял большой палец:

— Но зато у тебя будет лучший в мире подарок, — сказал он и ущипнул меня за щеку.

Накануне я складывала на кровати одежду, думая о собственном доме, в который скоро переберусь, тихих утрах и бирюзовых стенах.

Ароматы весны в этом году казались прекрасней обычного. Я ходила по улицам в расстегнутой куртке и думала об осени и будущем. Я не подавала документов в университет — мне хотелось свободного времени, хотелось делать, что захочется, испытать, каково это — посидеть в халате на подоконнике, посмотреть на спешащих в конторы людей и завалиться обратно в постель.

На десерт подали восхитительное мороженое с взбитыми сливками и свежей клубникой. Я ела, зажмурившись от наслаждения. Клубничный сок растекался по языку, вкус сока смешивался со вкусом тающего мороженого. "Как будто кусаешь облако", — думала я. Мужчина в казацком костюме и женщина в шали пели русские песни — грустные мелодии и непонятные слова.

Когда мороженое закончилось и музыканты ушли, отец постучал ножом по краю бокала.

— Анна, — произнес он. Яркое солнце било ему в глаза, и они влажно заблестели. — Мы с мамой очень гордимся тобой. Ты успешно окончила школу. Правду сказать, мы беспокоились, как ты справишься. Тебе ведь всякого пришлось повидать. Такого, чего бы мы тебе никогда не пожелали.

Я бросила взгляд на Иону. Он крутил в пальцах бокал шампанского на длинной ножке и улыбался как ни в чем не бывало. Отец прокашлялся.

— Ты училась, несмотря ни на что. Ты доказала, что умеешь добиваться своего. Мы счастливы за тебя. И вот что. Мы хотим преподнести тебе в подарок кое-что особенное.

Родители поднялись. Мама поправила юбку и разгладила складки на отцовском пиджаке.

— Пойдемте, — сказал он. Щеки у него раскраснелись, он улыбался заговорщицки, как ребенок. — Посмотрим, что у нас там есть.

Я вышла следом за ними. Иона остался за столом курить сигару. Отец разрешил ему выбрать самую дорогую. Официант принес ее на подносе и серебряными ножницами срезал кончик. С сигарой Иона ничем не отличался от прочих мужчин в ресторане, выглядел обеспеченным и чуточку пресыщенным жизнью. Официанты обращались к нему так же, как и к остальным, и это радовало меня больше всего.

На улице было солнечно и почти тепло. Мы жмурились и кашляли от поднявшейся уличной пыли. Отец, насвистывая "Gaudeamus igitur", шел на пару шагов впереди. Завернув за угол ресторана, он велел мне остановиться и закрыть глаза.

— Теперь открывай!

Мы стояли на парковке ресторана. Мама держала меня за руку, ее кольцо больно вдавилось мне в ладонь, но я не отняла руки.

Сверкающий ярко-красный автомобиль. Сиденья обтянуты белой кожей, к заднему стеклу прижата открытка в виде студенческой фуражки. Уголок у нее отгибался, и там золотыми буквами было выведено: "Анне. Счастья и любви во всех твоих делах. Мама и папа".

Я посмотрела на маму, на открытку. Родители смотрели на меня. Я перевела дыхание.

Я уже видела эту машину — на фотографии в папином журнале для автомобилистов.

— Вот такой бы мне когда-нибудь, — сказал тогда отец. Он лежал на диване с журналом и мечтательно листал страницы. — "Сааб-96". "Финский красавец".

Автомобиль был снят на фоне старого деревянного дома, на крышу насыпались осенние кленовые листья, у переднего колеса сидела кошка. Папе он так понравился, что я попыталась проявить интерес. Спросила, какая это модель, сколько стоит, хотя совершенно не понимала, как отец еще может мечтать о старых машинах.

Неужели он не помнил того, что помнила я? Солнечного дня и поездки, которая обещала стать такой приятной. Задувающего в окна ветра, проносящихся мимо машин и крови, окрасившей его грудь в красный цвет. Если он не помнит этого, что же он тогда помнит?

Почему этот день врывается то в мои сны среди ночи, то в разговоры посреди дня, заставляя щеки гореть, будто я совершила что-то постыдное?

Когда отец спросил, что я хочу в подарок на окончание школы, я ничего не ответила. Больше всего на свете я хотела съездить в Индию, но понимала, что это очень дорого, и родителям пришлось бы отказать мне.

Родители смотрели на меня и ждали. Машина стояла перед нами, блестящая, горячая от солнца, с чуть покосившейся открыткой. Машина наверняка была не дешевле, чем поездка в Индию. Она была дороже, чем родители могли себе позволить, и все-таки они купили ее мне. А мне не нужна была машина. Я не понимала, что с ней делать.

— Здорово, — сказала я. — Спасибо огромное. Чудесный подарок.

Отец обнял меня за плечи. Мамино кольцо еще сильнее впилось в мою ладонь. Я набрала в легкие пыльного воздуха и тоже крепко обняла их.

Мы направились обратно, держась за руки. Я несла какую-то ерунду, уходя от серьезного разговора.

Вернувшись, мы пили кофе и коньяк, ели маленькие конфетки, которые делали прямо в ресторане. Мы ели, пили, говорили о лете, осени, о том, как я быстро выросла. Никто не говорил гадостей, не повышал голос. Мы ели, пили и разговаривали, как всякие другие любящие друг друга люди. Мы ничем не отличались от любой другой семьи, празднующей дочкино окончание школы.

После кофе отец вручил мне ключи от "сааба".

— Наслаждайся, — сказал он, похлопав меня по спине. — Застрянешь где-нибудь — звони, помогу вытолкать.

— Не пей лишнего, — сказала мама, обнимая меня как-то особенно крепко.

— Удачи, сестричка, — сказал Иона, подняв руку, будто собирался тоже меня обнять.

Когда я выезжала на "саабе" с парковки, они махали мне вслед.

Выпускной праздновали в "Клиппане". Танцевали медляки 80-х, пили красное вино из бокалов, а что покрепче — прямо из бутылок. Погода была прекрасная, и перед тем, как разойтись, все расселись рядом на камнях и спели "Юность прекрасная, юность безбрежная". Рядом бушевало холодное море, в нем отражались огни парка Кайво.

Воздух был теплым, густым от печали. Но все это было без меня.

Я валялась в праздничном платье на матрасе в новой квартире, пила дешевое вино прямо из бутылки и смотрела на холодную полосу лунного света, протянувшуюся от окна.

Теперь отец сидел напротив меня и хотел узнать, почему я не пришла в клинику навестить Иону. Мой отец, глаза уже в красных прожилках, а в волосах пробивается седина. Мой папа. Маленький мальчик босиком на снегу и все остальные мальчишки, о которых я ничего не знаю.

Нет, не сейчас. Я не буду плакать.

— Ну что ты? — спросил он. — Анна, доченька!

И я ничего не смогла поделать с ураганом, который поднялся откуда-то из глубин живота, закрутил меня, затряс, залил краской щеки. Я не хотела. Но он поднялся, и этот голос, такой же, как в детстве, я тогда

была совсем маленькой, этой девочкой, которая иногда так похожа на меня... Я вдруг снова стала ею.

— Это из-за меня, — прошептала я.

— Что?

— Иона. Тот вечер, когда была демонстрация. Это все из-за меня.

32

— Твой отец умер две недели назад. — Ян лежал рядом со мной. Он прикрыл глаза рукой и изобразил голос Майкла. — Прими мои соболезнования. Соболезнования? Ну да. Большое спасибо. Иди ты в жопу.

Я подумала об отце Яна. О незнакомом человеке, умершем на больничной койке. Мне хотелось подарить Яну того отца, которого он себе выдумал. Героя на мотоцикле, строящего дома для инвалидов войны. Хотелось нырнуть в историю его семьи и найти в отцовской жизни что-то, что заставило бы Яна принять этот мир. Но пришлось довольствоваться поглаживанием его плеча и колючей щетины на шее.

— Хочешь поговорить об этом? — осторожно спросила я.

— Не сейчас. Нет ничего, о чем я мог бы рассказать.

Он свернулся калачиком на кровати. Я почувствовала, как меня окутывает холод. Высокий мужчина в такой позе — в этом было что-то пугающее, нездешнее. Он дрожал, как будто замерз. Попросил меня рассказать, где я провела вечер.

— Почему ты вся исцарапанная, черт возьми?

Откуда-то из недр дома донесся приглушенный крик. Я вспомнила, как читала недавно о насилии в семье, и подумала, что, возможно, сейчас совсем рядом рушится чья-то жизнь. Может, если встать с кровати, прокрасться по коридору и выяснить источник и причину крика, я предотвращу что-то ужасное? Или это крик влюбленных, которые, впившись ногтями друг дружке в спину, парят в неведомых пространствах?

— Слышишь?

— Ты тоже слышал крик?

— Нет. Я хочу узнать, что с тобой случилось.

Я прикусила край одеяла. Подумала, где найти нужные слова. Как рассказать о невидимой руке, мертвой хваткой сжимающей грудь, о том, что после сегодняшнего вечера я не знаю, как жить. Поскольку таких слов не было, я сбивчиво рассказала о случившемся. О спящем Ионе, полиции и о том, как пришла на берег, когда огни полицейской машины растаяли в темноте.

На берегу никого не было. У воды трепетала размокшая книжка комиксов, рядом валялся стоптанный мужской ботинок. Я присела на корточки и взяла ботинок в руки. Темно-коричневый, сорок третий размер, как у Яна. Сбоку желтые полосы, шнурок оторван. Я поднесла ботинок к лицу и вдохнула запах пота и морской воды.

Я попробовала рукой воду, и тут зазвонил телефон.

Я представила, как захожу в воду с прижатым к груди ботинком и телефоном в руке. Как вода заливает телефон, разрушает чувствительные

детали, и остается только мой голос, предлагающий отправить смс или перезвонить попозже.

Звонила мама.

– Ты где?

– Дома, – соврала я. – Что случилось?

– Иона... – мамин голос сорвался.

Я прижала ботинок к шее.

– Вы дома?

– Дома.

– Сейчас приду.

Папа встречал меня у двери. Глаза опухли, в руке недоеденный колбасный рулет. При виде меня он махнул рукой. Я уткнулась лицом в его свитер, и мы долго молча стояли на пороге.

– Спасибо, что пришла, – сказала мама. Она сидела за кухонным столом и пришивала пуговицы к Ионину старому халату. Перед ней стояла недопитая чашка кофе, рядом – пачка подтаявшего масла. Я положила масло в холодильник, вымыла нож. Мама и отец следили за моими движениями. На секунду они показались мне двумя детьми, которые сломали во время игры какую-то нужную вещь и теперь ждут, что взрослый придет и все исправит.

Я спросила, хотят ли они чаю.

Поставила на стол чашки, вскипятила воду в чайнике со свистком, давным-давно мы с Ионой подарили его маме на Рождество. Заплатила я, а Иона пообещал отдать половину – когда-нибудь, когда будут деньги.

– Иона в реанимации, – сказала мама. Она уколола палец, на клеенке осталась красная капля. Я оторвала салфетку и наклонилась промокнуть ее. – Пытался покончить с собой.

Отец, сутулясь, нависал над столом, он сжимал в руках чашку и отхлебывал горячий чай, наморщив лоб, маленькими, задыхающимися глотками.

Я это знала. Предчувствие чего-то подобного жило во мне задолго до этого вечера, с тех пор как я себя помню. Когда мама рассказала о том, что произошло после того, как полицейская машина выехала из моего двора, я словно увидела давно знакомую старую картину, с которой просто стерли пыль.

Иона сидел, согнувшись между холодными стенами полицейской машины, прижимался лбом к стеклу и видел красно-фиолетовое небо. Такое небо было на картинах русского художника – давным-давно они с отцом ходили на его выставку.

В животе скребли ледяные крючья. Он не хотел этого. Не хотел думать о полицейской машине и больнице, в которую его сдали, не сдержав обещания. О тепле так недавно прикасавшейся к нему руки, об ощущении единства с кем-то, о чувстве безопасности. Не хотел ненависти и ужаса, рвущихся изнутри. Гнал мысль о том, как он обеими руками хватает топор и опускает его на голову собственной сестры, прямо на пробор. От всего этого откуда-то из глубины вырывалась чернота. Надо было удержать ее.

Ему нужно было только небо русского художника, пыльный запах музейной залы, отцовская рука в его руке, картины, где деревянные корабли качались на красных, фиолетовых и зеленых волнах. Он помнил, какие картины ему понравились больше всего. Те, где море бушевало, а паруса у кораблей изорвались в клочья. Он помнил руку отца на своем плече и спокойствие, под защитой которого можно было погрузиться в пространство картины, почувствовать соленый запах моря, брызги, ужас моряков, видящих чернеющий горизонт и перехлестывающие через палубу волны. Он был одновременно терпящим бедствие моряком и притихшим перед холстом мальчиком, знающим, что он может отвернуться от картины, что рядом большой и сильный папа и скоро они пойдут в музейное кафе пить лимонад и есть мороженое.

Когда полицейская машина миновала парк и въехала во двор больницы, Иона снова оказался между двух миров. Один мир был полем для опытов, и всё — дом, машина, закрытые больничные двери — было частью опытов, проводимых кем-то извне. А где-то далеко существовал другой мир — настоящий дом. Там мысли переставали метаться, а то, что здесь мучило и раздражало, вдруг прояснялось.

Дом. Где-то далеко, в том месте, которого он не знал, был дом. Он не справился с Заданием. Все пошло не так. А может, все так и было задумано. Может, все и должно было завершиться именно так. И теперь пора возвращаться домой.

Иона сжал кулаки, в сосудах застучала кровь. Машина остановилась. Двое полицейских подхватили его. Иона не отрывал взгляда от земли. Перед глазами плавали красные круги. Выйдя из машины, он улучил момент, вырвался из рук полицейских, оттолкнул их, ударил обеими руками по стеклу и принялся рвать, рвать запястья об осколки стекла, так что кровь брызнула на лица полицейских, на снег и халат. Он рвал запястья о стекло и радовался, несмотря на боль. Он вернется домой.

— Иона выживет?

— Будем надеяться.

Я погладила маму по руке. Кожа стала совсем тонкой, под ней проступали вены, как у старухи.

Мама отложила шитье. Отец поставил чашку на стол. Оба посмотрели на меня. Хотелось лечь на пол и зареветь в голос. Крикнуть, что это из-за меня. Хотелось, чтобы отец взял меня на руки, прижал к груди и не отпускал в эту зияющую черноту, куда я была готова провалиться. И еще кое-чего хотелось. Это была гадкая и страшная надежда. Такая, что не произнести вслух. Мне хотелось, чтобы Иона не проснулся. Чтобы ему удалось покончить с собой. Чтобы это существование, слившее наши судьбы в одну, закончилось в эту ночь.

Но посмотрев на ссутуленные спины отца и мамы, на чашки, напоминающие о далеких субботних вечерах, на лица, отдаленно напоминающие мое, я поняла, что все это не закончится еще очень долго. И мне надо спасать родителей. Сделать что-то, не дать им превратиться на моих глазах в беспамятных и беспомощных стариков. Помочь им пережить эту ночь и все недели, месяцы и годы, которые им еще предстоят.

— Мы справимся, — говорила я, гладя их руки. — Иону вылечат. Он вернется домой лучше прежнего. Все наладится. Я помогу вам. Обещаю.

Я встала из-за стола и заставила родителей подняться.

– Надо поспать, чтобы утром были силы.

Они прошли со мной в спальню. Я почти почувствовала запах лекарств и нафталина, ощутила ребристость резиновых больничных тапочек.

Я откинула с кровати покрывало и нашла под подушками старомодную папину пижаму, подаренную бабулей, мамину ветхую и дырявую хлопчатобумажную рубашку. Пока они переодевались, я смотрела в окно. Во дворе рос тот самый клен, на котором я в детстве пряталась от Ионы, за ним возвышались валуны, с которых я столько раз падала, разбивая коленки. Не верилось, что я прожила в этом доме бóльшую часть жизни. Что я жила так близко от них.

Когда родители переоделись, я помогла им улечься. Они отвернулись друг от друга, отец засунул в уши желтые затычки, мама попросила поставить рядом воды. Я принесла обоим стаканы и выключила свет.

– Спокойной ночи, – сказала я, похлопав их по спинам через одеяло. – Все уладится.

Закрывая дверь, я услышала тихий отцовский голос:

– Спасибо.

– Не за что, – прошептала я из-за двери, надевая ботинки. – Созвонимся, как проснемся.

Я сбежала в темноте по ступенькам, задержав дыхание, будто кто-то мог в любой момент выскочить из-за угла и опустить мне на плечо тяжелую ладонь. Зажав в кулаке ключи от собственного дома, я выбежала на улицу, в холодный ночной воздух, в темноту, пробиваемую отсветами фонарей.

33

Анна отец мама и возможно весь мир

Я Понял нечто Не знаю Поймете ли вы Может это и неважно Но я все же напишу

Надо жить Внутри своей головы И снаружи Господь не забрал меня Он был на моей стороне или против меня? Того что я пошел против времени недостаточно Надо стараться жить

Прожил ли я сложную жизнь? Есть ли у меня право ненавидеть? Я почитал кое-что и Понял в Гневе не различаешь Истины Это не компьютерная игра где переходишь с одного уровня на другой Надо успокоить голову Попробовать жить.

Психоз – это всего лишь слово А боль – нет Боль есть всеохватный ужас который невозможно вынести. Ты готов на ЧТО УГОДНО лишь бы это кончилось Восемь разных лекарств и больница в которой "ухаживают" Мир боли есть могила Туда ходу нет Надо жить Возможно ли это?

Зачем жить когда не можешь жить? Скоро наступит обострение Средний возраст Старость Смерть Вся моя жизнь заключена в этом Я пытаюсь удержать себя на плаву В какой-то момент все объединится и выйдет на более высокий уровень Надеюсь

Я не могу победить боль Не могу уклониться от жизни Я пытаюсь представить время как пейзаж Надо пройти сквозь него Оно закончится когда подойдешь к краю Там на краю будет Свет Вся моя жизнь есть путь к Небесному Свету

С любовью

Иона

34

Под щекой — колючий отцовский стихарь. Ткань пахнет табаком и старомодным лосьоном для бритья. Отец ослабел, пополнел, но его руки обнимают меня по-прежнему крепко. Я зажмуриваюсь. Ничего больше, только его объятия и мягкая грудь у моей щеки.

Я совсем маленькая. Такая маленькая, что понятия не имею, кем стану.

— Должно быть что-то еще.

Это было уже после демонстрации. Я почти ничего не помню об этих днях. Помню только крутящую живот тяжесть и бессонные ночи рядом с Яном, рука в руке. Тишину и сбивчивые фразы, при помощи которых мы пытались поделиться друг с другом тем, что случилось накануне.

Наверное, это был вечер воскресенья, по воскресеньям мы подолгу гуляли молча, останавливались на берегу и смотрели на раскалывающиеся льдины. Да, скорее всего, именно в один из таких дней Ян присел на заиндевевший валун и рассказал мне обо всем, что творилось в его душе после смерти отца. Наверное, именно тогда он поднял воротник и произнес те слова, которые напоминает мне сейчас запах отцовского стихаря.

— На самом-то деле все было очевидно: и то, что с ним происходит, и то, что он никогда не поправится. Но я пытался с этим жить. И был уверен, что смерть — это не так просто. Что человек не может просто перестать быть. Жизнь — да, тут может быть по-всякому, а вот смерть — нет... Я не думал об этом осознанно, но какая-то часть меня верила, что должно быть что-то еще.

Наверное, тогда Ян стал дуть на руки, чтобы согреть их. И я втиснула его руки в свои варежки, и он, ощутив шрамы на моих запястьях, снова спросил: почему? Наверное, тогда я посмотрела мимо него, на детей, разбрасывающих совками ледяной песок, на слишком рано вернувшихся лебедей, и нашла слова.

— Потому что Иона остался жив. И ни одна надежда не оправдалась. И все это теперь — часть моей жизни.

Наверное, в тот вечер мы гладили друг друга, пока не провалились, наконец, во всепоглощающий, ласковый, подобный смерти сон.

— Это все из-за меня, — снова шепнула я, прижимаясь губами к колючему отцовскому стихарю.

— Я чувствую то же самое, — сказал отец. Он говорил тихо, будто сам с собой. — Каждый день. Что это моя вина — то, что случилось с Ионой и с тобой. Хотел я только одного — чтобы у нас все было хорошо.

Он никогда так не говорил. Мы не говорили об этом. Его слова пронизывали меня, словно холодный ветер.

Я приоткрываю глаза и вижу его зубы, стершиеся так, что остались одни пеньки. В детстве, прокравшись в родительскую спальню, я часто просыпалась от скрежета. В слабом свете, пробивающемся сквозь жалюзи, я видела профиль спящего отца, капли пота на его лбу и яростно движущиеся челюсти.

— Генри пережевывает все, от чего спрятался за день, — объяснила мама, когда я спросила, почему папа жует по ночам. И я представляла себе, что отцовский рот полон маленьких троллей и что шерстинки с их хвостов застревают между зубами.

Сейчас мне видно, как двигаются его челюсти. Отец смотрит на хлебные крошки, на недопитый бокал в руках, на тонкие браслеты, поблескивающие на запястье официантки. Говорит так, будто молится или думает вслух.

— Может, с Ионой все было бы по-другому, если бы я был другим? Может быть, я украл жизнь собственного ребенка? Это не дает мне покоя. И я не знаю, как попросить прощения.

Я осторожно выскальзываю из отцовских объятий, чтобы не мешать тому, что творится у него в душе. Пока он не допьет бокал, не наденет куртку и шляпу, я изучаю книгу. Я не могу ничего сказать. По крайней мере, сейчас.

То, что он хочет сказать, имеет отношение ко всем уже ушедшим, к его собственной безграничной вере в счастье.

Я молчу, не отрывая взгляда от книги. Мы еще не готовы к разговору. Возможно, не будем готовы никогда. Но даже если этот момент никогда не наступит, сейчас, в данную секунду, с книгой в руках и припухшими от слез глазами, я знаю, что нужные слова существуют. Есть слова, которые помогут нам пережить то, что происходит. Пережить и простить.

— Я схожу в больницу, — говорю я. — Передай маме, что я успею до закрытия.

— Спасибо.

Он похлопывает меня по плечу и выходит. Из-под пальто виднеется черный стихарь. Он совсем старик.

35

Когда я выхожу из кафе, начинается дождь. В лужах отражается небо. Я стою в луже на краю тротуара и вспоминаю, как в детстве мы с Ионой вставали в лужу, брались за руки, закрывали глаза и оказывались по ту сторону зеркальной поверхности.

Там находился мир "наоборот", там ходили по небу, глядя на землю. Там спали днем и веселились ночью, взрослые играли во дворе в пятнашки, а дети высовывались из окон и звали обедать. За обедом подавали мороженое, пудинг и лакричные лодочки, а на десерт — картошку в коричневом соусе. В магазинах можно было брать сколько угодно игрушек, и продавцы платили покупателям. Президенты дрались друг с другом, повсюду раздавали бесплатную еду, и больше всех доставалось аф-

риканским детям. Толстые и довольные, они сидели под пальмами и пили молочные коктейли, приносимые белой прислугой.

В ботинке дыра, и холодная вода заливает пальцы. Проезжающие машины забрызгивают грязью брюки, а я смотрю на отражающуюся в луже женщину, которая может быть кем угодно, только не мной.

Эта женщина — моя сестра-близнец из мира "наоборот". У нее такие же очки, слипшиеся от дождя волосы и джинсовая куртка с обтрепанным низом.

У женщины на плече сумка с диктофоном, книгой и ноутбуком. Она весь день провела в тихой кофейне, поглядывая на гуляющих с собаками седых старушек. Она, стуча быстрыми пальцами по клавиатуре, дописала статью. Потом она удовлетворенно вздохнула, заказала пирожное и принялась за роман.

"Жизнь. Лондон. Июньское мгновение". Апрельское мгновение. Вот это самое мгновение, думает она, поглаживая обложку. Как печально, что люди уходят из жизни по своей воле, так и не пережив подобных мгновений.

Женщина идет к брату. Ей радостно от этой мысли. Так замечательно, что есть человек, почти ровесник, который знает ее всю жизнь. Человек, с которым у нее общие воспоминания.

Моя сестра-близнец из мира "наоборот" встречается с братом в белой больнице, обсаженной цветущими кустами, двери больницы открыты сутки напролет. Больница — это обычное место, посетители там улыбаются и приносят пациентам цветы. Пациенты вскоре выходят оттуда здоровыми и веселыми и живут среди людей всю оставшуюся жизнь.

Сестра-близнец протягивает руку в тот же миг, что и я. Она улыбается. Лицо у нее спокойнее моего. Она счастлива, что я — всего лишь отражение в луже. Выдуманная близняшка из ненастоящего мира, в который ей незачем отправляться.

36

Анна

Спасибо

Спасибо Сестричка что пришла навестить меня в больнице

Я боялся людей Мне хотелось не бояться и все-же Как оказаться среди Людей если уже долго не видел никого кроме Существ и Специалистов?

Спасибо что пришла Спасибо за мороженое Оно было безоговорочно вкусным Как запах моря Вкусным без всяких но

Сейчас ночь я склоняю голову на руки как и всегда в бессонные ночи Я жду боли Откуда-то пробивается мысль: может, она не придет? Может в эту ночь боли не будет

Твой брат Иона

Кари Хотакайнен

Красная волчанка

Пьеса

Перевод Анны Сидоровой и Александры Беликовой

Действующие лица

Пекка, проводник
Элина, инструктор в автошколе, жена Пекки
Хельми, пенсионерка, мать Пекки
Сеппо, позолотчик, брат Пекки
Катя, лаборантка
Марти, пастор
Карина, консультант по усыновлению

Действие первое

Пролог

Окраина Петербурга. Квартира Кати. У двери стоит Пекка.

Катя. Кто там?

Пекка. Eta Pekka.

Катя. Я такого не знаю. Какой еще Пекка?

Пекка. Izvinite Katja.

Катя. Говорите по-фински.

© Kari Hotakainen, 2005
© Анна Сидорова, Александра Беликова. Перевод, 2009

Пекка. Прости меня, Катя. Прости.

Свет гаснет.

Элина выходит на сцену.

Элина. История и ее главные герои. Моя свекровь.

Входит Хельми.

Хельми. Сколько старую вещь ни латай, новой не станет. Раз уж ржавчина пошла, считай, всё. У моего мужа-покойника был "форд эскорт". Так вот кузов по низу начал ржаветь. Он его зачистил, покрыл антикоррозийкой, но не прошло и двух лет, как ржавчина снова вылезла, правда уже в другом месте. Всё со временем изнашивается. Вот и я теперь как тот "эскорт".

Элина. Мой муж.

Входит Пекка.

Пекка. Вместо того чтобы идти по тропе, я выбрал болото. Натуральному дереву предпочел пластик. Вместо того чтобы глядеть на солнце, я смотрел только на выписки из банка. Зачем мне все это?

Элина. Брат моего мужа.

Входит Сеппо.

Сеппо. Коммунизм, мачизм, туризм, нудизм, популизм, атеизм, социализм, капитализм, терроризм. Вон их сколько. Верь во что хочешь. Я же лично верю в то, что во всяком возрождении самое главное – прочная основа.

Элина. Марти.

Входит Марти.

Марти пытается сказать что-то, но не может, устал.

Элина. Карина.

Входит Карина.

Карина. У меня хорошая жизнь. Это, конечно, мое личное мнение. Один гитарист сказал, что мнение, как анальное отверстие, у каждого свое собственное и только одно. Я бы не стала, конечно, так грубо. Но я благодарна судьбе, что живу в стране, где любое мнение можно свободно высказать.

Элина. И Катя.

Входит Катя.

Катя. Пожалуй, мне вообще не стоило сюда приезжать. Я испытываю слабость к помещениям, где центральное отопление всегда в порядке.

Все, кроме Элины, уходят.

Элина. Такая вот мозаика. В прошлом году мне на Рождество подарили пазл на тысячу с лишним элементов, и я сидела над ним все праздники. Это был горный пейзаж, и больше половины занимало синее небо. Небо оказалось самым трудным. Небо — всегда самое трудное. Некоторым удается разделить свою жизнь на отдельные периоды. Время до гибели принцессы Дианы и время после нее. Время до крушения "Эстонии" и после него. У меня это никогда не получалось, но теперь должно получиться. Все началось в октябре, третьего числа. Я сидела на скамейке перед Социальной службой, мой муж опаздывал.

Сцена первая

Возле комитета по усыновлению

Элина сидит и нервно поглядывает на часы. Вбегает Пекка. У него в руках карта.

Пекка. Я видел его вот здесь.

Элина. Где твоя куртка?

Пекка. Послушай. Вот здесь я его видел.

Элина. Шшш... здесь же люди. Кого видел?

Пекка. Христа. Иисуса.

Пауза.

Элина. Чучело! Послушай, хорошая же была куртка. Кожаная.

Пекка. Там, на финско-русской границе, сразу за Вайниккалой, еще до паспортного контроля, где нет никого. Потому и куртку отдал еще на вокзале, нищим. Потому что Бог есть.

Элина. Я тоже сегодня с утра страшно расстроилась. Надо было купить крем для лица за пять евро, а я почему-то купила за сорок.

Пекка. Это был даже не образ, а словно один только свет.

Элина. Я хочу, чтобы ты сел и послушал. Если нас возьмут в эту программу по усыновлению, то нам надо будет оформить документы на тот универсал.

Пекка. "Мондео"? В такой, глядишь, и проститутка влезет.

Элина. Что?

Пекка. Ничего, теперь ты послушай. Это длилось всего миг, секунд десять, не больше. Но я успел понять, что можно жить по-другому. Помнишь, ты сказала тогда в турецкой бане в "Кумулюсе", что мы равнодушные обыватели, у которых нет никакой цели в жизни. Но на самом деле это не так. Меня уже давно что-то мучает внутри.

Элина. И голос свыше сказал, что если ты не изменишь свою сраную жизнь, то отправишься прямиком в ад. Да?

Пекка. Все не так просто.

Элина. Что ж тут непростого?

Пекка. Да все.

Элина. Ты же не веришь в Бога! Ты обычный проводник поезда Хельсинки—Питер. Наверняка даже в церкви никогда не был. Тебе надо проспаться.

Пекка. Если бы я нашел на путях мешок денег, ты б меня по-другому слушала!

Элина. Шшшшш!

Пекка. Это точно, сидела бы сейчас, разинув рот, и пускала слюни, но я нашел кое-что другое, нематериальное, и тебе плевать!

Элина. Нам предстоит принять важное решение.

Пекка. Усыновление здесь ни при чем.

Элина. Как ни при чем? Сейчас как раз наша судьба решается.

Пекка. Он ничего не сказал, просто стоял на опушке и смотрел на меня.

Элина. Чучело. Надеюсь, это быстро пройдет — неделька в санатории, и будешь как новенький. Что с товаром? Привез?

Пекка. Привез. И еще вот маленький подарок.

Дарит Элине украшение.

Элина. Неужели все так хорошо вышло?

Пекка. Я об этом тоже подумал...

Элина. Слышишь, зовут, наша очередь. Не думай об этом. Тебе надо поспать.

Пекка. Но я ведь только что проснулся.

Свет гаснет.

Элина остается на сцене.

Элина. Я работаю инструктором в школе вождения, и для меня весь мир как карта дорог. Вот мы приближаемся к перекрестку, включаем поворотник, смотрим в одну сторону, в другую и давим на газ. Едем по своей полосе с одной скоростью, без резких движений, не тормозя и не газуя понапрасну. Учитываем то, как ведут себя на дороге другие. Но некоторые не могут ждать, они чешут через перекресток на бешеной скорости, какие уж там поворотники, улетают прямо в поле и орут оттуда, что там якобы дорога лучше.

Входит Сеппо.

Элина. А это, между прочим, Сеппо. Он только что вернулся из промозглого Питера в дождливый Хельсинки. Сеппо золотит купола, он позолотчик.

Сцена вторая

В *гараже*

Входит Пекка.

Пекка. Добро пожаловать в Финляндию!

Сеппо. Ты что натворил! Здесь же ничего нет, гараж пустой! Где товар?

Пекка. Нету. Я все раздал. Контрабанды больше не будет.

Сеппо. Не ври!

Пекка. А я и не вру. Не будет, и всё. Я раздал все иконы. Пенсионерам, еще в районе Выборга, а остальные — уже здесь, в Финляндии.

Сеппо. Но кто дал тебе право? И вообще, что за шутки?

Пекка. Прежний образ жизни был для нас тяжким бременем. И только теперь мы обрели под ногами твердую почву. Мы бессовестно пользовались страной, погруженной в хаос. На деньги от продажи икон мы покупали себе путевки на курорты, круизы на Крит, одежду, картины и прочие мирские блага. Мы жили неправильно, мы выбрали не ту дорогу. Но теперь нам предстоит новый путь, он узок и тернист, но зато мы будем гораздо ближе друг к другу. Вместо шоссе нас ждет лесная тропа. Даже дети считают, что идти по тропе гораздо приятнее. Я верю, Иисус всей своей жизнью доказал нам, что алчность и поклонение земным благам не на пользу человеческой душе.

Сеппо. Так ты, сволочь, значит, уверовал?

Пекка. Скажу только, что я нашел нечто новое и именно поэтому решил раздать все иконы.

Сеппо. Ты должен мне три тысячи евро за эту последнюю партию. Я ведь место для реставрационной фирмы уже застолбил. На углу Мекелинкату и Мусеокату. Аванс заплатил.

Пекка. Нас наверняка включат в программу по усыновлению. У нас будет ребенок. Ты станешь дядей!

Сеппо. Ты меня вообще слышишь?!

Пекка. Ты еще поймешь, насколько я прав.

Пауза.

Сеппо. Надеюсь, это пройдет.

Пекка. Что?

Сеппо. Ну, это... Как его... Твоя "вера".

Пекка. Это же не мигрень. Похоже, ты так ничего и не понял.

Сеппо. И не я один.

Пекка. Но ты ведь тоже верил, вспомни, когда был активистом у левых.

Сеппо. Я верил в разум и в систему. А ты, дурак, веришь в то, чего нет. И потом, разве я раздавал чужие деньги направо и налево? Разве я подарил твой "ниссан" безработному соседу? Нет!

Пекка. Ты закончил?

Сеппо. Я даже еще и не начал.

Пекка. А-а-а.

Сеппо. Хочешь что-то добавить?

Пекка. Нет.

Сеппо. На чем я остановился?

Пекка. На левых активистах.

Сеппо. Да, я вступил в партию, но не потерял голову!

Пекка. Моя голова на месте, брат. А жизнь Иисуса и его учение очень близки идеям социализма.

Сеппо. Каким боком?

Пекка. Ну как же! Раздать всем поровну, он об этом ведь говорил.

Сеппо. Кто?

Пекка. Ну, он. Этот, как его... Иисус.

Сеппо. А ты?

Пекка. Что я?

Сеппо. Ты ведь не поровну раздал, ты всё отдал!

Пекка. Разберись сначала со словом "всё", а уж потом рассуждай о том, что значит "отдать". Это должно быть соотнесено с общественным... э-э-э... контекстом, что ли... ну, в общем, с ним.

Сеппо. Да, в Петербурге я только и мечтал что о таких высокодуховных разговорах.

Пекка. Конечно, если бы я вступил в Партию зеленых или в любую другую партию, то ты бы и слова не сказал, а здесь...

Сеппо. Вот именно! Лучше бы ты подписал какой-нибудь адрес в защиту луговых вальдшнепов или привязал себя цепями к какому-нибудь дряхлому дереву, но держал бы свои ручонки подальше от нашей общей собственности и от моего капитала.

Пекка. Ты, брат, все сводишь к материальному. А я увидел свет там, где уже и быть-то ничего не должно, — в сердце. Совесть это или еще что-то? Но только никакая традиционная социальная демократия с этим не сравнится. Это что-то едва осязаемое, но в то же время очень явное... А дыма, брат, без огня не бывает...

Сеппо. Слушай, философ местного пошиба, а я ведь безработный.

Пекка. Ты? Нет. Не может быть...

Сеппо. Позолота куполов закончилась, как только Питер отпраздновал свое трехсотлетие, а теперь и здесь... У местной православной церкви нет денег на новую позолоту, даже для собора, название которого спьяну и не выговоришь.

Пекка. Успенский кафедральный?

Сеппо. Угу.

Пекка. А разве не было договоренности?

Сеппо. Была, была! Но ситуация изменилась. Они несколько раз пытались до меня дозвониться, но я же на работе, у меня телефон отключен.

Пекка. Удары судьбы облагораживают душу. Да и умелые руки нужны всегда. А потом ты все равно скоро станешь крестным!

Сеппо. Исчезни!

Сцена третья

В *парке*

Хельми и Пекка.

Хельми. Бога нет. После смерти ничего не будет. Важно только то, что до нее.

Пекка. Не будь такой категоричной.

Хельми. Я Хельми, и этим все сказано. Судака купил?

Пекка. Купил.

Хельми. Свежий?

Пекка. Запеку в духовке. Так будет полезнее.

Хельми. И не надо мне рассказывать про эти чертовы пустыри в Вайниккале... мы с твоим отцом-покойником сто раз там бывали и из окна на них таращились. Ничего там не было и нет!

Пекка. Но есть другой, невидимый мир. И ты уже на пути к нему.

Хельми. Ни на каком я не на пути, я вообще сама по себе. Я после шунтирования сказала тому врачу, что, вновь заштопанная, теперь не буду размениваться на всякую низкооплачиваемую мелочовку. Ты был так поглощен самим собой, что, когда пришел меня забирать, сразу спросил о Боге, а не о том, как я себя чувствую.

Пекка. Мама, пришло время поговорить откровенно. Если начинать с юности, то в лицее мы гнали самогон вместе с братьями Хельминен. А еще я курил травку...

Хельми. Что?

Пекка. Наркотики, но только гашиш. Я не подсел, но сволочь из меня получилась еще та. Приворовывал, сначала в кафе, потом в магазине. Пытался силой отнять у Лены...

Хельми. Что отнять?

Пекка. Самое дорогое, что у нее было, но до изнасилования не дошло, зато дрочил я так, что впору было идти к сексопатологу, хотя мы тогда таких слов даже и не знали. Теперь, когда мы стали взрослыми, обманы, подделки и кражи стали обыденными вещами, на-

чиная с жульничества в продуктовом магазине и заканчивая спекуляцией железнодорожными билетами

Хельми. Ты уверен, что я должна все это сейчас слушать?

Пекка. Это еще не все. Я обманывал, занимался контрабандой, завышал сумму штрафа для безбилетных пассажиров...

Хельми. Контрабанда?

Пекка. Не в этом дело... вернее, не только в этом... я часто заглядывался на женщин, последний раз на Рождество я так таращился на задницу жены Сихвонена, что это вполне можно считать прелюбодеянием, пусть даже до конечной станции поезд и не дошел...

Хельми. Что за контрабанда?

Пекка. Да что ты привязалась! Взгляни-ка на этот список, вот она — жизнь твоего сына! А если бы отец был жив, что бы он включил в свой список?

Пауза.

Хельми. Ты о чем?

Пекка. В чем он признался перед самой смертью?

Хельми. Откуда я знаю? Ты последний, кто с ним разговаривал.

Пекка. Он был не более разговорчив, чем остальные финские мужики.

Хельми. Ну и хорошо. У нас ведь что снаружи, то и внутри, ничего не таили. Тайсто носил рубашки в сине-красную клеточку и серые штаны, и человеком был таким же — сине-красно-серым. Демократом до мозга костей. А ты? Контрабандист?

Пекка (*протягивая Хельми иконку*). Это единственная, которую я честно купил, возьми, она твоя. Мы с Сеппо много лет незаконно возили сюда иконы из Питера.

Хельми. Вы... и Сеппо тоже?

Пекка. Голова кружится?

Хельми. И да, и нет. Дай мне таблетку из синенькой коробочки. Что ты сказал? Врач прописал мне успокоительное. Я вчера приняла, и сразу все вокруг выровнялось. Ничего не чувствовала. Это нехорошо. Равнина хороша в природе, а в голове — нет.

Пекка. Вот и я о том же! И у меня теперь словно глаза открылись, да так широко, что я могу увидеть весь мир, мой ум открыт всему новому, и мне порой кажется, что у меня теперь не пять органов чувств, а шесть или семь, я все чувствую...

Хельми. А Элина знала?

Пекка. Понемногу привыкла. Мы вывозили кресты и иконы, самые важные, на которые старухи больше всего таращились. Везли отовсюду. Да уж, нелегко бывало. Одна в спешке так и осталась на стене, снять не успели, до сих пор жалко, то есть нет — не жалко... но тогда спрос был на все... один владелец таксопарка из Лоймаа пожелал иметь икону в серебряном окладе, и чем старее, тем лучше, такие дела... На заказ привозили все что угодно. Да и чего

сложного, смутное время было: империя распалась, общество в хаосе. И мы — свободные финны в свободной России.

Хельми плохо, у нее кружится голова.

Пекка. Мама...

Хельми. Вот так значит... наши детки в миру... небо, что ли, покачнулось... или земля?

Пекка. Мама... что с тобой?

Хельми. Яркий свет и темнота, надо же, и то, и другое... и вы с Сеппо идете по широкому полю, залитому солнцем... откуда вам знать, какое там, в подвале... вам, детям света!.. А теперь — контрабандисты... Я вскормила чудовищ. Мы с Тайсто строили для вас этот мир, эту страну...

Хельми швыряет иконку на землю, та раскалывается.

Пекка. Что ты наделала?..

Хельми. Не нужны мне твои ворованные иконы!

Пекка. Я принес ее как символ новой жизни!

Хельми. Уйди! Твоя вера слепа.

Пекка. Неправда, и я не уйду.

Хельми. В полицию уже заявил?

Пекка. Нет. Пока.

Хельми. Собираешься?

Пекка. Посмотрим.

Хельми. Только не строй из себя Иисуса.

Пекка. Сама же сказала, что Бога нет. Так отчего же ты боишься, что я назовусь его сыном?

Хельми. Оттого и боюсь. Что возомнишь себя тем, кого нет. Давай сюда рыбу. Я одна пойду домой.

Пекка собирает обломки иконы.

Пекка. Еще можно склеить.

Хельми. Ее, пожалуй, да.

Темнота. Появляется Элина.

Элина. Девочка или мальчик, волосы темные или светлые, дитя подворотен или дар Божий — все равно. Я годами наблюдала за тем, как угасают старики, одного мы похоронили, о другой заботимся до сих пор. Вы, конечно, посмотрите и скажете, что мне не на что жаловаться в этой жизни: крыша над головой есть и на хлеб всегда найдется что положить. Но ведь это с какой стороны посмотреть. Психолог, социолог и журналист решили изучить типичного представителя среднего класса, посмотрели на него и констатировали: ничего не видим.

Сцена четвертая

В *доме Пекки и Элины*

Элина. Женщина из комитета по усыновлению придет к нам трижды. Может, стоит купить на розетки защитные заглушки, а то ведь она сразу подумает, что первым делом ребенок засунет пальчики именно туда.

Пекка. Не подумает, она же финка. Может, мне другую рубашку надеть, а то что я вечно в этой клетчатой?

Элина. Надень пуловер с вырезом, он подойдет. Здесь буду спать я, здесь — ты, а сюда мы повесим какой-нибудь плакат...

Пекка. Например, "Поможем детям Африки!"

Элина. А здесь будет спать малыш. Чудесно!

Пекка. А здесь могла бы спать проститутка.

Элина. Чучело! Пойду посмотрю, готов ли кофе. Что ты сказал?

Пекка. Да брось! У нас ведь достаточно места. Даже в сердце.

Элина. Для кого?

Пекка. Я уже много сделал для этого. Ее нелегко было найти. Если помнишь, я в прошлый раз задержался в Питере на день, это для того, чтобы организовать ее приезд. Она очень милая и прекрасно говорит по-фински, из увлечений назвала классическую музыку и литературу. По специальности лаборантка. Женщина с массой нереализованных талантов, но, к сожалению, мурманская преступная группировка "Черная орхидея", специализирующаяся на проституции, отняла у нее документы, и поэтому теперь она вынуждена заниматься этой грязной работой в богатых апартаментах в центре Питера. Она скрывается под именем Ирина Аперитив, но вообще-то ее зовут Катя, и она моя сестра, но мама об этом пока не знает.

Пауза.

Пекка. Хорошо? Она ведь может к нам приехать?

Звонок. Пекка открывает дверь.

Карина. Добрый день. Меня зовут Карина Лааксо.

Пекка. Добрый день.

Элина. Добрый... добрый... проходите, садитесь.

Пекка. Стул, стул, где ты уснул...

Карина садится за стол, достает блокнот и ручку.

Карина. Мы просто немного поговорим. Я получила ваши бумаги. В основном здесь все понятно, вы хотели бы усыновить ребенка, и именно финского?

Пекка. Связь с ребенком — это связь на уровне души, а ее лучше всего выстраивать на родном языке.

Элина. Или через игрушки... чтобы найти контакт... Конечно, игрушки можно было бы взять и у знакомых... но мы решили все купить сами... из экологичных материалов... деревянные сейчас очень сложно найти... они дорогие, но мы каждый год откладывали по чуть-чуть, мы называли их "наш льняной счет"... а вокруг плиты мы поставим заграждение... а если он совсем еще маленький, то тогда, конечно, купим шлем для первых шагов...

Карина. Хорошо, но не будем торопить события. Что касается вас самих, ваша бездетность, вы уже психологически пережили эту проблему?

Элина. Угу.

Карина. Угу?

Элина. Мы попытались, но смириться так и не смогли, даже наоборот, я хочу любить, заботиться, смотреть, как он растет, хочу наблюдать за его жизнью. Мы хотим ребенка по очень личным причинам.

Карина. Личные причины в данном случае это очень хорошо. Они самые искренние. Ребенок, свой или усыновленный, — это всегда важное решение. Самое важное во взрослой жизни.

Пекка. Воспитание детей — это ужас что такое.

Элина. Кофе? Чай?

Пекка. У нас начнется новая жизнь. Даже две.

Элина. Вот именно. Нас же двое... Но хватит об этом. Хотите взглянуть на другие комнаты?

Карина. Нет. А что вы подразумеваете под новой жизнью?

Пекка. Я разговаривал со своим внутренним я.

Элина. Он говорит обо мне.

Пекка. И... Хотя, впрочем, вы вообще с Богом знакомы?

Карина. В некотором роде... через бывшего мужа.

Элина. Мой муж, знаете ли... он нашел что-то... ну... как бы это сказать... но ведь доказательств никаких нет... ну то есть его же не видно... в общем, у нас тут, типа, новый подход к жизни...

Пекка. Через бывшего мужа?

Карина. Он священник. Работает здесь, в вашем приходе.

Пекка. Надо же, какое совпадение!

Карина. Но вы говорили что-то о новом подходе к жизни... Это как-то связано с верой?

Элина. Мы с мужем еще недостаточно обсудили этот вопрос...

Пекка. После краха коммунизма западным странам также пришлось пересмотреть свое отношение к рыночной экономике, ее правилам игры и через них к морали. Сейчас же, в новой ситуации, я верю, мы должны найти для нее новые формы.

Карина. Какие же?

Пауза.

Пекка. Возможно, будет лучше, если я расскажу вам об этом в следующий раз, хорошо? Мое излишнее воодушевление может все испортить. И если интерес не остынет к следующему разу, то почему бы и не поговорить. Итак, до следующего раза?

Карина. В следующий раз я приду через две недели. Каждый раз мы с вами будем обсуждать новые детали усыновления.

Элина. В нашем мире существуют только одни часы — биологические. И заряд их, к сожалению, не вечен. Это наш единственный шанс. Может быть, от нас требуется даже больше, чем от, скажем так, обычных родителей.

Карина. Теплой и любящей атмосферы вполне достаточно. И вы, похоже, серьезно обдумали свое решение.

Пекка. Это был долгий путь, эти семена ждали своего часа много лет.

Карина. До свидания.

Пекка. Я хотел только добавить напоследок, что работа меня не утомляет.

Карина. Понятно. Но мы скоро увидимся. До свидания.

Карина уходит.

Элина. Где тот самый Пекка, которого я встретила на фестивале Руйсрок в восемьдесят седьмом году? Ты ли это?

Пекка. И я, и не я.

Элина. Я, пожалуй, пойду прогуляться и дважды обойду Центральный парк, а ты за это время напишешь на бумаге все, что с тобой случилось за последнее время и чего мне еще ожидать в ближайшем будущем. Объяснишь все по порядку, без истерик.

Пекка. Чего ты нервничаешь? Она посмотрела на нас в разных ракурсах.

Элина. Одного ракурса было бы вполне достаточно.

Свет гаснет.

Сцена пятая

Приемная в приходском доме

Элина сидит на стуле, за столом — Марти, приходской священник.

Элина. Я знаю, что все это можно было бы сделать, просто написав письмо. Чтобы выйти из церкви, не надо специально объяснять причин[1], но я хочу, чтобы вы меня выслушали, для меня это важно. Я не верю ни в Бога, ни в его милость, ни в загробную жизнь, ни в спасение и ни в какие другие уловки, которыми ваша органи-

1. В Финляндии для выхода из церкви надо написать специальное заявление: выход из церкви означает отказ от уплаты налога, который платят все члены церкви. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

зация упорно кормит людей на протяжении вот уже пары тысяч лет. Церковь вводит людей в заблуждение. Особенно уставших, всю жизнь свою посвятивших работе. Вы говорите о чудесах, о прозрениях и знахарстве.

Марти. Наше учение отрицает языческие представления, подобные тем, что вы упомянули.

Элина. Ладно-ладно, я вообще-то по делу. Могу ли я проконсультироваться у представителя церкви по вопросу, который напрямую не касается веры, или, точнее, касается, даже самым непосредственным образом?

Марти. Что вас конкретно интересует?

Элина. Предположим, в какую-то семью или в ее ближайшее окружение собирается приехать проститутка из России, вот вы, как представитель гуманитарной общественности, как вы на это смотрите... ну там, визы, разрешения на работу, как долго такой человек может работать и вообще можно ли ее пускать... а то ведь живем-то только раз...

Марти. Не желаете кофе, фрукты?

Элина. Нет, спасибо. И можно ли каким-то способом от нее...

Марти. Избавиться?

Элина. Это вы сказали, не я.

Марти. Официально церковь не участвует в обсуждении подобных вопросов, но на практике, конечно, невозможно безучастно смотреть на деятельность подобного рода, и потому в данном случае, я думаю, вполне объяснимо ваше стремление от нее избавиться...

Пауза.

Марти. ...или, по крайней мере, как-то ограничить сроки ее пребывания...

Пауза.

Марти. ...конечно же, напрямую это не имеет отношения к официальной миграционной политике. Но, безусловно, церковь имеет свои... этические правила в отношении к данному сегменту... Который час?

Элина. Два.

Марти. Ни два, ни полтора.

Элина. Что? Ну, так вы бы смогли взять проститутку к себе домой?

Марти. Сложно сказать.

Элина. Неужели бы взяли?

Марти. Сложно сказать.

Пауза.

Марти. Насколько я знаю, она ко мне в гости не собирается.

Элина. Нет, конечно. Это только мне так повезло. Но ведь ребенок должен жить в спокойной мирной обстановке, ему не нужны скандалы.

Марти. Ребенок?

Элина. Мне пора. Не думала, что выходить из церкви будет так приятно.

Элина уходит.

Свет гаснет.

Сцена шестая

В *доме у* Пекки *и* Элины

Пекка вносит чемодан Кати.

Катя. Усыновить?

Пекка. Видишь ли, никто не может знать наверняка количество семян и готовность почвы — всё в руках Всевышнего.

Катя. Но это же хорошо, вы наверняка будете прекрасными родителями.

Элина. А есть у тебя доказательства, что ты дочь Тайсто? Какие-нибудь неоспоримые факты?

Катя. Нет, никаких документов у меня нет.

Элина. Подумать только! После развала великой державы через границу поползли все кому не лень, но лишь тысячная доля из них более или менее порядочные люди.

Пекка. Элина у нас сейчас как бы на восьмом месяце...

Катя. А в путеводителе говорится, что финны очень гостеприимны.

Элина. Это означает, что он был выпущен еще до развала СССР. Теперь, когда железного занавеса больше нет, мы решили вести себя более естественно, то есть — от ворот поворот... нет, ну ё-моё, я не могу, простите... хотя кому я говорю "простите", дело-то, собственно, в том, что я не желаю тебя здесь видеть!

Пекка. Элина немножко не в себе.

Катя ходит по квартире, осматривается.

Катя. А это чьи дизайнерские изыски?

Пекка. Тимо Сарпаневы.

Катя *(смотрит на свет)*. Хорошая игра света и тени, наверняка дорогая вещь. А у вас шикарная планировка. Вы уже, наверное, подумали, в какой комнате я буду? Вон в той маленькой?

Элина. Это детская, для ребенка.

Катя. Вот оно что! Значит, речь идет о двойном усыновлении?

Пекка. Мы в гостиной ширму поставим, а утром будем ее убирать.

Элина. Ширму? В гостиной?

Пекка. Сейчас есть очень красивые, легкие.

Элина. Пойду пройдусь. У меня кислородное голодание.

Элина уходит.

Катя. Ты же говорил, что у меня будет работа. На фармацевтическом заводе.

Пекка. Говорил. Но не вышло.

Катя. То есть как это?

Пекка. Завод закрыли.

Катя. А та вторая, курьерская фирма?

Пекка. Перевели в другое место... туда куда-то (*машет рукой*) на Дальний Восток.

Катя. Курьеров перевели на Дальний Восток?

Пекка. Нет, только среднее звено... или звенья. У нас тут, в Финляндии, сейчас такая неразбериха.

Катя. Черт, как будто никуда и не уезжала.

Пекка. Но я поговорил с Сутиненом, он клевый мужик, так вот он счита...

Катя. Я тут прогулялась немного по Хельсинки и успела заметить, что старые иконы, точно такие же, как я вам передавала, стоят под тысячу евро. Что ж вы мне платили тогда так мало?

Пекка. Мы рисковали гораздо больше тебя... суммы соответствовали риску... Я переправлял товар через границу, а ты отвечала за бизнес в России.

Катя. Недешевые туфли у твоей женушки.

Пекка. Мы подумали, что ты привыкла к тем условиям, в которых жила... Люди ведь ко всему привыкают, и очень быстро. Конечно, про тебя мы конкретно не знали...

Катя. Ты не знал, потому что никогда и знать-то не хотел.

Пекка. Да. Но тогда я был другой. Теперь все совсем иначе. Но, возвращаясь к Сутинену — он начальник отдела кадров на нашей железной дороге, а там как раз освободилось место проводницы. Мы бы так и познакомились получше, и ты бы посмотрела на нашу страну из окна поезда.

Катя. Какие вы все-таки! Твой отец приехал к моей матери с пакетом дешевых капроновых колготок и жвачкой в зубах и сполна насладился прелестями дешевой жизни. Тридцать лет мой народ смотрел, как вы, приезжая к нам, пьете, блюете, буяните и трахаетесь по углам. А теперь, судя по твоему самодовольному выражению лица, я должна бесконечно радоваться, что приехала сюда. Но почему? Назови мне хоть одну причину для радости. Высокие налоги. Ужасный климат. Женщины одеваются, как мужчины, а мужчины одеваются, как свиньи. Продукты ни к черту, колбаса без мяса, сыры без жира, йогурты без вкуса. Вы десятилетиями талдычили нам о свободе слова, но стоит открыть любую газету, включить любой канал телевидения — и где она, ваша гребаная свобода? Вы не перестаете

возмущаться тем, что у нас можно сесть в тюрьму за свои высказывания, но приведите мне хоть одно финское высказывание, за которое можно было бы посадить в тюрьму! Сталин сделал большую ошибку, не прибрав вас к рукам. Глядишь, был бы в его распоряжении непритязательный и послушный народ для грязной работы.

Пекка. Про сыр это ты зря! У нас очень широкий ассортимент, особенно в последнее время.

Катя. Ну что, я уже не подхожу на роль жертвы?

Пекка. Ну что ты так взбесилась, сестренка...

Катя. Теперь, значит, сразу сестренка? Похоже, тебе доставляет удовольствие, что я проститутка. Во всем ищешь выгоду. Самец. Как все те мужики, что клеились ко мне в поезде.

Катя берет сумку и собирается уходить.

Пекка. Сестренка! Все мужики — свиньи. Но ты не такая.

Катя. Я не шлюха!

Пекка. Конечно, нет. В глубине души ты чистая. Ты ищешь сейчас виновного... повсюду... Э-э, как бы нам уже уйти от этой невеселой темы... Если честно, то я еще толком не понял, что произошло... Но мне хочется верить, что не все в этом мире сводится лишь к поиску личной выгоды. Ты мне веришь?

Катя. Я верю, но сама не знаю, во что.

Пекка. Нет, ты определенно наших кровей. Такая же вспыльчивая, как мы все.

Катя. Где я буду спать?

Пекка. Вон там.

Катя. А твоя мать, Хельми, она с вами живет?

Пекка. А вот ее не трогай, шлю...

Катя. Договаривай до конца. Давай, не стесняйся! Оказывается, быть шлюхой — не самое страшное проклятие. По мнению финнов, среди русских других и быть не может.

Входит Элина.

Элина. Выбирай!

Пекка. Что выбирай?

Элина. Или я, или она.

Свет гаснет.

Сцена седьмая

В *доме* Марти *и* Карины

Звонит телефон.

Карина. Карина Лааксо, слушаю вас.

Марти. Привет, это я.

Карина. Привет. Приглуши на время своего комментатора. Я за год успела отвыкнуть от этих ужасных звуков. (*Пауза.*) Как дела?

Марти. Ну-у-у...

Карина. Опять этот скрип!

Марти. Что?

Карина. Сколько можно говорить: "не грызи дужку от очков"?

Марти вынимает дужку изо рта.

Марти. Сегодня опять приходила женщина, чтобы объяснить, почему она хочет выйти из церкви. Все говорила, говорила.

Карина. Разочаровалась в Боге? Где-то я это уже слышала.

Марти. Да нет, дело не в этом.

Карина. А в чем?

Марти. Понимаешь, в душе госпожа Куйтунен все же верит.

Карина. Куйтунен — знакомая фамилия. Она в тех же сомнениях, что и ты?

Марти. А что я?

Карина. Ты ведь тоже все никак не поверишь, что между нами все кончено. Ты же поэтому звонишь?

Марти. Нет, я уже не сомневаюсь. Я просто не люблю болтунов.

Карина. Одухотворенных болтунов?

Марти. Это, знаешь ли, даже пошло.

Карина. Правда глаза колет.

Марти. Крестишь, освящаешь, наставляешь, отпускаешь грехи, и вечно найдутся такие, кому что-то не нравится. Влезаешь в чужую шкуру, стараешься понять, прочувствовать, разделить вместе и горе, и радость, всякий раз подыскиваешь слова, но тем не менее регулярно нарываешься на такого, который обзовет все это фальшью.

Карина. Боишься фальши — не берись. Стараясь угодить всем, не угодишь никому.

Марти. Я уже видеть никого не могу. Может, пообедаем как-нибудь вместе?

Карина. Ты же только что сказал, что видеть никого не можешь.

Марти. Но ты же другое дело, ты же не...

Карина. Человек?

Марти. Нет, то есть да, то есть человек, конечно, но...

Карина. Что "но"?

Марти. Ну что ты к словам цепляешься?

Карина. Всякая тварь к свету тянется.

Тишина.

Марти. Приготовил сегодня утку по-пекински, помнишь, ты рецепт давала? По вкусу вышло что-то наподобие берлинского пончика.

Карина смеется.

Свет гаснет.

Сцена восьмая

В *квартире* Сеппо

Звонок в дверь. Входит Катя.

Сеппо. Ты?

Катя. За такси заплати.

Сеппо выходит на секунду, возвращается. Катя поворачивает регулятор температуры на батарее.

Катя. Теплая квартирка. Если вот так повернуть, будет еще теплее.

Сеппо. Я слышал, что ты приехала. Но думал, что уже обратно отчалила.

Катя. Нет. Мне пообещали работу. Но не получилось. Обещали теплый прием, но не обеспечили. Рада тебя видеть.

Сеппо. И я. У тебя крошки вот тут над губой.

Катя. Это не крошки.

Катя ходит по квартире.

Сеппо. Может, чаю?

Катя. Так значит с контрабандой вы завязали, да?

Сеппо. Прости.

Катя. А сколько стоит снимать такую квартиру в рублях?

Сеппо. В месяц столько же, сколько твою на полгода. Но я не снимаю, это моя собственность.

Катя. Ого!

Сеппо. Купил во время кризиса.

Катя. Кризис в Финляндии... Девяносто второй — девяносто пятый годы. Так, кажется? А это что такое?

Сеппо. Агатовые зубцы для позолоты.

Катя. Сеппо, почему твой брат считает, что я проститутка?

Сеппо. Потому что я ему так сказал. А иначе бы он никогда тебе не помог. Пришлось выставить тебя в роли жертвы. Сочинить легенду. Прости.

Катя. У вас в Финляндии, наверно, так принято. (*Пауза.*) Ну, так где мои деньги?

Сеппо. Нету.

Катя. Но ведь мне доля причитается за последнюю партию.

Сеппо. Мне тоже, но новоявленный Иисус все раздал.

Катя. А сколько они вообще стоят? Как моя годовая зарплата? Или еще больше?

Сеппо. Они дороги мне еще и в духовном смысле. Этими зубцами, между прочим, полировали купола Петербурга...

Катя хватает зубцы, прижимает к груди.

Катя. Теперь мы в расчете, да? Мне совершенно не хочется уезжать из Финляндии с пустыми руками, вы же всегда из России что-нибудь везете.

Сеппо. Верни сейчас же!

Катя. Ничего, у тебя денежки есть, еще купишь. Ты в России, где рубль ничего не стоит, три года купола золотил и на одни только суточные жил лучше, чем я, бывало, в самые лучшие времена! Неужели ничего не накопил?

Сеппо. Положи, откуда взяла!

Катя возвращает зубцы. Молчание.

Катя. На тебе тогда была такая кожаная куртка, когда ты пришел первый раз, помнишь?

Сеппо. Уже не помню...

Катя. Ты выглядел тогда так шикарно, что мы с мамой решили, что ты богач. Стоял в дверях, такой растерянный, не знал, как себя вести. С кипой детских книжек в руках. А потом протянул маме деньги. Нелегко, наверное, тебе было стоять там и рассказывать, как терзают твоего отца муки совести. А мы потом на эти деньги купили семена морковки, огурцов, брюквы, посадили на даче и смотрели, как растут наши финские овощи. Так что кое-какие попытки помочь с твоей стороны все же были.

Сеппо. Может быть. Я не помню.

Катя. Зато я помню. Ты был плохой родственник, но единственный, кто приходил к нам после того, как отец перестал с нами общаться. Ты был с ним, когда он умирал?

Сеппо. Нет. Только Пекка и Хельми.

Катя. А про нас он хоть что-нибудь говорил?

Сеппо. Вроде нет. Правда, Пекке он что-то там шептал на ухо.

Катя. Что?

Сеппо. Не забудь про грабли.

Катя. Что-что?

Сеппо. Грабли в данном случае это финская лотерея.

Катя. И это все?

Сеппо. Все. Я знаю дешевый отель.

Катя. Лучше дай денег.

Сеппо. Ну нету.

Катя. Должны быть. Через несколько месяцев в Питере настанет поздняя осень с пронизывающими ветрами, которые просто сводят с ума.

Сеппо. Давай договоримся, я дам тебе пятьдесят евро. Хотя нет. Я лучше дам тебе матрас, спи на полу.

Катя. А там не дует, на полу?

Сеппо. Дует, но не так сильно, как в России. (*Сеппо протягивает Кате булку.*) Извини, масла нет.

Катя. Расскажи мне, брат, какую-нибудь сказку.

Сеппо. Не буду. И помни, что на самом деле тебя здесь нет.

Сцена девятая

В *парке*

Хельми возвращается от врача. Сеппо ждет ее.

Хельми. Не подходи.

Сеппо. Мама.

Пауза.

Хельми. Ладно, иди сюда. Эх, не в отца пошли сыновья. Тайсто всегда выбирал прямую дорогу. Мы строили эту страну. Мы были добропорядочными социал-демократами... А ты? Скрывать от меня такое. Мать всегда мать, у нее не бывает ни отпуска, ни пенсии... хотя порой так хочется быть просто женщиной.

Сеппо. Кто мешает?

Хельми. Человек сам стоит у себя на пути. Ты еще ходишь в боулинг?

Сеппо. Уже нет.

Хельми. Я бы на твоем месте сходила. Сбила бы там все их... А как Пирьо поживает?

Сеппо. Какая Пирьо?

Хельми. Разве вы больше не встречаетесь? Ходили же вместе в театр.

Сеппо. Ну и что с того? Она была какая-то слишком уж простая.

Хельми. Пьеса?

Сеппо. Нет, эта Пирьо. Трещотка. Болтушка.

Хельми. Милая девушка. Такие красивые глаза! Словно озера. А ты все нос воротишь. Не подходят тебе ни цветочки, ни ягодки. Ходишь вечно с недовольной миной.

Сеппо. Было бы чему радоваться...

Хельми. Повернулся бы к свету, а то так и останешься. Чем ты хоть занимаешься-то, безработный? Сходил бы, что ли, в бар, проветрился. Нашел бы себе, как это теперь называется, герл-френд. Если не для души, так хотя б для здоровья. Хоть какое-то разнообразие в жизни.

Сеппо. Да была тут у меня одна... ночная гостья...

Хельми. Ну и?

Сеппо. Ушла утром. Одинокая такая, либо молчит, либо говорит гадости. Я обидел ее.

Хельми. За границей работал, а с женщинами общаться так и не научился. Все нос воротишь. Не подходят ни цветочки, ни ягодки.

Сеппо. Вот так вот, значит. День только начался, а ты мораль читать. Давай-ка я лучше провожу тебя до дома. Вернемся к этому разговору завтра.

Хельми. Ты все шутишь. Думаешь, у тебя много времени? Ошибаешься. Бродишь неприкаянный, но весна-то быстро пройдет — оглянуться не успеешь, а уж на голове два волоса и никаких желаний. Неужели тебе так опротивела эта жизнь?

Сеппо. Нет.

Хельми. А очень на то похоже.

Сеппо. Это похоже на всех финнов. Такая общегосударственная черта. Даже если бы в Финляндии нашли крупное нефтяное месторождение или она снова победила бы на Евровидении, выражение лица у финнов все равно не изменилось бы. Оно появилось еще задолго до нас и прирастало к лицам в течение многих лет. И ни у кого в мире нет такого выражения. Если я его поменяю, то нарушу основной закон страны. Это прописано у нас в конституции.

Хельми. Любая женщина устанет от таких речей. Слушай, ты только из чувства долга сюда пришел? Тогда лучше не надо, не ходи. Не старайся быть белым и пушистым.

Сеппо. Что-что?

Хельми. Не изображай тут из себя сиделку.

Сеппо. Я помогаю тебе, потому что мне самому этого хочется. Мама, у тебя есть какие-нибудь знакомые среди антикваров?

Хельми. Что?

Сеппо. Да вот фирму свою хочу открыть, буду работать на дому. Я вот уже и рекламки сделал: "Сеппо Куйтунен, реставратор". Дашь одну своему доктору?

Хельми. Как я мечтаю, чтобы ты позвонил и сказал, что не можешь зайти, потому что надо забрать младшенького из музыкальной школы.

Сеппо. Ну не начинай, а? Ты всегда, о чем ни начни, все об одном и том же. А я всю жизнь мечтал о том, чтобы открыть свою собственную реставрационную мастерскую... хотя бы маленькую,

метров в двадцать... хорошие инструменты... небольшой круг постоянных клиентов... и горячий кофе в подсобке. Ладно, извини.

Хельми. Не мешай все в одну кучу. У вас сейчас в жизни как раз середина. Половина позади, половина впереди. Надо смотреть и туда, и туда. Это тяжело. Но надо все успевать. Еще и я вам тут обузой.

Сеппо. Никакая ты не обуза.

Хельми. Обуза, сама знаю. Так, декорация для вас, живущих на авансцене. Старые люди — всегда для молодых обуза, с ними обращаются, как с детьми, смягчают тон при разговоре, о чем-то нарочно умалчивают. С подгузников все начинается и ими же заканчивается. Это я в больнице хорошо поняла.

Сеппо. Что-то у меня как будто плывет все перед глазами. Вот и брата своего, оказывается, совсем не знаю.

Хельми. А я и не хочу знать больше того, что знаю. Да и разве залезешь к другому в душу. Твой отец вон всегда приговаривал, когда лещей потрошил: "Посмотрим, что у него за душой". Но люди — это ж не лещи.

Сеппо. Угу.

Хельми. Может, и ты когда-нибудь поверишь?

Сеппо. В Бога?

Хельми. В жизнь, как когда-то в социализм. Вера — это не грех. Это такое отношение к жизни. А контрабанда — совсем другое дело.

Сеппо. Но ведь можно о ней никому не рассказывать.

Хельми. О контрабанде?

Сеппо. Да нет, о вере. Ну и о контрабанде.

Хельми. Что ж, всякое случается.

Сеппо. А не должно случаться.

Хельми. В жизни и не такое бывает. У нас в деревне один мужик плюхнулся на землю в самый неподходящий момент, в день своего шестидесятилетия. Он сидел на стуле с металлическими ножками, слушал поздравительные речи, как вдруг ножки стула не выдержали, и он растянулся посреди лужайки. А так как человек он был тучный, то подняться сразу не смог. Вот и получилось, что в речах возносили его до небес, что, мол, и человек замечательный, и добровольный пожарный, и руководитель хора, а он в это время на земле валялся. Оказалось, там у стула с ножками что-то было не так.

Сеппо. А-а-а.

Хельми. Так что не пытайся обмануть жизнь.

Сеппо. У тебя странная манера утешать.

Хельми. А я и не утешаю, я просто говорю. Часто даже и не думаю, о чем. А ты не бойся. Жизнь-то — она сильнее смерти. До смерти все успеется. Я вот и Пекке то же самое пыталась объяснить.

Сеппо. Ты о чем это?

Хельми. Да так, к слову пришлось.

Сеппо. О смерти?

Хельми. Нет, о жизни. Ну что, голова все еще кружится?

Сеппо. Кружится, а у тебя?

Хельми. А у меня уже нет.

Свет гаснет.

Сцена десятая

В *доме* Пекки *и* Элины

Элина нервно пишет письмо. Входит Пекка.

Элина. "Уважаемый социальный работник! Мы приняли решение отказаться от усыновления по следующим причинам..."

Пекка. Это вообще что такое?

Элина. "У нас плохая семья. Точнее, я плохая жена. Мой муж тоже, но я — особенно. Только я не уверена, что выбрала правильные слова".

Пекка. Что это?

Элина. "Плохой — это, конечно, слишком неопределенное слово, но как бы там ни было, у нас все не так, как надо. Мы ужасные эгоисты. Последний раз это стало очевидным, когда мы выгнали из дома единокровную сестру моего мужа. Точнее, выгнала я, но именно муж заставил меня сделать это". Интересно, там примут к рассмотрению такое корявое заявление?

Пекка. Не примут, потому что ты его не отправишь.

Элина. "Этот ребенок стал нам уже очень дорог, но ситуация настолько осложнилась, а потом еще и эта контрабанда..."

Пекка. Я ей снял квартиру на время.

Элина. "К тому же..."

Пекка. Катя все правильно поняла, дай сюда письмо...

Элина. "К тому же мой муж в его теперешнем состоянии может в любой момент об этом кому угодно проболтаться".

Пекка. Она просто устала с дороги, просила меня извиниться за грубость, передавала привет, обещала скоро зайти в гости, хочет спросить у тебя, где тут можно купить такие же сапоги, как у тебя. Все в порядке. Перестань.

Элина. "Все это свалилось на нас одновременно. А если еще и ребенок... Я не привыкла, мне так сразу все не решить..."

Пекка. Мы же столько раз уже ходили с ним в парк развлечений, катались на колесе обозрения, на каруселях, представляли, как его волосы будут щекотать нам щеки и как он будет прижиматься к нам,

разве ты не помнишь? Мы ведь не упустим этого шанса, не сделаем этой глупости.

Элина протягивает письмо Пекке. Он рвет его.

Свет гаснет.

Сцена одиннадцатая

В *доме* Сеппо

Пекка врывается внутрь. Сеппо шкурит деревянный стул.

Сеппо. Что ты там наплел Элине?

Пекка. Должен же я был что-то сказать! А Катя где? Трубку почему-то не берет.

Сеппо. Я же сказал уже: не знаю.

Пекка. Надеюсь, она к Хельми не пошла?

Сеппо. Да вряд ли, чего ей туда идти...

Пекка. Да, чего ей там делать...

Пауза.

Сеппо. Какая она, по-твоему?

Пекка. Да я толком еще и не понял... она вроде бы сестра, но в то же время какая-то совсем чужая. Попросила показать фотографии отца. Я все перерыл — нашел только эту.

Показывает.

Сеппо. Чего ж не отдал?

Пекка. Да ну, в этом тулупе, на льду с удочкой — чего тут интересного? К тому же он тут еще и спиной сидит. У тебя получше-то нет какой-нибудь?

Сеппо. Нет, это единственная.

Пекка. Как это?

Сеппо. А я вырезал его со всех фотографий.

Пекка. Зачем?

Сеппо. Это был знак политического протеста.

Пекка. Политического?

Сеппо. Да. А матери сказал, что коробка с фотками потерялась при переезде. Я его вырезал в тот год, когда СССР распался. Надо ж было хоть на ком-то отыграться. Ведь это отец заставил меня поверить в социализм.

Пекка. Ну ты даешь, свалил в одну кучу отца и развал Союза.

Сеппо. Зато ты теперь Бога суешь везде, где ни попадя.

Пауза.

Пекка. Ну да.

Сеппо. Именно поэтому я и вспомнил по Ивана. Смотри какой. *(Достает из кармана бумажник, быстро показывает фотографию.)* Питерский беспризорник, дитя Ладожского вокзала. Как бы мой подопечный.

Пекка. Понятно.

Сеппо. Это, конечно, только капля добра, если рассуждать глобально, так, мелкое шевеление на микроуровне, но все равно лучше, чем ничего... Награда за это — смотреть, как парень растет...

Пекка. Сеппо... Это здорово.

Сеппо. Ну, так хочешь помочь благому делу?

Пекка. М-м-м, может, попозже.

Сеппо. Вот так вот, каждый думает только о себе. А я уж было решил, что ты в самом деле в добродетель уверовал, а ты... ну да ладно.

Пекка. Чего ты отцовский стул-то шкуришь?

Сеппо. Хочу что-нибудь сделать из него. Хельми отдала его, из жалости, типа сделай хотя бы это.

Пекка. Так все и начинается.

Сеппо. Придет день, и я открою в Питере реставрационную мастерскую, и тогда все эти мальчишки, вроде Ивана, смогут научиться работать руками и тем самым обрести опору в жизни. Так что есть над чем подумать.

Пекка. На улице холодно, у нее хоть теплые вещи есть с собой?

Сеппо. Не знаю. (*Пауза.*) Так сколько дашь на Ивана?

Пекка. А сколько надо?

Сеппо. Сколько не жалко.

Пекка. Сколько не жалко! Это уже много.

Сеппо. В последнем письме Иван говорил, что хотел бы кроссовки, чтоб в футбол играть. Но я не настаиваю. Если что-нибудь услышу про Катю, сообщу. У нее кончики пальцев совсем были белые.

Пекка. Как это?

Сеппо. Ну не знаю. И лоб горячий, я потрогал.

Пекка. Неужели грипп? Ночью обещают заморозки.

Сеппо. Да, наверняка подморозит.

Пекка. Надеюсь, она найдется. (*Пауза.*) Ну да. А на Ивана-то все-таки сколько?

Сеппо. Сто евро.

Свет гаснет.

Сцена двенадцатая

В *парке*

Хельми гуляет. К ней подходит Катя, в руках у нее карта.

Катя. Простите, не подскажете, где находится Успенский собор, а то я его никак не могу найти на карте.

Хельми. Минуточку... вот здесь, но он, по-моему, закрыт на ремонт.

Катя. Ах, как жалко.

Хельми. А вы только ради этого приехали в Хельсинки?

Катя. Нет, не только, но мне очень хотелось его посмотреть. Его строили четыре года, и говорят, он очень красивый.

Хельми. Нам редко удается увидеть то, что хочется. Ну ладно, всего вам доброго!

Катя. Могу я вам помочь как-нибудь?

Хельми. Чем?

Катя. Держитесь за мою руку. Здесь такой сильный ветер. Хорошо хоть тротуары в Финляндии ровные.

Хельми. А где неровные?

Катя. В России. Я из Петербурга. По некоторым улицам ходить на каблуках просто опасно, такие ямы в асфальте.

Хельми. Вы хорошо говорите по-фински.

Катя. Мне так хотелось сюда приехать, что даже шестнадцать падежей не могли помешать.

Хельми. И как вам в Финляндии?

Катя. Сначала очень скучала, потом все ненавидела, а теперь уже ничего, даже нравится.

Хельми. Да что здесь, черт побери, может нравиться?

Катя. Такого синего неба нигде больше нет. Все оттенки синевы, просто удивительно.

Хельми. Хм. Россия, конечно, слишком большая, но если взять какой-нибудь небольшой кусочек, то его вполне можно понять. Я там часто вместе с мужем бывала.

Катя. Ему нравилась Россия?

Хельми. Что за крошки у вас на щеке?

Катя. Это не крошки.

Хельми. Болезнь нельзя запускать. Что это?

Катя. Хороший вопрос.

Хельми. В Финляндии, если политик говорит "хороший вопрос", значит, он не намерен на него отвечать. Ну ладно, не мое дело. Что вы намерены делать в Хельсинки?

Катя. Гулять. Здесь очень много интересного.

Хельми. А вообще? Что вы вообще собираетесь делать?

Катя. Почему вы об этом спрашиваете?

Хельми. Глядя на вас, я почему-то задумалась о том, что я в этой жизни упустила.

Катя. Да ладно вам. Мы же совсем не знаем друг друга.

Хельми. Это не важно. Сорок лет я думала, что хорошо знаю своих сыновей, но оказалось, что я ошибалась. Мы с вами раньше случайно не встречались?

Катя. Не думаю. Не хотите прогуляться со мной до Успенского собора?

Хельми. Зачем?

Катя. Мне было бы очень приятно.

Хельми. Ладно.

Катя. Тогда давайте знакомиться. Как вас зовут?

Хельми. Хельми.

Катя. А я Катя. У вас красивая прическа, Хельми.

Хельми. Чего нельзя сказать о твоей. Почему ты не расчешешься?

Катя. Расческу потеряла.

Хельми. Что ж, мы неплохо дополняем друг друга.

Катя. Хельми, вы бывали в Питере, когда на Неве начинается ледоход?

Хельми. Нет.

Катя. Этот звук сложно описать. Но его долго-долго ждешь — всю зиму.

Хельми. Вот как, что же это за звук?

Свет гаснет.

Сцена тринадцатая

Зал приходского дома

Пекка и Марти на занятии клуба игры на гитаре, играют.

Пекка. Если слишком сильно прижимаю, то струны вообще не звучат.

Марти. Соблюсти баланс между силой и нежностью не так-то просто.

Пекка. Ты пастор.

Марти. Ну да.

Пекка. И что ты обо мне думаешь?

Марти. Ничего.

Пекка. А в Бога ты веришь?

Марти. Конечно.

Пекка. Всегда верил?

Марти. Может, еще раз с последней цифры?

Играют. Пекка неожиданно останавливается.

Пекка. Прости. Но знаешь, лучше бы я там зайца увидел.

Марти. Где?

Пекка. Да, заяц был бы гораздо лучше. Понимаешь, все дело в стране. В этой идиотской гребаной стране, прости меня, ради Бога. То, о чем я тут в последнее время говорил, — да в России об этом запросто болтают мужики на улице. Но стоит только заговорить о Боге, например со своими коллегами в поезде, на тебя уже смотрят как на прокаженного.

Марти. Вера — это личное дело каждого человека. Не надо кричать о ней на всех углах.

Пекка. Да у нас тут в Финляндии куда ни плюнь, везде — личное дело каждого, именно поэтому все так одиноки. Здесь этого личного уже чересчур. Но вера меняет мир вокруг людей, она как любовь. А влюбленные могут изменить вокруг себя всех, целый подъезд, целый дом. И ты, как профессионал, должен это прекрасно знать. Но скажи мне, пожалуйста, вот что скажет Бог, когда увидит меня?

Марти. Вот так спросил! Очевидно, ничего не скажет.

Пекка. Но как же так? Неужели он такой же, как все финские мужики? Как мой отец. Такой же неразговорчивый. А как ты думаешь, все могут рассчитывать на его милость?

Марти. Вообще-то у нас урок игры на гитаре...

Пекка. А в конец света ты веришь?

Марти. Нет.

Пекка. А что скажет Бог, когда услышит, что я отбирал старинные иконы у глубоко верующих старушек?

Марти. Думаю, Бог в этом вопросе солидарен с правоохранительными органами.

Пекка. На Божьей шкале "плюс — минус", если брать только мои грехи, я, безусловно, в глубоком минусе и уже чувствую языки пламени у себя на спине. Ну почему Бог решил явиться именно мне? И разве можно такому ничтожеству, как я, доверить ребенка?

Марти. Бог всепрощающ.

Пекка. А можно еще пару вопросов, о нравственности?

Марти. Зависит от того, что за вопросы, я ведь тоже человек.

Пекка. Поэтому и спрашиваю.

Марти. Попробую по мере сил.

Пекка. Вчера во время проповеди ты сказал, что милость даруется страждущим, как первый весенний луч. Что это значит?

Марти. Именно то и значит.

Пекка. Но ведь это не значит ничего. Вот мы сейчас с тобой добрались до самой сути проблемы. Я говорю от чистого сердца. Уж лучше никак не утешать, чем пичкать людей глупостями и банальностями. Не сердись. Я работаю проводником в поезде и прекрасно знаю, что такое монотонная работа. Я часто проверяю билеты совершенно равнодушно и ничего близко к сердцу не принимаю.

Марти. Проповедь о милости Божьей и проверка билетов в поезде – далеко не одно и то же. Милость – это ключевое понятие в христианстве.

Пекка. Ну вот, опять... Я просто хотел, чтоб ты понял, как же это называется... ну да ладно...

Марти. Тогда до следующего раза...

Тишина. Марти собирается уходить. Пекка перебирает струны гитары.

Пекка. А ты всегда верил?

Марти. Во что?

Пекка. Да ладно тебе!

Марти. В Бога? Но это мое личное дело!

Пекка. Но ведь для тебя это еще и профессия.

Марти. В данный момент я не на службе.

Пекка. Но ведь сердцу-то не прикажешь! Как бы я хотел относиться ко всему так же, как ты! Все было бы намного проще!

Марти. А как я отношусь?

Пекка. Тихо. Спокойно. В общем, cool.

Марти. Что?

Пекка. Это от английского, значит "прохладный". Такие вот прохладные наблюдатели самые отвратительные, ни то ни се, глядят со стороны и смеются над теми, кто попал в эпицентр урагана.

Марти. У нас в деревне был один каменщик, я работал у него подмастерьем. Знаешь, наверное, что каменщиков называют королями строителей. Но этот был еще почище, он вообще считал себя Иисусом. Заберется, бывало, на стремянку, раскинет руки в стороны и говорит: мальчик мой, ты должен сложить из кирпичей столбики до самых моих рук, чтобы мне не пришлось опускать руки, когда нужно взять кирпич. А еще он сказал: я теперь как Иисус на кресте, с той разницей, что в Пасху я буду ездить на своем "вольво", а Иисус до Пасхи так и не дожил. Такой вот каменщик был у нас в деревне.

Пекка. Зачем ты мне это рассказал?

Марти. Потому что ты очень похож на того каменщика. В плане духовном.

Из другой комнаты слышен голос Карины.

Карина. Марти, ты идешь?

Марти. Иду!

Пекка. Кто это тебя зовет?

Марти. Да так. Ты понял, что я тебе сказал?

Пекка. Судя по выражению лица, этот человек не просто "так", а кто-то очень важный. Или я ошибаюсь? Кольца ведь обручального на тебе нет.

Марти. Это тебя не касается.

Пекка. Все еще не нашел ту единственную и неповторимую?

Марти. Нет... И вообще, я сказал, это тебя не касается.

Пекка. А с Богом у тебя такие же отношения? Иногда ведь хорошо потрепаться, потусоваться. Бог — это хорошее решение. Просто отличный выход.

Марти. Что? Да это, вообще, моя жена... бывшая... хотя зачем я тебе это говорю.

Пекка. Вот-вот, давай-ка и поразмыслим.

Слышен голос Карины.

Карина. Марти!

Марти. Иди, иди! Я догоню. (*Пекке.*) Знаешь, где находится Антинпохья?

Пекка. Нет.

Марти. У нас там в следующем месяце будет интересный семинар. О сущности веры. Приходи.

Пекка. Ничего себе, вот это честь! Не ожидал, что мы станем такими друзьями... Спасибо, приду с удовольствием, можем даже на моей машине поехать.

Марти. Тема семинара что-то типа "Черт побери, я же верующий". Сможешь во всей красе продемонстрировать там силу своей веры. Может, почерпнешь что-нибудь новое для себя.

Пекка. Хочешь сказать, что встречу там тех, чья вера ровна и непоколебима, а все проблемы сводятся лишь к тому, сочетается ли ковер в гостиной с цветом дивана. Так, что ли?

Марти. Нет. Я хотел сказать, что это будет просто открытый разговор о том, как на самом деле проявляется вера в Бога.

Пекка. Ну уж если заговорили о практике, то у меня есть к вам вопрос в связи с братом. Он сейчас временно без работы. Не нужны ли вам опытные водители, хорошо знающие Петербург? Вы ничего в Россию не отправляете, одежду там, гуманитарную помощь? Ведь у вас же есть какие-нибудь международные программы, субсидии и так далее, может, он вам пригодится там? В контексте общей глобализации. А то все заботы сейчас только о тех, кто далеко, тогда как и на ближних иногда не мешало бы оглянуться.

Марти. Посмотрим.

Пекка. Ну вот и отлично.

Марти. Мне пора.

Пекка. Я, наверное, не совсем те слова подобрал.

Марти. Разве дело в словах? Содержание-то ведь было верным?

Пекка. Да ничего подобного! Хочется рассказать, но не рассказывая. Хочется все изменить, ничего не меняя. Хочется плакать, но чтоб не плача. Просто голова раскалывается. Много лет я ездил на поезде и думал, что же со мной такое. Даже Сеппо вон с горящими глазами носился со своим социализмом, верил в него, как в мессию. А я все это время катался взад-вперед на поезде между Питером и Хельсинки, чух-чух, чух-чух, чух-чух, ту-тууу, Никчемный Пекка... Но ведь не для того человек живет, чтобы только есть, пить, спать, испражняться, ведь должно же быть еще что-то! Душа! Где она? В животе? Давно уже хочется вскрыть этот живот и посмотреть, там она или нет. Что такое душа, вот скажи мне. Или это тоже личное дело каждого?

Тишина.

Марти. Мне надо идти.

Марти уходит. Пекка перебирает струны на гитаре. Через мгновение Марти снова возвращается.

Марти. Да, еще пару слов о том каменщике.

Пекка. Пожалуйста. Может, пойдем куда-нибудь втроем?

Марти. Исключено. Так вот, он был хорошим ремесленником, этот наш Иисус, вот только со временем все ученики покинули его. Общины не получилось.

Пекка. Я не боюсь остаться один, если ты вернулся, чтобы рассказать именно об этом.

Марти. Не об этом. Просто шапку забыл.

Пекка. Но ведь признайся, наш разговор тебя зацепил. Кровь забурлила, чувства взыграли!

Марти. Если разговор — это когда два человека сидят друг напротив друга и каждый говорит о своем, то тогда да, пожалуй, это был разговор.

Пекка. Слово — наш инструмент для постижения истины.

Марти. Твой инструмент — это аппарат для проверки билетов.

Пекка. Компостер оставляет след на билете. Твое слово тоже должно оставлять какой-то след в душах прихожан, но ведь ты же не веришь!

Марти. Я в тебя не верю!

Пекка. Ты в человека не веришь!

Марти. Зато ты стоишь сейчас на высокой горе и творишь суд над живыми и мертвыми.

Пекка. Я имею право высказать то, что у меня на сердце!

Марти. Говори, но не надо такого пафоса!

Пекка. Почему вера стала для тебя такой больной темой? Может, потому, что появилась как бесплатное приложение к курсу теологии, — что-то вроде подарка в виде колбасы всем покупателям раскладного дивана, помнишь, была такая кампания в семидесятых.

Марти. Я пришел к вере неслучайно. Я сделал осознанный выбор, и ты себе даже представить не можешь, как сложно порой бывает ее не потерять!

Пекка. Пожалуй, выучу-ка я для начала эти аккорды.

Марти. Ладно. До следующего раза.

Марти уходит.

Пекка. Шапку забыл.

Марти. Она у меня в кармане.

Пекка. Cool.

Марти. Что?

Пекка. Ничего.

Марти останавливается в дверях.

Марти. Твоя жена заходила. Она решила выйти из церкви. Это как-то связано с твоими признаниями?

Пекка. Что?!

Марти. Твою жену зовут Элина Куйтунен, так? Неделю назад она пришла и заявила, что отрекается от церкви, от религии и от всего, что с этим связано.

Пекка. Ничего не понимаю...

Марти. Похоже, что у вас в семье что-то неладно...

Пекка. Она назвала какую-нибудь особую причину?

Марти. Я точно не помню, но почему-то в голове у меня все увязалось с этими твоими последними откровениями...

Пекка. Я еще, пожалуй, немного поиграю.

Марти уходит.

Сцена четырнадцатая

В *ресторане*

Марти и Карина.

Карина. У тебя появилась перхоть.

Марти. А у тебя новый свитер.

Карина. Японский.

Марти. Красивый. Тебе идет.

КАРИНА. Думая о Японии, я забываю о Финляндии и о работе. Суши, саке, суп-мисо, понятие о чести. Такой стиль жизни придает немного иной смысл существованию. И спальный район Мартинлааксо на мгновение становится как будто кусочком Токио. Но о чем это я... Спасибо. Год назад ты бы даже и не заметил.

МАРТИ. Готов признать вину.

Карина протягивает ему меню.

КАРИНА. Есть даже утка по-пекински.

МАРТИ. Слушай, хотел спросить про Куйтуненов. Их дело, оно ведь у тебя в рассмотрении? Элина и Пекка?

КАРИНА. А что с ними?

МАРТИ. Не позволяй им брать ребенка.

Свет гаснет.

Действие второе

СЕППО выходит на сцену с письмом в руке.

СЕППО. "Dear Sponsor! I am awfully happy for the money you send me. My new football shoes are shiny and they give the opportunity to play with the other boys in team. My family send you my best regards. The weather here in Saint Petersburg is cold but I always hope the best. Your monthly payment is like a gift from God to us. And in my next letter I will send you a photo from my family, who will think you with great respect always. Love, Ivan"[1].

Сцена пятнадцатая

В *доме* Пекки *и* Элины

ЭЛИНА. Смотри, какую юбку я купила Кате, лиловую, передашь ей?

ПЕККА. Угу...

ЭЛИНА. А где она живет и почему к нам не заходит? Я ей вот еще носки приготовила. Какой у нее адрес?

ПЕККА. Улица Калониуса или Сигнеуса... Вот голова, записал в ежедневник и на работе его оставил... но она передавала большой привет.

ЭЛИНА. Она нашла работу?

1. "Дорогой спонсор! Я ужасно рад деньгам, которые вы мне прислали. Мои новые кроссовки для футбола очень классные, и теперь у меня будет возможность играть в команде с другими ребятами. Моя семья также шлет вам приветы. Погода здесь в Санкт-Петербурге холодная, но я всегда надеюсь на лучшее. Ваше ежемесячное пособие как Божий подарок для нас. В следующем письме я пришлю вам фото моей семьи, они вас очень уважают. С любовью, Иван" (*искаж. англ.*).

Пекка. Нашла, нашла. Тот фармацевтический завод, который уже почти закрыли, решили вдруг объединить с другим заводом, так что нашла.

Элина. А как фирма-то называется? Туда же можно позвонить.

Пекка. Я уже звонил туда утром, но у них там телефоны сейчас всем меняют, поэтому все отключено. Хотят, чтобы все номера начинались с десятки, странные какие-то...

Элина. Но ведь хоть какой-нибудь же номер должен работать...

Пекка. Сегодня ничего не работает.

Элина. Но...

Звонок в дверь. Пекка идет открывать.

Элина. Пекка, не забудь. Ни слова о Боге.

Пекка открывает дверь. Входит Карина.

Карина. Добрый день.

Элина. Добрый день.

Пекка. Здравствуйте.

Карина. Это снова я.

Пекка. Да, и с еще более серьезными вопросами.

Элина. Кофе?

Карина. Я очень удивилась, когда увидела вас в одной комнате с Марти.

Элина. Где?

Пекка. Где?

Карина. В приходском доме.

Пекка. Это было вынужденно.

Элина. О чем это вы говорите?.. Ты был в церкви?..

Пекка. К сожалению, в церкви непростительно мало говорят о переутомлении на работе. Может, сначала все же кофе?

Карина. Вы, как я поняла, занимаетесь поисками некой истины.

Пекка. Да, и этот поиск уже показал, насколько призрачно наше существование. Мы держимся за мир вокруг нас крошечными и слабыми пальцами. И вот уже асфальт, по которому мы идем, превращается в болото. Целые государства уходят в небытие, бесследно исчезая в тонких зарослях вечности. Взрослый — это дерево, а ребенок — воробышек. Он прилетает к нам лишь на мгновение, чтобы спеть свою песенку и умчаться вдаль вместе с ветром.

Элина. Да иди ты знаешь куда, Пекка! Простите меня.

Пекка. А что такого?

Элина. Пошел ты к черту со своими воробышками! "Крошечные и слабые пальчики"! Лети ты знаешь куда! Хоть с ветром, хоть без ветра! Только я тебе не дерево!

Карина. Вы не возражаете, если мы перейдем к основному вопросу?

Элина. Я схожу за водой. А хотя нет, не пойду.

Пекка. Да иди, иди.

Элина. А может, пива? Что скажете, Карина?

Карина. Почему бы нет?

Пекка. Боюсь, что пиво кончилось.

Элина. Не говори ерунды, у нас им все шкафы забиты. Чего желаете: пива, водки или, может, домашнего вина? Водки? Пожалуйста. Я тоже последнее время читаю духовную литературу. Там очень интересные мысли, ей-богу, такие простые и ясные выражения, что совершенно очевидно — никто из писавших эти тексты никогда не нарушал никаких заповедей, но зато на каждой второй странице всем даруется милость и прощение. Вам со льдом?

Карина. Спасибо.

Пекка. А льда-то и нет.

Элина. Ну разве можно жить с таким мужем. Это же сплошное наказание. Даже секс превратился для него в нечто, исполненное нового смысла. Нет больше прежней страсти — увы! А ведь я помню, как Пекка без лишних разговоров меня и спереди, и сзади, и сбоку, и даже на кухне. Теперь же он вежливо интересуется, можно ли ко мне прикоснуться и как именно. Словно из него ушла душа, хотя он и твердит без конца, что только сейчас ее и обрел. А в сексе не нужна вежливость!

Пекка. Схожу-ка я за сахаром.

Элина. Принеси водки! И я прошу тебя, лучше уж будь пьяницей! Пьяницу гораздо проще понять, чем верующего: пьяница пьет все что ни попадя, а верующий верит в то, чего не существует.

Пекка. Я пошел за сахаром.

Элина. Нет, не уходи. Вопросы твоей веры никак не связаны с нашим ребенком, не должны быть связаны!

Пекка. Шлюха! Ты отвергла церковь.

Элина. Это мое дело, а не Бога! Нет никого, кто выше или ниже нас, все мы равны, как учил нас Вяйнё Линна![1]

Пекка. Но ведь есть же некое духовное начало. И я просто стараюсь придать духовному материальное обличие. Воплотить в делах.

Элина. Лучше мусор вынеси. Твоя вера — кусочек колбаски на корку хлеба. Вместо нее могло быть все что угодно — хоть курс йоги, хоть партийный съезд. Партия, наверное, даже лучше. Обошлось бы первомайским шествием.

Пекка. Но духовное прозрение помогает мне видеть неповторимость всего существующего.

Элина. Да, да, конечно. У тебя стало слишком много свободного времени, это и привело тебя к Богу!

1. Вяйнё Линна (1920–1992) — финский прозаик, пользовавшийся широкой известностью после Второй мировой войны.

Пекка. Ну как ты не можешь понять?! Мои глаза раскрылись! То, что раньше было для меня безразличным и неживым, сейчас стало подлинной ценностью. Мох — это волосы камня. Я теперь по-другому смотрю на голубей. Это дети торговой площади.

Элина. В задницу голубей!

Пекка. Нет, не в задницу!

Карина. Как же это верно! Отношения в семье должны строиться на подлинных чувствах, на страсти, а не на заботах о том, как бы купить чего подешевле. Ссора, как летний ветер, распахивает окна, позволяя свежему воздуху проникнуть внутрь. Ведь это от одиночества он кладет в пекинскую утку так много сахара? Точно так же душевнобольные заедают свою депрессию селедкой. "Подбросьте жару, Карина и Марти! Что вы дуете на уже остывшие угли?" Даже самая плодородная почва превратится в бесплодный песок, если вовремя не удобрять ее. "Отношения взрослых людей", "Мирный развод", "Останемся друзьями". А я еще тут пытаюсь строить из себя судью, решая, можно ли отдать ребенка в ту или иную семью, тогда как молодежь, вместо того чтобы делать детей для нашей прекрасной родины, слоняется по модным бутикам в поисках стильных аксессуаров. Конечно, разве их волнует тот факт, что лет через сто Финляндия станет своего рода санаторием для НАТО? Да и вся эта система усыновления — сплошные палки в колеса: может ли усыновителем быть одинокий человек, достаточно ли в семье средств, чтобы содержать ребенка, и так далее и так далее, а у этого ребенка где-то там, Бог знает где, может, и надеть-то нечего — голый да босый. Вот и я такая же.

Пауза.

Пекка. Схожу-ка я все же за сахаром.

Элина. А как же в следующий раз?

Пекка. Через две недели?

Карина. Да.

Пекка. Что-то грибов в этом году совсем нет.

Карина. До свидания.

Элина. До свидания.

Пекка. До свидания.

Свет гаснет.

Элина. Нет, я совсем не крутая. Не умею танцевать до упаду, до изнеможения. И при этом все время думаю: раскройся, освободись, зачем сдерживаться? Я сказала как-то своему ученику, когда мы стояли на перекрестке в Лаясало: езжай, куда хочешь, хоть в стену вот этого банка. Потом пришлось угостить его гамбургером, чтоб он не проболтался директору автошколы. Я вынуждена была потом сказать ученику, что это она меня испытывает. "Кто она?" — спросил ученик. "Любовь", — сказала я. Точнее, Пекка. Пока любовь и Пекка — это для меня одно и то же, но все будет хорошо. Понимаешь ли ты, о чем я?

Сцена шестнадцатая

В *церкви*

Хельми и Катя.

Хельми. Ты так смешно накручиваешь волосы на палец, прямо как мой муж. Он тоже так делал, когда бывал в хорошем настроении.

Катя. А зачем мы сюда пришли?

Хельми. В этой церкви мы венчались. Ты же хотела ее увидеть. А потом сама говорила, что солнце не любишь.

Катя. Да я только яркого солнца не люблю.

Хельми. Почему?

Катя. Он здесь сделал вам предложение, да?

Хельми. Нет, предложение он сделал в булочной.

Катя. А как, в каких словах?

Хельми. "Хельми, давай сделаем из двух три!"

Катя. Что это значит?

Входит Сеппо с большой охапкой одежды.

Хельми. Сеппо!

Пауза.

Сеппо. Мама?

Хельми. Вот, это моя новая знакомая.

Катя. Хельми, пойдемте лучше в кафе.

Хельми. Ее зовут Катя.

Катя. Да, меня зовут Катя. А вас, по-моему, Сеппо?

Хельми. Сеппо — мой младший. Обычно в таких случаях говорят "хороший мальчик", но я скажу "просто Сеппо".

Катя. Приятно познакомиться!

Сеппо. Привет. Кхе... А почему вы...

Хельми. ...здесь? Пекка сказал, что тебя можно именно здесь найти.

Сеппо. Пекка?

Катя. Мы случайно встретились с Хельми в городе.

Сеппо. Случайно?

Хельми. Очень приятно пообщаться с кем-нибудь помимо собственных детей и медперсонала. Я в людях не ошибаюсь, если они чужие. А в своих ошибайся не ошибайся — ничего уже не поделаешь.

Пауза.

Хельми. Сеппо сейчас безработный, поэтому такой мрачный. Вообще-то он очень открытый и приветливый.

Сеппо. Ладно, я спешу.

Хельми. Я тоже, учитывая, что мне вообще уже недолго осталось. Ну, как тебе Сеппо?

Катя. Так вот почему... Что ж, посмотрим, посмотрим.

Хельми. Крепкий мужик, только вот постель пуста. А я беспокоюсь, переживаю за него.

Катя. Такова материнская доля.

Хельми. Не нравится мне такая доля.

Катя. Жизнь не спрашивает, что нам нравится, а что нет.

Хельми (*обращаясь к Сеппо*). Она такая очаровательная! "Кокоа коко кокко..." Родом из Петербурга. Мой любимый город. Хотя я, конечно, нигде, кроме Петербурга и Коуволы, и не бывала. Да и в Коуволу-то поехала только потому, что муж моей сестры лежал там в больнице, у него был рак селезенки.

Сеппо. Я действительно очень спешу. Машина с гуманитаркой должна уйти сегодня...

Хельми. В Коуволу?

Сеппо. Нет, в Питер! Прости, у меня ни минуты нет сейчас свободной, а потом мне еще в Волхов ехать. До свидания!

Хельми. Постой хоть немножко с Катей, пока я в туалет отлучусь. Может, поговорите.

Хельми уходит.

Сеппо. Вы правда случайно встретились?

Катя. Нет.

Сеппо. Чего ты хочешь?

Катя. Ничего, что могло бы тебе повредить. Зачем ты едешь в Волхов?

Сеппо. Везу туда часть гуманитарки.

Катя. А обратно?

Сеппо. Ничего.

Катя. Через кого вы теперь дела проворачиваете? Меня же нет.

Сеппо. Перестань!

Катя. Эх, братишка. С золотых куполов ты вновь угодишь в яму.

Сеппо. Двадцать квадратных метров по периметру и свежий кофе в подсобке, разве мне слишком многого хочется? Коммунисты всех обеспечивали рабочими местами, что бы о них ни говорили. Моя жизнь сейчас — одна сплошная беготня по подработкам.

Катя. Для вас, финнов, пятнадцать минут нестабильности — уже стресс.

Сеппо. Для кого-то и пятнадцать лет. Который раз все рушится, и надо заново начинать. Но при этом земля не перестает вращаться и облака бежать по небу. Что тут сделаешь.

Катя. Во всяком случае, не надо делать того, что ты задумал.

Возвращается Хельми.

Хельми. Похоже, я не вовремя. Вы в этом освещении похожи на героев какой-то сказки. Принц и принцесса.

Сеппо. Меня страждущие ждут. До свидания.

Хельми. Как же так, уже и до свидания? Вы хоть телефонами обменялись?

Катя. Обменялись, обменялись.

Хельми. Ты, Сеппо, шустрый парень. Сейчас ты очень похож на отца, всем помогаешь, как будто конец света вот-вот настанет. Именно вот так, высунув язык, он собирал вам те двести тысяч, что оставил в наследство, очень спешил, даже мотор от лодки и тот продал, правда, он был уже давно неисправен, но покупатель все равно нашелся...

Сеппо. Да, да, да, да, мама! Но ты зря стараешься, у нас ничего не выйдет.

Хельми. Почему это?

Сеппо. Потому что мы с Катей — как Финляндия с Россией. Всё, прощайте!

Катя. Сеппо, подожди.

Сеппо уходит.

Хельми. Ничего, он еще вернется. Ты запала ему в душу.

Катя. Почему твой муж тогда так торопился?

Хельми. Торопился?

Катя. Собрать наследство.

Хельми. Да потому что они упекли меченого куда подальше, а сами во главе с беспалым забрались на танк и ну орать благим матом!

Катя. Не поняла.

Хельми. Детка, да страна твоя тогда развалилась.

Катя. И что, Союз развалился, и потому Тайсто решил срочно сколачивать наследство?

Хельми. Он испугался. К этому меченому, ну к Горбачеву, уже как-то успели привыкнуть, он спокойный был, а потом появился этот беспалый...

Катя. Ельцин?

Хельми. Вот-вот. Глаза зальет и давай руками размахивать, а в руках-то оружие. Вот Тайсто и испугался, что такие полезут через границу, стал копить деньги на черный день для самых дорогих и любимых. Чудак! Потом, правда, понял, что зря боялся, успокоился, да вот умер, когда лампочку менял. Так что, Катя, не стоит покупать табуретки на распродаже. Так здорово, что можно поговорить о Тайсто с незнакомым человеком.

Катя. Да-да.

Хельми. Да у тебя жар.

Катя. Нет.

Хельми. В тебе точно есть финская кровь.

Катя. Почему?

Хельми. Ты не хочешь говорить о том, что тебя беспокоит.

Катя. Да говорю я, с чего вы взяли?

Хельми. Похоже, я тебе надоела...

Катя. Нет.

Хельми. Точно, точно. Зачем я тебе сдалась, ты молодая девушка, у тебя впереди светлое будущее, а я тебе про погреб с картошкой. Пойду-ка я лучше домой.

Катя. Хельми, не уходи...

Входят Пекка и Элина.

Хельми. А вот и еще один сынок!

Пекка. Привет.

Элина. Катя! Я скучала по тебе, вон даже носки тебе связала. Почему ты к нам не заходишь?

Хельми. Вы знакомы?

Пекка. Нет, в принципе. Так, однажды встречались где-то...

Катя. На приеме в обществе дружбы Финляндии и России.

Пекка. Точно.

Хельми. И ты сразу решила связать ей носки? Ты же никогда раньше не вязала?

Катя. Элина, проводи Хельми до такси, мы сегодня так много гуляли, что она, наверное, очень устала.

Элина. Да-да, такси.

Катя. Я собиралась зайти и забрать носки. Очень рада встрече! Мы ведь, кажется, собирались сегодня куда-то поехать. Поехать, да... Куда же поехать?..

Пекка. В Фискарс.

Катя. Там, наверное, очень красиво.

Хельми. Вот и хорошо, что у тебя теперь есть компания.

Элина. Пойдем, Хельми.

Хельми. Здесь сегодня собрались все, кто мне очень дорог, только Сеппо, к сожалению, уехал. Ах, Пекка, наконец-то ты пришел в нужное время в нужный час, и даже Элина без пылесоса. Позаботьтесь хорошенько о моей подруге, она просто прелесть, и даже больше.

Элина уводит Хельми.

Пекка. Сеппо позвонил и сказал, что ты здесь. Я прошу тебя от себя и от имени брата, оставь нашу мать в покое.

Катя. А где недостающие семь тысяч? Или семнадцать? А может, пятьдесят семь? Я получила в наследство от Тайсто три тысячи, ты принес их в конверте, подписанном твоей рукой. А где остальные двадцать семь?

Пекка. Что за торговля?

Катя. Назовем это масштабным розыском. Что прошептал тебе Тайсто перед смертью?

Входит Элина.

Элина. Тебе понравилась юбка, что я тебе послала?

Катя. Юбка? Я ничего не получала. Так, где же мои шестьдесят семь тысяч?

Пекка. Нам пора домой. Приходи к нам завтра после работы, у нас на ужин запеченная рыба.

Элина. Как это не получала? И что это за цифры ты тут называешь?

Пекка. В евро или марках? В марках или рублях? Поговорим об этом завтра за ужином. Элина, там открылся новый обувной магазин, даже кофе угощают, если покупаешь что-нибудь.

Катя. Сука, вот ты кто! Я все знаю!

Элина. Что она говорит?

Пекка. Что завтра увидимся.

Катя. Да пошел ты! Встретимся в аду.

Элина. Извините, что?

Пекка. Эта женщина — сумасшедшая, бред несет какой-то. С ней надо поосторожней. Пойдем!

Входит Марти, за ним идет Карина.

Карина. Марти, не уходи от ответа, нельзя же сравнивать отношения двух людей с греблей на байдарке!

Марти. А я никого ни с чем не сравнивал, и что тут вообще за шум?

Пекка. Ничего, мы уже уходим.

Элина. Карина?

Карина. Надо же, дорогие сердцу Куйтунены. (*Элине.*) Добрый день.

Элина. А это единокровная сестра нашего Пекки.

Катя. Здравствуйте. Я чувствую себя немного не в своей тарелке и говорю не как юрист, а как возможная родственница. Я разговаривала сейчас с твоей матерью, нет, не о родстве, но она упомянула некую сумму. Тайсто умер и оставил в наследство своим детям двести тысяч марок. Не перебивай. Сто тебе, сто Сеппо и три тысячи мне. Следовательно, изначально сумма наследства составляла двести три тысячи марок, так? Или нет? Расскажите мне. Для ребенка в СССР эта сумма была неслыханной, но теперь при но-

вом капитализме эту жалкую бумажку можно засунуть разве что комару в задницу, уж простите. А потом мне все-таки очень хотелось бы узнать, что же такое именно мой отец Тайсто прошептал тебе перед смертью. Что мне полагается три тысячи? Разве вас этот вопрос не интересует? Я не обвиняю и не требую денег, мне даже не надо говорить, что сумма на самом деле была больше. Я чувствую это. Так что, золотой мой, не надо врать, терпеть я этого больше не стану.

Пекка. Ох, ох, сколько слов! А мы, между прочим, находимся в Божьем храме!

Катя. Может, я и ошибаюсь, извини, конечно. Я без денег и я в отчаянии, типично русская ситуация.

Пекка. Хорошо, хорошо. Но, может, мы все-таки пойдем домой?

Элина. Нет, нет, все это, слава богу, не касается основного нашего вопроса.

Пекка *(Кате)*. Это дама из соцслужбы, она решает вопрос об усыновлении.

Элина *(Карине)*. Сестры и братья все время ссорятся.

Карина. Я сейчас не на службе.

Элина. Вы — хороший человек, Карина. Пойдемте с нами. *(Пекке.)* Ты так и не передал ей лиловую юбку. *(Кате.)* Катя, ты все еще работаешь на том фармацевтическом заводе?

Катя. Это твой муж тебе сказал, да?

Элина. Да.

Катя. Значит, так оно и есть.

Пекка. Это как раз те вопросы, на которые сложно получить однозначный ответ.

Марти. Почему сложно? Ты работаешь на заводе?

Катя. Нет.

Марти. Ах, вот оно что!

Пекка. Тебя это не касается!

Марти. Сумма наследства была больше?

Пекка. Нет. Пойдем же, Элина. Нам еще в обувной магазин надо зайти.

Марти. Вы собрались в "Плацу"? Что ж, пойдемте все вместе, там по дороге есть банк, заглянем, проверим последние счета Тайсто, а потом купим всем по паре тапочек.

Элина. Хорошая идея.

Пекка (*обращаясь к Марти*). Как ты можешь во мне сомневаться? Неужели и правда пойдешь в банк?

Марти. Так что же прошептал тебе Тайсто?

Пекка. Имя выучил и считаешь, что вправе теперь учинять здесь судилище? Ты не веришь ближнему своему, не веришь члену своей общины.

Марти. Вера ежедневно подвергается испытаниям. Так что тебе прошептал отец?

Пекка. Он прошептал: "Убей пастора!".

Пауза.

Марти. Ну вот и отпала нужда идти в обувной.

Пекка. Да что ты знаешь о годах кризиса, ты, пастух пребольшого церковного стада, они тебя вообще никак не коснулись! А я, между прочим, все это время жил в страхе, что завтра меня уволят, потому что государство делало все что хотело.

Катя. Теперь и я понимаю. В такой ситуации как не воспользоваться удобным моментом!

Пекка. Вот именно! Вы только послушайте ее! Государства — они же как материки. Когда они приходят в движение, людей просто перемалывает, словно в мясорубке. Бессмысленно отсылать сто тысяч марок несовершеннолетнему ребенку, чья мать совершенно не знает цены деньгам.

Катя. Моя мама никогда не была транжирой, скорее наоборот. Сто тысяч. Надеюсь, вы по-братски их разделили?

Пекка. Тут у нас что, судебное разбирательство, что ли?

Катя. У кого-нибудь есть телефон?

Пекка дает телефон, Катя отходит в сторону, звонит.

Пекка. Эти деньги в полной сохранности, долгосрочный депозит. На всякий случай. В носке. На черный день. Про запас... Что вы вообще пристали?

Марти. Тогда отдай их ей.

Карина. Марти!

Пекка. Вот именно, шел бы в свою ризницу.

Элина. Ты говоришь про детский счет? Эти деньги уйдут теперь Кате? На детском счете Катины деньги?

Пекка. Не ори, я у нас счетовод! Это деньги на черный день! Неужели вы не понимаете, олухи, что цены на квартиры все время ползут вверх. Рабочие места — иллюзия, мыльные пузыри, сегодня есть, завтра нет! Придет день и Катя получит свои деньги. У нас будет ребенок, Катя устроится на работу, все войдет в свою колею, все наладится, только не надо спешить, дайте мне спокойно во всем разобраться, кому и в каком порядке я должен раздавать мое добро!

Марти. Теперь ты снова на высокой горе, а все остальные у ее подножья, словно муравьи.

Пекка. Слышь, ты, гуманист хренов, кого цитируешь, не себя ли?

Марти. Ты окажешь большую честь нашей общине, если покинешь ее.

Пекка. Было бы что покидать, а то тоже мне — община! Укрытие от дождя для атеистов среднего класса... Приходят по воскресеньям, чтобы повторить вслед за тобой ничего не значащие распевы да

послушать отрывки из Посланий к Коринфянам... Трутся спинами о деревянные скамейки да тайком поглядывают на часы, скоро ли эта "проповедь" закончится... Если это община, то я Мартин Лютер Кинг. Давайте, девчонки, устроим в церкви дискотеку, как в добрые советские времена. (*Начинает танцевать.*) "Милость, милость, отпущение грехов, милость, милость, отпущение грехов". Что говорить, лютеране уже давно пытались перенять красочность православия, а скоро, глядишь, вообще облекут слово Божье в более современную визуальную форму — этакий Христос в неоновых огнях. Правильно! Давайте сделаем из церкви мультикультурный и многофункциональный центр. А те, кто сегодня собирают пожертвования, будут завтра продавать билеты у входа: "Вам в бар милосердия или на завтрак к великому грешнику?"

МАРТИ. Ты, Пекка, похоже, только и ждешь того, чтобы я тебя ударил. Но я не ударю, мне не за что тебя бить.

ПЕККА. Конечно, ты ведь стоишь перед лицом ближнего своего.

КАРИНА. Сволочь!

Карина дает Пекке пощечину.

МАРТИ. Теперь уж я тебя точно отсюда вышвырну!

Марти хватает Пекку за грудки.

МАРТИ. Исчезни, скотина!

Открывает дверь и вышвыривает Пекку. Пекка спотыкается и падает на землю. МАРТИ и КАРИНА уходят. Элина поворачивается и тоже собирается уходить. Катя сидит в стороне, сжимая в руках телефон.

ЭЛИНА. Носки, что я тебе связала, они все еще у нас.

КАТЯ. Какие носки?

ЭЛИНА. Что с тобой?

КАТЯ. Вдруг нехорошо стало, но уже полегчало.

ЭЛИНА. Куда ты звонила?

КАТЯ. Пограничникам.

ЭЛИНА. Зачем?

КАТЯ. Прямо нечеловеческая боль.

Катя падает. Элина подхватывает ее.

Сцена семнадцатая

В *церкви*

МАРТИ обращается к прихожанам.

МАРТИ. Братья и сестры! Сегодня я должен был говорить с вами о Божьей милости, но жизнь внесла свои коррективы и спутала мои планы. Я всего лишь груда костей, воды и мяса, а Библия всего

лишь бумага. И это не проповедь, а скорее это признание. Увы, в Великой Книге не нашлось отрывка, который был бы уместен в данном случае.

Мне нелегко говорить. Я чувствую себя не человеком — былинкой на ветру.

Я всегда думал, что имею реальное представление о том, что это за работа, я знал, какое поле мне предстоит возделывать. Но слова — они как песок. Ими можно прикрыть все что угодно. Однажды я присутствовал на похоронах одного работника налоговой службы. Да простят меня его друзья и родственники, присутствовавшие при этом. Прощаясь с ним, я сказал, что мы знали его как искусного мастера и человека с прекрасным чувством юмора. А покойник на самом деле не умел даже гвоздя вбить в стену, при этом у него полностью отсутствовало чувство юмора. Он поступил на курсы столяров, но бросил их через несколько занятий. Еще я сказал, что он любил собирать грибы и всегда отдыхал душой в осеннем лесу. Но в действительности он вообще природу не любил. За грибами ходил раз в жизни, да и то неудачно. Я говорил много таких слов. В этом мире достаточно песка, чтобы засыпать крышки множества гробов. Но каким этот мир видит тот, кто хоть во что-то верит?

В то же самое время Пекка бродит по железнодорожной станции Вайникала.

Пекка. Есть здесь кто-нибудь? Покажись! Это я, Пекка! Я здесь, в Вайникала. Покажись! Я видел тебя здесь раньше. Где ты? Эй! Есть здесь кто-нибудь?

Марти. Странно, что, если человек различает черный и белый цвета, его тут же называют ограниченным. Нам совсем не обязательно верить в ту систему, в которой мы живем, наша вера существует вне системы. Теперь все зависит от того, котируются ли наши ценные бумаги и какие мобильники предпочитает современная молодежь. Моя собственная вера с годами изменилась, если это кого-то интересует. Если вначале она была похожа на каменный дом, то теперь это всего лишь сарай. И в его щели может заглянуть любой. Моя вера видна насквозь. Маленьким мальчиком я смотрел сквозь щели сарая и видел перед собой необозримые просторы. Но вчера я вышел на тонкий лед. Не заметил предупреждения. И только метров через пятьсот понял, что это смертельно опасно. Сарай и тонкий лед. Именно по этой причине я прошу освободить меня на некоторое время от исполнения моих обязанностей. Но моя печаль приносит мне и радость. Я хочу быть слабым. Именно поэтому я прошу отпуск, чтобы подумать, хочу и смогу ли я продолжать работать. Это мое признание. Я знаю, что вы ожидали от меня совсем другого признания, полагали, что я стану объяснять вам, что случилось с нашим грузовиком с гуманитарной помощью на границе. Да, в нем нашли иконы, хрусталь и другие ценности. Водитель спрятал их в грузовике на обратном пути в Финляндию. Я несу полную ответственность за все случившееся, на практике же это означает, что мне не придет-

ся больше просить выходной или отпуск. Сегодня я должен был говорить с вами о Божьей милости. Но когда я думаю о милости, мне почему-то представляется болото. Оно такое же податливое. Хорошего вам дня!

Свет гаснет.

Сцена восемнадцатая

В *доме* Сеппо

Пекка играет на гитаре. Поет песню собственного сочинения.

Глотку иссушило, есть уже нет мочи.
Не дождусь отлета с этой полосы.
Кости распадутся в прах еще до ночи,
С лепестка исчезнет капелька росы.

Душу онемелую тяжкий грех снедает —
Мир вокруг не значит больше ничего.
Мир, уже отдавший все, снова не одарит,
Незачем надеяться, все уже ушло.

Много мне не нужно, обойдусь и малым,
Только бы спокойствие в сердце обрести,
Если света много, то его не видно,
Только звезд полоска темная вдали.

Пойте громко, птицы! Дерева, шумите
По мечтам несбывшимся деве без венца.
Ничего не надо мне. Только б милость Божью! —
Жажде иссушающей не видать конца.

Входит Сеппо.

Сеппо. Что это за песня?

Пекка. О том, что Бога нет.

Сеппо. Куда же это он так быстро испарился?

Пекка. Добро пожаловать на свободу. Спасибо, что разрешил переночевать у тебя. Как там было?

Сеппо. Когда семьи нет, все равно, где спать, дома или в камере. Правда, за три дня эти их запеканки надоели просто до смерти.

Пекка. Элина отказалась от усыновления.

Сеппо. Что ж, бывает. А где наша русская шлюха? Зачем она меня заложила? Я ведь ей ничего плохого не сделал. Только хорошее.

Пекка. Так это Катя тебя заложила?

Сеппо. Она. На границе точно знали, какую машину проверять. Они проверили все до последнего винтика. Милиция преследовала меня от самого Волхова. Я придушу ее, как только увижу.

Пекка. Думаю, сначала тебе стоит придушить меня.

Пауза.

Сеппо. За что?

Пекка. А потом и я придушу тебя.

Сеппо. Да, пожалуйста! Кто начнет?

Пекка. Я, наверное. Я получил от отца сто тысяч марок, ты тоже получил сто тысяч. Перед смертью отец прошептал мне, что Кате тоже полагается сто тысяч.

Сеппо. Так он это прошептал? А не про грабли?

Пекка. И про них тоже, но последними словами были именно эти. Но про деньги я не сказал.

Сеппо. Не сказал?

Пекка. Ну да. Кризис был, да и вообще... короче, вот так.

Сеппо. Значит, утаил. И где же они теперь?

Пекка. На долгосрочном депозите.

Пауза.

Сеппо. Хорошо. Она ни евро не получит из этих денег. И все равно не понимаю, как это связано с тем, что она меня заложила.

Пекка. Катя решила, что ты тоже принимал во всем этом участие.

Сеппо. Что значит "решила"?

Пекка. Ну, потому что я, наверное, был не слишком умен.

Пауза.

Пекка. Твоя очередь.

Сеппо. Какая очередь?

Пекка. Ты втянул меня в эту идиотскую игру с беспризорником из Петербурга.

Сеппо. Ну и что?

Пекка. В последнем письме была приписка: банк "Нордеа", Сеппо Куйтунен, двенадцать семьдесят пятьдесят дефис три ноль девять восемь девять семь шесть. Это же твой номер счета.

Сеппо. Ага.

Пекка. Так значит, это тебе я ежемесячно переводил деньги, а не тому мальчику?

Сеппо. Они просто проходили через мой счет. Я таким образом экономил на переводах.

Пекка. На твоем столе я нашел черновик письма со словами "Dear Sponsor".

Сеппо. Мальчик не умеет писать.

Пекка. Ты хочешь, чтобы я этому поверил?

Сеппо. У тебя просто нет другого выхода.

Пекка. Деньги всегда проходят через какую-нибудь организацию взаимопомощи.

Сеппо. В данном случае все было совсем не так.

Пекка. В данном случае? У тебя всегда найдется какая-нибудь отговорка. В твоей голове их много. Катя — это Ирина Аперитив. А деньги Ивану должны идти через тебя.

Сеппо. В данном случае они действительно шли Ивану, просто через меня.

Пекка. В письмах были ошибки, которые потом кто-то исправлял.

Сеппо. Иван присылал письмо, а потом мы вместе разбирали ошибки. Я учу его английскому.

Пекка. И ты хочешь, чтобы я тебе поверил?

Пауза.

Пекка. И ты хочешь, чтобы я этому поверил?

Свет гаснет.

Сцена девятнадцатая

Зал в приходском доме

Карина и Марти сидят за столом.

Карина. Уважаемые Куйтунены или уважаемые Куйтунен? В единственном или во множественном числе?

Марти. Поставь во множественном. Я тоже все время путаюсь.

Карина. "Уважаемые господин и госпожа Куйтунены! Ваше прошение об отказе в усыновлении комитетом рассмотрено не было. Вы по-прежнему находитесь в очереди. Вы — неплохая семья".

Марти. Ты уверена в этом? Вспомни, о чем Пекка говорил.

Карина. Типично финская модель. Первые сорок лет тихо, а потом выговаривается все, что накопилось. Ты же сам на семинаре в Антинпохье выступал против церковной системы.

Марти. Нельзя починить водопровод, не вскрыв трубу. А это всегда шум и грязь.

Карина. Ты что, в самом деле сравнивал нашу церковную систему с Кремлем?

Марти. Речь Пекки заронила во мне зерно сомнения, или, во всяком случае, здорово повлияла на меня.

Карина. "Вы обычная семья, не плохая и не хорошая. Но на наш взгляд именно такие семьи являются лучшими для воспитания детей. Может быть, конечно, в данный момент вы уже и не семья, но я все равно советовала бы вам не отказываться от возможности

усыновления. Последние двадцать лет все только и говорят что о крепких семьях, пришло время поговорить и о неполных".

Марти. Напиши, что Марти передает Пекке привет.

Карина. Какой привет?

Марти. Напиши, что у меня нет опыта изгнания людей из церкви. Именно поэтому тогда и не справился.

Карина. Может, все же не стоит?

Марти. Про изгнание из церкви?

Карина. Нет, про не справился.

Марти. Наверное, ты права, погорячился. Но напомни Пекке, что следующий урок музыки во вторник. И что теперь мы уже достаточно познакомились, чтобы организовать кружок живого общения.

Карина. Понятно. Что-нибудь еще?

Марти. Напиши, что делать добро напоказ — все равно что делать зло. Бог и так над нами смеется. И так как это неофициальное письмо, подпиши: "С приветом, Марти и Карина".

Карина. Марти!

Марти. Что?

Карина. Я хочу тебя.

Марти. Ты думаешь?

Карина. Я не думаю, я знаю.

Марти. Вот, значит, до чего мы дошли.

Карина. До чего?

Марти. До нас.

Свет гаснет.

Выходит Элина.

Элина. Все, что я хотела, это только немного полежать в грязевых ваннах да купить сапоги от Пертти Палмрута. Сапоги делают женщину женщиной. Ты ведь помнишь об этом? Если подкладка из искусственной кожи, то скоро все суставы тоже станут искусственными. Так я думала, когда снова сидела на той же самой скамейке, однако на этот раз мой муж не опоздал.

Сцена двадцатая

Возле комитета по усыновлению

Элина и Пекка.

Пекка. Спасибо, что пришла. Мне до сих пор не верится — наконец-то у нас будет ребенок.

Элина. Но мы не можем его взять.

Пекка. Почему?

Элина. Потому что нас нет.

Пекка. Милая Элина, не говори так. Давай все обсудим спокойно... все наладится.

Элина. Я никак не могу найти Катю. Она сбежала из больницы.

Пекка. Катю? Сеппо сказал, что она уехала болеть домой. У нее тяжелый грипп, гораздо серьезнее обычного. Вирус А.

Элина. Да никакой это не вирус А. Это красная волчанка.

Пекка. Что?

Элина. Да болезнь Катина. В холодных продуваемых помещениях ей становится хуже. Это хроническое воспалительное заболевание, при котором защитная система организма начинает вести себя непредсказуемо, организм как бы восстает против собственных тканей.

Пекка. Откуда ты о ней знаешь?

Элина. В больнице услышала, а потом в медицинском справочнике посмотрела. Теперь я много чего знаю про волчанку. Ей нельзя быть на солнце. Ей надо обеспечить самый лучший уход. Много кортизона. Все это очень дорого. Но если волчанку не лечить, то она может привести к смерти.

Пекка. Поезд в Петербург отправляется через час. Я поеду за ней. Привезу ее обратно, и мы устроим ее в частную клинику.

Элина. Пришли смс, если все будет нормально. В противном случае лучше даже не появляйся. Пора. Наша очередь. Я пойду одна, хорошо?

Пекка. А разве можно одной?

Элина. Карина написала, что можно.

Пекка. Но ведь мы оба писали заявление.

Элина. Я уже не помню, с кем я его писала.

Пекка. Ты писала его с Пеккой, с тем Пеккой, который все перепутал, который подрался с пастором, который не умеет ни петь, ни играть на гитаре, который прячет чужие деньги, незаконно ввозит в страну иконы, но который больше не хочет луны с небес, а хочет стать частью Элининой жизни. С таким вот Пеккой ты и писала заявление.

Элина. Чучело! Ну все, я пошла. А ты давай езжай в Питер.

Пекка. Катя не поедет со мной.

Элина. Попроси Сеппо. Он всегда вел себя с ней как настоящий брат.

Пекка. Когда я приеду, можно мне домой?

Элина. Ты уверен, что тебе это нужно?

Пекка. Уверен.

Элина. Ну вот и езжай.

Свет гаснет.

Сцена двадцать первая

В *доме* Сеппо

Сеппо вводит бледную и ослабевшую Катю, Хельми взбивает постель.

Хельми. Вот так вот у нас в Финляндии. Улицы полны плюющихся бродяг, у одного нога воспалена, у другого нос как свекла. А ведь это они грипп придумали, точно они. Вирус А. Я же привыкла, что А — это всегда высший класс. Колбаса класса А, ацидофилин, не говоря уж о каютах А на пароме в Швецию. Мы с Тайсто как-то выиграли такой круиз в лотерею. Не надо было всю ночь слушать грохот машинного отделения.

Сеппо. Мама, помолчи. Сходи-ка лучше, купи там внизу в магазине подушки, одеяла и туалетную бумагу.

Хельми. Нынешние дети всегда готовы к спариванию!

Сеппо. Перестань. Я не для того.

Хельми (*Кате*). А он все-таки чертовски хорош для Куйтунена, правда?

Катя. Правда, правда, но у меня уже что-то совсем не осталось сил.

Хельми. Безработный позолотчик куполов, а на уме всё одни цветочки — ну и ну!

Хельми идет к выходу.

Сеппо. Хельми, Катя — дочь Тайсто.

Хельми. Может, какой-нибудь журнальчик для тебя купить? Что ты сказал? Совсем ничего не слышу, это, наверное, от лекарств, побочный эффект. Ты ведь о журнале говорил, Сеппо?

Катя. О журнале, точно. Купите мне бутылку лимонада, если несложно.

Хельми уходит.

Катя. Разве можно говорить такое пожилому человеку.

Сеппо. Сколько еще всяких тайн и секретов мы должны хранить в этой жизни? Я пригласил тебя сюда, чтобы хотя бы один узел разрубить.

Катя. Может, стоит подождать до лучших времен?

Сеппо. Не будет лучших времен, ты — русская и должна знать это не хуже, чем я.

Катя. Не надо. Я прошу. Сердце Хельми не выдержит.

Сеппо. Может, ты и права. Разрушение не входит в сферу деятельности реставратора. И потом, слишком много всего надо рассказывать. И почему я не исследователь глобальных катастроф?

Катя. В нашем случае государства сближаются друг с другом исключительно из меркантильных соображений. Ты реставрируешь меня, то есть Россию. Приводишь, так сказать, в еврочувство.

Сеппо. До того как стать реставратором, я был санитаром, давным-давно, в старой Финляндии, когда мебель еще делали из дерева.

Катя. Ты, наверное, был хорошим санитаром.

Сеппо. Ты думаешь?

Катя. А что?

Сеппо. То есть ты считаешь, что мне снова стоит вернуться к истокам, стать санитаром?

Катя. Я этого не говорила...

Катя засыпает.

Сеппо. Что ж, неплохой совет. Низкооплачиваемая работа, но зато дополнительные выплаты за дежурства по ночам и в выходные.

Звонок в дверь. Входит Пекка с конвертом в руке.

Пекка. Катя.

Катя встает и ищет свою сумку.

Катя. Где моя сумка?

Сеппо. Выслушай Пекку, пожалуйста.

Катя (*обращаясь к Сеппо*). Ты! Ты приехал в Питер и обещал, что я его здесь никогда не увижу! Ты обещал.

Сеппо. Катя, успокойся, ляг.

Катя. Ты — лжец. Отдай сейчас же мою сумку!

Пекка. Катя, это я попросил Сеппо привезти тебя. Со мной бы ты не поехала.

Катя. Похоже, я и правда серьезно больна, если уж мешок с дерьмом заговорил в моем присутствии.

Пекка (*протягивает конверт*). Вот деньги.

Катя. Подавись ты ими! Где моя сумка? Или это уже тюрьма?

Сеппо. Возьми, пожалуйста, деньги!

Катя. Я не прогнусь перед ним! По крайней мере, в этой жизни. Отдай сумку, кому говорю!

Пекка. Подожди, у меня для тебе еще кое-что! (*Ставит на стол банку с солеными огурцами.*) Мама послала тебе эти огурцы. Она передавала тебе привет и просила сказать, что с ней все в порядке.

Катя. Как ты вообще посмел зайти к моей матери? Как ты мог?

Сеппо (*Пекке*). Мы об этом не договаривались. Ты должен был ждать на вокзале и отдать Ивану кроссовки.

Пекка. Я отдал их Ивану, а потом ждал на вокзале и не знал, что мне дальше делать. Воздуха не хватало. И тогда я вдруг подумал, что должен отвезти ей деньги. Что-то надо было сделать, но это было неправильное решение, простите. Я поставлю эти огурцы сюда, на край кровати.

Сеппо. Ты же знаешь из финского фольклора про деревню дураков. Наш Пекка как раз оттуда, современный вариант. Возьми же деньги у этого дурачка, пока он не решил, что это гигиенические салфетки.

Катя. Эти деньги Куйтуненов — настоящее дерьмо. Подачка сильного слабому. Из чувства долга, а не по-братски.

Пекка. Но я хочу быть твоим братом.

Катя (*сквозь зубы, по-русски*). Тоже мне нашелся братец, подонок!

Входит Хельми.

Хельми. Что за шум? О чем это вы тут?

Пекка. О том, что если ты кому-то брат, то это ровным счетом ничего не значит.

Пауза.

Хельми. А, так и второй сын тоже здесь. (*Достает покупки из сумки.*) Вот, купила подушки, простыни, шаль. Столько бонусов вдобавок получила, что теперь точно получу форму для печки, которую они так рекламируют. А это что такое?

Катя. Соленые огурцы, приготовленные по уникальному рецепту.

Хельми. Можно попро́бовать?

Катя. Конечно.

Хельми пробует огурец из банки.

Хельми. Да они просто изумительные, слов нет. Тайсто всегда привозил из России вот точно такие же. Два раза в год они появлялись на нашем столе. И это всегда был настоящий праздник. А кто их делает?

Катя. Моя мама.

Пауза.

Хельми. Передай маме, что они очень вкусные. (*Пекке.*) Ты несколько раз мне звонил. Я не слышала. У тебя какое-то важное дело?

Пекка. Потом скажу.

Хельми. Спасибо. Пойду сделаю Кате чаю. И нам заодно.

Хельми уходит на кухню.

Пекка. Неужели я ничего не могу сделать как положено?

Катя и Сеппо (*в один голос*). Не можешь.

Пауза. Пекка с опаской поглядывает в сторону кухни.

Сеппо. Что там происходит?

Пекка. Она посуду моет. (*Пауза.*) А теперь садится за стол.

Пекка что-то видит и бросается на кухню. Через мгновение врывается обратно.

Пекка. Шаль, она хочет шаль.

Сеппо. Я отнесу.

Пекка. Нет, двое — уже перебор.

Бросается на кухню. Возвращается.

Пекка. Сумочку, дайте сумочку! Там лекарство!

Сеппо открывает сумочку.

Катя. Мне уйти?

Пекка. Нет. Ты уйдешь отсюда последней.

Сеппо. Здесь нет нужных лекарств, нет лекарства от сердечного приступа, баночка пуста, она забыла ее наполнить. Это не то, совсем не то.

Пекка. Дай хотя бы что-нибудь.

Пекка убегает на кухню. Возвращается.

Пекка. Теперь все в порядке. (*Стоит у дверей, наблюдает.*) У нее озноб. Ее всю трясет!

Пекка и Сеппо бросаются на кухню. Хельми выходит к ним навстречу.

Хельми. Я плакала там на кухне. Последний раз я плакала, когда Мауно Койвисто переизбрали на второй срок. Тогда это были слезы радости. Расчувствовалась. Чуть сознание не потеряла. Да уж, в наше время без потерь никуда. "Душевный покой". Черта с два! Конечно, я с самого начала догадывалась, что ты не за запчастями для "лады" сюда приехала. (*Протягивает руку Кате.*) Здравствуй.

Катя. Нет. То есть да, приехала... Я приехала поздороваться.

Хельми. Здравствуй, здравствуй. Еще одна ноша под конец.

Сеппо. Зачем ты отнес ей не то лекарство?

Пекка. Потому что я всегда все делаю не то.

Хельми. Ты все сделал правильно, молодец. Все, что я просила. Даже обнял. И нос утер. И дал не то лекарство. Молодец! Я без твоей помощи не обошлась бы.

Катя. Прям действительно, как настоящий санитар.

Сеппо. Но как же, ведь это же не то лекарство?

Катя. Лекарство как лекарство. Главное, вовремя под язык положить.

Сеппо. Я не понимаю... я беспокоился... Черт бы вас побрал.

Катя. Сразу никто ничего не помнит и не умеет! Никто.

Сеппо. Но ведь он сумел. Проводник.

Пекка. Это я случайно таким хорошим оказался. А может, он именно об этом и говорил?

Сеппо. Кто говорил? Что?

Пекка. Ну этот, Бог, я тебе о нем немного рассказывал.

Хельми. А по телевизору скоро будут новости.

Пекка. Не уходи. Бог создал этот мир быстро, всего за шесть дней. И только потом стал смотреть, что же такое у него получилось. Некоторые творения оказались очень даже удачными: слон, лев, лебедь, кошка, собака. Потом он вдруг заметил, что некоторые виды павианов, как бы это сказать, в общем, сделаны, что называется, тяп-ляп. Ну а еще сильнее испортил впечатление человек. Но Бог, он был хитрый. Он решил стать невидимым. И тем самым задал нам всем довольно сложную задачку. Теперь человека постоянно одолевают сомнения, есть там все-таки кто-то или нет. Вот и я стал думать, что там такое было в Вайниккале — Бог или что-то другое? Может, это всего лишь отражение придорожных фонарей. Может, я сам заставил себя поверить, и какая же это тогда вера? Бог невидим, и в этом вся проблема. Хельми, мы с Сеппо наделали просто кучу ошибок. Животные инстинктивно ощущают то, что их окружает. Олени в саванне одним взглядом способны оценить, где может быть еда, а где скрывается опасность. Муравьи точно определяют, где находится следующая сосновая иголка, и умеют реально оценить свои силы — донесут, типа, или нет. Я ведь подумал тогда, когда получил в глаз от пастора, о том, что мы все похожи на стаю журавлей. В нашем случае я вожак, который летит первым и который почему-то вдруг стал воспроизводить хаотичные движения "Финнэйра". В стае нельзя импровизировать без предупреждения, ведь это из-за резкой смены направления наш реставратор рухнул вниз. Но Бог не может взять и вмешаться в игру и все в один миг исправить. Это наша с Сеппо задача, а Бог, он...

Катя. Не то лекарство.

Пекка. Думаю, что он часто для многих не то лекарство. Если о нем вспоминают, только когда приходит беда, когда срочно нужно что-то получить, то это не то. Бог, он невидимый, и он...

Катя. Путин...

Пекка. Катя поднимает интересные теологические вопросы. Давайте подумаем. Если Бог — это Путин или...

Катя. Брежнев...

Пекка. Или Брежнев, или вообще все равно кто — знаменитость, известный политик или руководитель. Тогда бы мы делали все, чтобы он обеспечил нам место на небесах. Но Бог — это...

Катя. Окно с утеплителем.

Хельми. Ну наконец-то! Хоть кто-то вернулся с неба на землю. Окно, или меченый, или даже беспалый... Да пойми же ты, Бога нет.

Пекка. Его нет, и он есть. В этом-то и соль. Он оставил нас в неведении. Он заставляет нас каждый день делать выбор, об этом Катя и пытается сказать...

Хельми. Нет, ты не понимаешь, Катя пытается сказать, что...

Пекка. Это ты не понимаешь, Катя хочет только сказать, что...

Сеппо. Это вы не понимаете, она же бредит! У нее жар.

Хельми и Пекка подходят к кровати. Смотрят на Катю, которая мечется в бреду.

Катя (*в бреду*). Построили во времена Брежнева. Но Путин обещал отремонтировать.

Хельми. Что? Что он обещал отремонтировать?

Сеппо. Ее квартиру в Питере.

Хельми. Боже мой, да она же вся горит. Пекка, принеси мокрое полотенце.

Катя. Кто здесь?

Сеппо. Это Сеппо, Хельми и Пекка.

Катя. Сеппо, Хельми и Пекка. Что вы здесь делаете?

Сеппо. Мы все тут, с тобой, в моей квартире.

Катя. И Хельми?

Хельми. Да.

Катя. Такая тихая... Что случилось, Хельми?

Хельми. Что случилось? Нет, ничего. Хельми посто задумалась о том, что же на самом деле натворили ее дети. И еще она думает, что, наверное, совсем не будет скучать по этому миру.

Катя. Неправда, еще как будешь.

Хельми. Ну, разве что по подснежникам. Им я скажу: "Пока, мои дорогие!" Черным дроздам скажу: "Пойте, мои дорогие!" А детям скажу: "Живите, мои дорогие!"

Катя. Сеппо, давай весной отвезем Хельми в Петербург, она должна услышать, как на Неве начинается ледоход.

Сеппо. Не знаю, поедет ли Хельми, если у нее так сердце шалит.

Катя. Раз шалит, поедем на поезде.

Хельми. Ну если только Пекка достанет нам билеты в первом классе и у окна.

Катя. Достанет. Случайно он может сделать все что угодно. Пекка случайно был хорошим, а ветер случайно подмел всю улицу.

Пауза.

Сеппо. Заснула.

Пауза.

Пекка. Оказывается, и у тебя, мама, внутри — совсем другой мир.

Хельми. С чего это ты?

Пекка. А иначе ты не стала бы так красиво прощаться с подснежниками и дроздами.

Хельми. Возможно.

Катя. Жарко! Унесите, унесите огненные шары.

Сеппо. Какие шары?

Катя. Унесите.

Пекка обхватывает воздух, изображает, будто взял огненный шар.

Пекка. Этот?

Катя. Да.

Пекка. И этот?

Катя. Да.

Пекка. Я выброшу их в окно.

Делает вид, что выбрасывает шары в окно.

Пекка. Ну вот, выбросил.

Катя. Не обжегся?

Пекка. Нет, только чуть-чуть.

Катя. Спасибо.

Пекка. Пожалуйста.

Катя засыпает.

Сцена двадцать вторая

Катя, Элина и Сеппо смотрят на детскую колыбель, сделанную из старого стула.

Элина. Даже не верится.

Катя. Я же говорила, что все получится.

Элина. Говорила, говорила, но кто же знал, что так замечательно. Это же просто чудо!

Катя. Вот слышишь, что говорит Элина! (*Элине.*) Он ведь совсем не верит в свои силы.

Элина. В жизни не видела такой великолепной работы, за это можно и заплатить.

Протягивает деньги.

Сеппо. Ну... я даже не знаю... хорошо, раз понравилось.

Катя (*обращаясь к Сеппо*). Твой первый клиент, что скажешь?

Сеппо. Едем в Питер и идем в пиццерию с Иваном!

Катя. Правильно!

Сеппо и Катя уходят

Элина. Это был Сеппо и его сестра Катя. Такая вот мозаика. И еще одна деталь. Тут недавно у нас появился странный человек. Я не

знаю, заметил ли ты, но однажды он починил горку на детскои площадке, как раз перед тем, как ты на нее забрался. Думаю, он еще придет, чтобы подуть на коленку, если ты упадешь, или развязать узелок на скакалке. Все это он будет делать почти незаметно, тайком. Но ты его не бойся. Когда-нибудь я приглашу его к нам в гости, и, может быть, он останется до утра, но ты и тогда не бойся. Я рассказываю тебе о нем не для того, чтобы ты думал, что это твой папа. А просто потому, что именно сейчас мне больше не о чем тебе рассказать.

Ханну Райттила

Аэростат "Финляндия"

Повесть

Перевод Бориса Сергеева

НАПЛЫВ транспорта на Иванов день был в самом разгаре, и у меня все мужики за ним наблюдали.

Торговцы картошкой начали приезжать на фургонах сюда, на парковку возле супермаркета, и мы прямо не знали, куда нам их разместить. Ну мы и решили: пусть себе ставят машины в том порядке, в каком приехали.

А он оттуда летел, с озера, буквально по поверхности. Когда они парковочную площадку пересекали, так просто-напросто по крышам машин проволоклись. Там ведь двое мужиков летело. Вдруг что-то жахнуло, и как будто пламя сверкнуло, то есть как бы действительно сверкнуло, и он начал подниматься, этот шар, ну, шар – не шар, бутылка, точнее.

Там, на крыше супермаркета, этакая здоровенная будка, где большая белка нарисована, так он мимо нее пронесся, поднимаясь выше и выше.

Скоро он был уже над кронами сосен, а оттуда его погнал ветер... да, к северо-западу их понесло, потому что я помню, что время было около пол-одиннадцатого утра и ветер дул в основном с той стороны, откуда светило солнце. Учитывая, что дело было летом, дул он приблизительно с юго-востока. Такой сильный летний ветер.

© Hannu Raittila, 1994
© Борис Сергеев. Перевод, 2009

Кто-то на фургоне там, на парковке, давал задний ход.

Я просто лосося разделывал и подумал, что не буду и смотреть в ту сторону. Понимаете, штука в чем — когда такие вещи случаются, тут не стоит как бы искать какой-то смысл. Нужно принимать все по факту.

Я, понимаете, это на своей шкуре испытал, и чертиков видел, и другое... ну, что, когда показывают. Их как разок увидишь, так потом и видишь постоянно. На филе я просто разделывал радужного лосося... тайменя.

Люди начали кричать на дворе, там, на нашей парковке, что по небу летит жуткая водочная бутылка и приближается к нашему супермаркету.

Продавцы мясного ряда тоже вышли во двор, потому что и покупатели все находились там. Только старый дядя, брат жены, разделывал на рыбном прилавке радужного лосося и говорил, что не станет больше и смотреть в ту сторону. Я видел, как у дяди тряслись руки, вот этак вот.

А торговцы картошкой на своем фургоне все сдавали назад, прямо на нас. Ну, тут решетка радиатора у нас отлетела, а из радиатора все потекло на двор. Так у нас Иванов день и был испорчен.

Я выглянул за дверь и вернулся назад к прилавку. Просто продолжил работу. Лососина на филе. Получили настоящего морского лосося три тонны и продавали его по двадцать шесть марок кило. Или тайменя. Это было наше демпинговое предложение. Или одно из них.

Оттуда пошли телефонные звонки в канцелярию ленсмана. Психов ведь всегда хватает, и пьяных на праздники больше в разы, но сейчас пришлось поверить, что что-то там летит.

Потом к нам в дежурку позвонил начальник канцелярии Министерства внутренних дел Муукконен и сказал, что его компании нужен автомобиль. Он был в подпитии. Если бы я не был знаком с ним лично и не знал, что он в наших местах на отдыхе, я бы без разговоров трубку повесил.

Я спросил, идет ли речь о межведомственном содействии. Начальник канцелярии сказал, что да. Я оставил округ на попечение летнего помощника и сел за руль. Взял полицейский фургон ленсманского округа.

Это же... это же был ужасный случай в конце концов.

У нас мужская компания, и мы собираемся вместе несколько раз в году. На Иванов день — всегда. Очень часто именно в Артъярви у меня на даче.

К этой компании, или, так скажем, к этому обществу, с самого начала принадлежал и начальник отдела Лайне. Он начальник международного отдела концерна "Алко"[1]. Ведь "Алко" продает весьма значительные объемы алкоголя за границу. И вот кому-то из подчиненных

1. "Алко" ("Alko Oy") — монопольное государственное предприятие по розничной торговле алкогольными напитками в Финляндии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

начальника отдела Лайне пришла в голову рекламная идея, которую надо было опробовать первый раз на Миланской ярмарке.

Рекламирование алкогольных напитков у нас запрещено, и "Алко" за пределами страны всегда оказывается в очень непростой рыночной ситуации, так что эта рекламная идея должна была спасти водку "Финляндия".

Ведь "Финляндия" – это флагман концерна, так сказать, и она уже несколько лет проигрывает на рынке конкурирующему продукту шведов.

А вот водка "Абсолют" сбывается благодаря очень элегантным маркетинговым кампаниям, и проект "Финляндия" призван был перебить эти шведские кампании одним ударом – раз и навсегда.

План вкратце был таков: заказали аэростат-монгольфьер[1] – точную копию бутылки водки "Финляндия", дизайн которой разработал в свое время Тапио Виркkала. Копию в многократно увеличенном масштабе, конечно. Бутылка, если мне не изменяет память, была метров пятнадцать в высоту. Благосклонного отношения к этой идее от наследников академика Виркkалы, по слухам, пришлось добиваться долго. Ну все равно аэростат был изготовлен, и его первые испытания были намечены на Иванов день. Иначе говоря, предполагалось наполнить аэростат нагретым воздухом, что затем и было сделано.

Естественно, не предусматривалось, что аэростат появится в поле зрения широкой публики. Об этом нельзя было и думать хотя бы потому, что реклама алкоголя в нашей стране запрещена и в обязанности множества высоких чиновников как раз и входит надзор за соблюдением этого запрета.

Пробное наполнение аэростата начали утром в небольшом гравийном карьере, в котором я имел обыкновение заниматься стрельбой. Оттуда аэростат, безусловно, не могли заметить.

Начальник отдела Лайне необычайно воодушевился, когда воздушный шар, ну то есть бутылка в данном случае, начал приобретать свою ставшую всем знакомой форму. Продукция его компании имелась в наличии, и какое-то количество ее было употреблено. В общем, атмосфера была веселая. Ведь собралась мужская компания, круг старых друзей, а на дворе праздник, макушка лета.

Две тонны радужного тайменя я на филе разделал. А потроха продавал по пятерке за кило. Вот так дешево – и хороший рыбный суп!

Пьяные, пьяные, пьяные. Все нализались в стельку. Эти чертовы Мууккonен и Рапатти стреляли из парабеллума по гравийному карьеру, так что на откосах клубилась пыль. Мууккonен объяснил, что пистолет достался ему от деда, служившего в шюцкоре[2].

Он объяснил, как трудно ему было получить разрешение на это оружие, но как-то ему это дело удалось обстряпать, поскольку он занимает высокий пост в Министерстве внутренних дел.

1. Монгольфьер – аэростат с оболочкой, наполняемой горячим воздухом.
2. Шюцкóр (охранный корпус) – военизированные силы самообороны Финляндии, позже – военно-патриотическая организация, задачей которой было повышение обороноспособности страны.

Я сказал, мол, смотрели бы лучше, куда стреляют, а то палят куда ни попадя. Мууккonен заявил, что у него есть разрешение от ленсмана Артъярви заниматься стрелковым спортом в этом гравийном карьере, а это идеальное место для занятий стрельбой, поскольку оно защищено вокруг высокими песчаными валами.

Рапатти был совершенно в стельку. Он пошатывался с парабеллумом в руке и направлял его ствол то на меня, то на Мууккonена. Смеялся пакостным смешком и говорил, мол, конечно, у тебя есть разрешение ленсмана, раз ты, чёрт возьми, заведующий канцелярией и начальство для всех ленсманов Финляндии.

Мууккonен бормотал, что ходатайство о разрешении проходило обычным для всех порядком. Рапатти посмеивался и стрелял мимо его головы в песчаный откос.

Я велел им прекратить игры с оружием, но Рапатти прицелился в меня и сказал, мол, ты, главный редактор, смотри, как бы я тебе голову не отстрелил. Он грозился купить меня с потрохами, купить мою газету и говорил, что будет держать меня на коротком поводке, все будние дни с девяти до четырех и даже по воскресеньям, правда, не так долго.

Они прекратили стрельбу и начали наполнять этот аэростат. Лайне доставил туда всю эту штуковину на грузовом автомобиле "Алко". Они принялись закачивать в нее нагретый воздух, и из земли с шипением стала вырастать высоченная бутылка "Финляндии". Сначала наполнилась нижняя часть.

Горлышко бутылки свисало, как голова пьяного, но они добавили нагретого воздуха, и оно распрямилось. Бутылка еще так раскрашена была, как будто она уже початая и в ней осталось чуть выше этикетки. Лайне сказал, что бутылку удалось по дешевке заказать в одной таллинской мастерской по пошиву парусов.

Бутылка заполнилась. Ярвеля подкачал еще воздуха, и сооружение поднялось вертикально, с корзинами для пассажиров и всем остальным. Бутылка дергала крепежные канаты, словно норовистая лошадь. Ярвеля вскарабкался в корзину.

Рапатти впихивал в магазин патроны. Они высыпались оттуда на песок, но он все-таки сумел зарядить пистолет и засунул его за пояс брюк. Следом за Ярвелей Рапатти забрался в корзину аэростата и заорал, есть ли, мол, здесь спиртное. Лайне крикнул, что, разумеется, спиртное там есть. А мне сказал, что в аэростате "Алко" в качестве горючего используется девяностошестипроцентный спирт прямо с завода в Раямяки. Хорошее дело, крикнул Рапатти и этим своим ужасным охотничьим ножом перерезал канаты.

Мы со старухой картошку копали, тут я и говорю, дескать, там же бутылка водки летит. Да пусть себе летит, куда хочет, говорит старуха. Ну, мы на нее больше внимания и не обращали. Это когда у супермаркета был день рыночной торговли.

По моему распоряжению прибыл ленсман Ала-Вийтала, и мы пустились в погоню. Спор начался, когда ленсман повернул не туда и аэростат исчез из виду. Все были очень возбуждены.

Я сказал парням, что ленсман Вийтала — компетентный полицейский и руководитель. Хотя он как чиновник, работающий в области, подведом-

ственной Министерству внутренних дел, является в каком-то смысле моим подчиненным, я сказал, что этой операцией руководит Ала-Вийтала и никто другой.

Ала-Вийтала сказал, что он не считает разумным отправляться следить за аэростатом в направлении его сноса, поскольку в этом случае пришлось бы использовать редкую дорожную сеть северной части муниципального округа и велик риск, что в бездорожной местности между Настола и деревней Монтари будет полностью потеряно наблюдение за аэростатом.

Начальник отдела Лайне совсем пал духом. Разумеется, в конечном счете он и отвечал за случившееся, поскольку именно он привез на место аэростат-монгольфьер и хотел произвести его пробное наполнение. Начальнику отдела полагалось бы взять на себя ответственность за преследование аэростата, но Лайне сломался и потерял способность к руководству.

Я считал важным, чтобы слежение за аэростатом и мероприятия по его опусканию осуществлялись централизованно и целенаправленно. Обращаясь к окружающим, я подчеркнул, что Вийтала опытный руководитель в чрезвычайных ситуациях. Сейчас ситуация как раз такая, и мы будем подчиняться приказам Вийталы, сказал я.

Мы картошку копали. Я борозду на картофелекопалке пройду, потом со старухой собираем. Сын отвозил на фургоне и продавал.

Ала-Вийтала — капитан на этом корабле, твердил Муукконен. Ни у кого нет водки? — спросил я. Все, парни, теперь не петушимся и не огрызаемся, сказал он. Начал уже доставать этот Муукконен.

Я прямо назло "Гамбину"[1] вытащил, когда догадался, что и ленсман тоже знает, что это бутлегерское спиртное.

А я ж у цыган его купил, когда в Хейноле с Лайне почти все выпили, а водки было нигде не достать.

Эх ты, а еще глава алкогольного предприятия, сказал я ему, ну и взяли пару "леденцов" у цыган. У таксиста спрашивали. Муукконен отказывался от "Гамбины". Он дергал вискаря из фляжки, наливал его в пробку и опрокидывал себе в пасть. Потешно было на него смотреть — пытался гнать, что он трезвый.

Ленсман выудил из бардачка своего "форда транзита" пластиковые стаканчики, и я разлил по ним "Гамбину". Даже Лайне принял, хотя казалось, он не вполне понимал, что делает. Лайне в панике тогда побежал вдогонку, когда они канаты у этого аэростата перерезали и их понесло. Забрать нам его удалось только оттуда, с парковки супермаркета.

Сын приехал забрать еще картошки и рассказывал, что над супермаркетом пролетел аэростат в форме бутылки, огромный. Видели мы его, го-

1. "Гамбина" — изобретенный в концерне "Алко" в 1932 г. первоначально под названием "Вийнаке" ("Водочка") ароматизированный коктейль; смешивается из красного вермута и джина и ароматизируется, в частности, апельсиновой коркой. По цвету "Гамбина" красно-коричневая. "Алко" рекомендует коктейль в качестве аперитива, например, с тоником или апельсиновым соком. Жаргонное название из-за цвета и формы бутылки — "леденец".

ворю я. Старуха говорит, пошли, мол, копать картошку, что успеем насобирать, продадим.

Ленсман Ала-Вийтала заявил, что бутылка появится в поле зрения, если мы поедем патрулировать по магистрали 12 где-нибудь между Вилляхде и Настолой. Поэтому, сказал он, разумнее всего выехать на шоссе, на 167-е.

Я заметил ленсману, что его предположение состоятельно лишь в том случае, если ветер будет стабильным. Ленсман сказал, что гоняться по проселочным дорогам за бутылкой сейчас ни в коем случае не следует, потому что она улизнет от нас по бездорожью и глуши между Монтари и Настолой, и тогда будет велик риск, что потеряется наблюдение за местностью Настола-Вилляхде.

Я разделял мнение ленсмана, но меня беспокоило, что ветер погонит бутылку на Пяйянне[1], и тогда пришлось бы решать, с восточной или с западной стороны ее преследовать.

Мне не хотелось вмешиваться в действия Ала-Вийталы, но я все-таки заметил, что стоило бы связаться с дежурным синоптиком Метеорологического института. Потом оттуда мы и получали жизненно важные данные о силе и направлении ветра в течение дня.

В двенадцать ноль три поступил первый телефонный звонок от этой компании. Я пришел на смену в двенадцать.

Ленсману Муукконен начал действовать на нервы. Муукконен позвонил в Метеорологический институт, и вскоре его уже соединили с каким-то тамошним большим начальником. Начальник, похоже, был из знакомых Муукконена.

Муукконен объяснил по телефону, что нам нужно постоянно получать с метеостанций данные о направлении и силе ветра. Ленсман сказал, что в Финляндии такая редкая дорожная сеть, что мы ни в коем случае не можем изменять направление движения в зависимости от ветра.

Муукконен тем не менее туда весь день названивал. Он употреблял в разговоре с ними всякие метеорологические термины, сказал, что по военной подготовке он офицер-артиллерист, а в этом деле, дескать, нужно и про погоду что-то понимать. Ленсман отказался пить водку. Я сказал, что нынче Иванов день и что он ведь и сам как раз преследует водочную бутылку. Ленсман сказал, мол, по крайней мере не пейте совсем уж внаглую из горла в полицейском автомобиле.

Кто-то оттуда все время запрашивал данные о ветре. Я сказал, что на полуострове Ютландия один из центров циклона, и направление воздушного течения в стране юго-восточное, и сегодня оно не изменится.

Ала-Вийтала занервничал. Мы находились на автомагистрали 12 в районе развилки на Вилляхде. Я спросил, уверен ли он, что аэростат еще не пролетел мимо нашего наблюдательного пункта.

1. Пяйянне – второе по величине и самое глубокое озеро в Финляндии.

Я предложил ему связаться с Лахти, но Ала-Вийтала явно не хотел вмешивать в дело другие полицейские округа. Еще я предложил Вийтале устроить так, чтобы линия с Метеорологическим институтом все время была не занята.

Аэростат в поле зрения не показывался. Становилось все очевиднее, что случилось как раз то, чего я и опасался: аэростат уже миновал наш наблюдательный пункт. Я предложил Ала-Вийтале позвонить в Лахти.

Сын сказал, что там на аэростате даже мужик летел. Да хоть два, сказала мать. Два и было, сказал сын.

Он наехал задом машины на что-то, и заднюю дверь заклинило, было не открыть. Пришлось забирать мешки через боковую дверь. Тысячу с лишним кило молодой картошки мы накопали, и вся ушла, и еще больше бы ушло. Это когда супермаркет рыночную торговлю устроил.

День клонился к вечеру, и нервы из-за всех этих задержек на пределе. До дачи было максимум километров двадцать, но мы в пробке еле-еле ползли и то и дело останавливались.

Дети на заднем сиденье носами к стеклу прильнули, кричат. Мой орет, благоверный-то, ругается, мол, не орите, не то он остановит машину. Ты не ори на детей, сам же кричишь громче всех, сказала я.

В этот момент над машиной что-то вроде как грохнуло, и вдруг за ветровым стеклом стало ничего не видно. Муж остановил машину.

Конечно, мы испугались. Дети совсем притихли, и мой даже поначалу не нашелся, что сказать.

Сообщения стали поступать к нам в Лахтинский департамент полиции сразу после часу, что ли. Рапортовали в губернию, а уже та оповестила автодорожную инспекцию.

Оно появилось там вдруг над нами, такое несуразно огромное, что не сразу можно было разобрать, что это такое. Жена была прямо в истерике. Дети отбежали по обочине подальше и закричали, что это большая бутылка.

За нами начали останавливаться машины. Двое мужчин с красными физиономиями болтались там, в корзине, или как бишь ее называют. Они размахивали руками и кричали. И, пожалуй, даже пели что-то.

Что-то они сыпали на нас оттуда сверху. В волосах застревало. Оттуда летели монеты, алюминиевые гривенники, десять пенни.

Потом впоследствии узнали, что это горный советник Рапатти был. А приятель его какой-то мужчина помоложе, какой-то менеджер. Они высовывались из этой корзины наружу по брюхо, размахивали руками и во весь голос ревели что-то невнятное. Как будто переорать друг друга старались.

Люди звонили по автомобильным телефонам, а кто-то даже по телефону экстренного вызова.

Они волочили за собой ужасно длинный канат и пытались зацепить его за столбы электропередачи. Это никак не получалось, и они опус-

тились пониже на уровень этих проводов и зацепились за провода руками.

Они привязали себя к электропроводам. Я спросила, их не ударит током насмерть, но мой сказал, что ничего им не будет, потому что это телефонные провода.

Все движение остановилось. Все только смотрели, что, мол, они собираются делать. А они ничего, собственно, не делали. Тот, потолще, вроде что-то кричал, или, лучше сказать, произносил проповедь, как будто пастор. Так это выглядело.

Мы услышали, что парням из автодорожной инспекции отсюда не добраться туда, к месту. Подумывали уже о вертолете, но решили, что ситуация этого не предусматривает.

Я в точности не видел, потому что они там были далековато от нас, и уж совсем ничего не слышал, но мне показалось, что у них там в какой-то момент мелькнуло ружье, какое-то оружие, и они то ли постреливали, то ли делали вид, что стреляют.

Мне не хотелось ничего говорить жене, потому что она и так сильно нервничала, фактически в истерике была, но опасности для нас никакой не было. По моим прикидкам, расстояние было настолько большим, что мы оказывались за пределами эффективной дальности любого выстрела. Если у них вообще там было какое-то оружие.

После сходили, конечно, с ребятами посмотреть, так там были отверстия в дорожном знаке, и это явно были пулевые отверстия. И щепки отлетали от телефонных столбов.

Потом позвонил ленсман Артъярви, и еще какой-то большой человек там с ними был из Министерства внутренних дел. Они сказали, что скоро будут на месте происшествия. Договорились — точнее, они договорились с губернией, что мы не будем вмешиваться в дело, если только не будет отдельно запрошена помощь.

Внезапно громыхнуло, и ударило пламя. Они начали подниматься вверх. Они взлетели высоко и, пока поднимались, кричали и пели. Там, наверное, ветер сильный, потому что их понесло в сторону Тампере. Они почему-то двигались в точности параллельно шоссе, хотя таким аэростатом, насколько я знаю, управлять никак невозможно. Это происходило там, у Тийрисмаа, и весь автомобильный затор медленно двигался в том же направлении, что и аэростат. Нам пришлось ползти вместе со всеми. Дети канючили, и мой уже начал прикладываться по случаю Иванова дня. За руль пришлось пересесть мне.

По обочине вдоль кювета двигался полицейский автомобиль и приказывал по громкоговорителю людям ехать с нормальной скоростью, но они не ехали. Не знаю, были ли это полицейские, потому что похоже, что и там пили водку.

До дачи добрались только поздно ночью, и костер там уже весь прогорел. А те все это время виднелись маленьким пятнышком на фоне неба.

Ленсман был явно не в своей тарелке, такое складывалось впечатление. Ну а нас, конечно, устраивало предоставить это дело им, пусть сами все

улаживают — у патрулей своих обязанностей хватает, и все торопятся на празднование Иванова дня.

Ала-Вийтала явно не хотел звонить в Лахти, но Мууккконен так долго про это долдонил, что он все-таки позвонил. А Мууккконен сам позвонил губернскому полицейскому советнику, который запросил сведения в каком-то аварийно-спасательном центре и вскоре рассказал, что бутылку многие видели на магистрали 12, от Лахти в сторону Тампере.

Мууккконен договорился там по телефону, что следить за бутылкой будем мы, а другие полицейские округа и автодорожная инспекция не станут вмешиваться в это дело, разве что в каких-то особых обстоятельствах.

Мууккконен вел с полицейским советником и лахтинским начальником полиции пьяный разговор. Ленсману такие разговоры удовольствия совсем не доставляли, но Мууккконен этого не понимал.

Мууккконен попытался забрать у ленсмана мегафон и приказал ехать с включенной сиреной вдоль обочины. Он сказал, что берет на себя полную ответственность. За что? — спросил ленсман.

Я бы не стал вмешиваться в действия Ала-Вийталы, но похоже было, что аэростат ленсман потерял. Парни так и не появились в поле зрения у развилки на Вилляхде, он стал терять уверенность в себе.

Ала-Вийтала из тех руководителей, которые целеустремленны и надежны до тех пор, пока ситуация прогнозируемая и директивы четкие. В ситуации, которая требует инициативности и быстрой реакции, руководитель типа Ала-Вийталы остается пассивным.

Было ясно, что аэростат уже миновал наш наблюдательный пункт. Я твердо сказал ленсману, что необходимо позвонить в Лахти, потому что туда наверняка уже поступили сообщения об аэростате.

Это предположение подтвердилось. Я позвонил еще губернскому полицейскому советнику и договорился, что мы одни будем следить за аэростатом, хотя это и противоречит уставу.

Там, вскоре за Салпакангасом, аэростат и засекли, и потихоньку отслеживали его почти до самого Тампере. Я приказал Ала-Вийтале обратиться к водителям по мегафону полицейского автомобиля, призвав их двигаться вперед с обычной скоростью.

Лайне все это время выглядел совершенно подавленным, но тут вдруг встряхнулся и сказал, что нам следовало бы позвонить женам парней и рассказать, что случилось.

Я был не против предложения Лайне. Может быть, дамы знают какое-нибудь средство, с помощью которого на парней можно было бы повлиять и снова их образумить.

На Лайне что-то нашло, надо, говорит, позвонить их бабам. Жена Рапатти спросила, есть ли у Пентти с собой лекарства. Какие лекарства? — удивились мы. Тут только мы услышали, что у него диабет. Жена Рапатти сказала, что он впадет в кому без уколов инсулина.

Вот черт, ну что мы могли поделать? Вызвать военную авиацию? Их относило ветром, наверно, на полукилометровой высоте, и они там явно уже отрубились. Или по крайней мере Ярвеля вырубился, потому что он мужик молодой и здоровый, и буянил всегда до тех пор, пока не отключался полностью. И с женщинами особо не церемонился. Утихоми-

ривать его могли только водка или чьи-нибудь кулаки — иного мне видеть не приходилось.

Пентти, говорят, пил все утро и предыдущий вечер — прежде чем они забрались в этот аэростат. Не знаю, взял ли он с собой лекарства.

Болезнь Пентти прогрессировала, потому что он еще и лечиться не хотел. Ограничивать себя, зависеть от запретов, от предписаний, от лекарств — это было не для него.

Мысль, что он не может делать что угодно, была для него невыносима.

Сразу после войны, Пентти тогда молодой инженер был, ему на заводе валом каким-то голову пробило. Я не знаю, что это был за вал и как это станок может так разболтаться, что из него вылетает вал весом несколько десятков килограммов и попадает в голову стоящего рядом человека — но так с Пентти произошло. Мы повенчались предыдущей весной, и я уже ждала Хелену.

За мной приехал прораб. Мы жили на квартире директора завода. Пентти лежал на носилках, он положил окровавленную руку мне на живот и сказал, что, если будет мальчик, ему надо дать имя Кауко. Кауко Рапатти, только и смог он произнести и потерял сознание. Кровь была повсюду. Врач спросил, в состоянии ли я выслушать все как есть.

Не знаю, были ли у Рапатти с собой лекарства там наверху. Виски он начал потягивать еще с утра.

Я сказала, что этого я как раз и прошу. Врач сказал, что Пентти парализовало от шеи вниз и еще неизвестно, как перелом черепа повлиял на мозги. Было неизвестно, сможет ли Пентти еще когда-нибудь говорить и будет ли он вообще что-нибудь понимать. Мне пришлось приготовиться и к самому худшему.

У нас дома температура упала почти до нуля, потому что котел центрального отопления вышел из строя, а я не стала изучать, как он работает. Никогда я не была так одинока. Пентти лежал в одном и том же положении и не говорил, и не понимал речь. Или понимал. Глаза у него были открыты. Порой я его ненавидела.

Он был в подпитии, зараза. Забавный мужик, что ни говори, когда выпьет.

Хелена начала тогда шевелиться у меня внутри. Или она шевелилась уже и раньше, но я тогда еще не знала, каково это, когда ребенок шевелится. Внутри подергивало, как будто рыба клевала на удочку. Какой-то человек с завода приходил наладить отопление.

Пентти начал говорить и вскоре уже сидел. Он говорил только о кораблях и станках и их деталях. Он руководил заводом из кровати. Часто его вывозили туда из дому на каталке распоряжаться.

Под градусом-то он всегда делал, что в голову взбредет.

В то время строились эти корабли по репарациям, или делались к ним какие-то детали, и Пентти говорил, что если уж начистоту, то эти корабли — его творение. Пьяный, он потом объяснял, что эти корабли спас-

ли эту страну. Независимость Финляндии была спасена сначала на поле сражения, в Тали и Ихантала, а затем на репарационных стройках, утверждал он.

Он был малость непредсказуем, когда шатался с этими своими пушками всегда в дым пьяный.

Я не понимаю, как что-то там спасли такие корабли, которые никогда даже не плавали.

Пентти решил, что начнет ходить. Врач сказал, есть шансы, что Пентти еще будет двигать руками и даже ногами. Пентти начал ходить, хотя врач говорил, что это невозможно. Пентти встал и пошел, потому что так решил. На Иванов день он сказал, что теперь бросит костыли в костер.

Без костылей он упал и снова оказался в кровати. Целый год я одновременно ухаживала за ним и за Хеленой. Одновременно они учились и ходить, и Пентти задёлал еще и Кауко.

Врач сказал, что Пентти — удивительный случай. Да уж, я много раз думала над этими его словами.

Эти корабли по репарациям строили аж до конца 60-х годов. Последние построили, пожалуй, в 70-х, хотя они тогда уже никакими репарациями не считались, да и Пентти не был начальником механического цеха. Он был в то время уже исполнительным директором судоверфи и членом правления концерна.

Я ведь с этими господами еще в 70-х годах ездил. Еще на рубеже 60-х помню, как встретился с Рапатти в Москве. Пили водку в гостиничном баре. Мы были в составе какой-то культурной делегации. Рапатти, наверное, железо продавал.

У него никогда никаких других болячек не было, пока диабет не разыгрался. Пентти думал, что упрямый нрав поможет ему справиться с сахарной болезнью, как он справился с параличом, что его разбил, когда вал ему в череп заехал, да и со всем остальным.

Однажды на лосиной охоте он нацелил ружье себе в грудь и спрашивает, мол, слышь, думаешь, я не посмею спустить курок? Иди в жопу, сказал я и потопал к охотничьему домику. На банном полке́ он твердил, что я его личный душепопечитель. Иди ты в жопу, сказал я.

Когда ему велели колоть инсулин, он сначала не согласился. Прогнал медсестру, которая должна была научить его уколы делать. Ушел из дому куда-то, а тут раз — и кома. Это его всерьез напугало, и он начал колоться. Но диету особо не соблюдал, а уж питейные привычки и подавно.

Вот сколько я с этими важными шишками терся, а так и не разобрался, что же их мучает.

Пентти сказал, что выпивал с русскими столько, что на него водка уже не действует. Однажды он вернулся из поездки в Советский Союз совершенно разбитым, плачущим. Я испугалась. Я никогда не видела его плачущим. Даже на похоронах Кауко, принимая соболезнования от дирекции и про-

чих, он был как железный. Выглядел всегда одинаково, свадьбу справляли или похороны, кроме как тогда, после поездки в Советский Союз.

Баба Рапатти спросила, мол, главный редактор Перяля с вами? Они дали мне трубку. Она сказала, что Рапатти меня послушает, если я буду говорить разумные вещи. Я удивился, как это он меня послушает, он ведь никогда не слушает никого. Жена сказала, что Пентти меня уважает. По-своему, сказала она.

Никогда я не видела его таким, как после той поездки в Советский Союз. Он расчувствовался, можно сказать, совсем размяк. Из его слезливых речей можно было только разобрать, что какой-то министр ему рассказал, мол, эти построенные в свое время по репарациям корабли никогда ни для чего не использовались. Ту реку где-то в Сибири, где суда должны были эксплуатироваться, занесло илом, и она стала для них слишком мелкой.

Он потребовал, чтобы ему показали корабли. Его доставили туда на реактивном истребителе и на вертолете. Они, говорил он, лежали ржавыми остовами на сухой земле где-то в дельте Енисея, в проране[1].

Я сказал, что Рапатти сейчас так высоко в воздухе, что не услышит моих речей, какими бы разумными они ни были. Жена Рапатти сказала, мол, попытайся его образумить и спустить вниз.

Конечно, мне тоже было обидно за судьбу этих кораблей. Такая суматоха из-за них была, и Пентти всегда пропадал все дни и вечера, даже по воскресеньям, хотя дети были маленькие, да и Кауко еще такой, как был...

Какое-то недовольство его мучило после того, как диабет обнаружился. Он так и не научился жить с ним.

Они позвонили и объяснили, что Сеппо летит вместе с Рапатти на каком-то аэростате и их не опустить вниз. Я сначала не собиралась, думала, я, по крайней мере, не поеду. Я уже давным-давно для себя решила, что меня дела Сеппо нисколько не трогают. Ни работа, ни эти шлюхи — ничего.

Я спросила, что с этим аэростатом происходит и можно ли с ним вообще что-нибудь поделать с земли. Они объяснили, что аэростат, наполненный горячим воздухом, понемногу опустится вниз, когда воздух внутри него остынет. И самое позднее пойдет на снижение тогда, когда горючее закончится.

Я спросила, что там за горючее, и они сказали, что спирт. Конечно, когда он закончится, они спустятся, сказала я.

Лайне беспокойно заговорил. Он был какой-то потерянный — и очень пьяный.

Мне не казалось, что опасность для Сеппо действительно велика. Он выкидывал и куда более идиотские фортели. Я все-таки поехала, потому что жена Рапатти позвонила и попросила. Мне как бы и полагалось ехать.

1. Проран — свободная (не перекрытая гидротехническими сооружениями) часть речного русла, предназначенная для пропуска воды реки в период строительства гидроузла.

Договорились, что встретимся с этими мужиками на каком-то перекрестке неподалеку от Лахти. Названия этого места не помню.

Я вела машину. Жена Рапатти сидела на переднем сиденье рядом и ничего не говорила. Уже подъезжали к Мянтсяля, когда она вдруг спросила, хорошие ли у меня отношения с мужем. Я сказала, что мы разводимся.

Лайне начал вдруг плакать и что-то лепетать. Лайне сказал, что ему ужасно трудно додумать свою мысль до конца, но он надеется, что Рапатти и Ярвеля вниз вовсе не спустятся.

Мне тогда показалось довольно забавным, что он такое выкинул. Меня все сильнее и сильнее разбирал смех, когда я представляла их там, на воздушном шаре, с невероятным грузом спиртного, летящими над Южной Финляндией в канун Иванова дня. Я представила, сколько радости будет всем пьянчугам, когда из-за опушки леса внезапно появится водочная бутылка и пролетит над танцплощадкой. Однако нужно было сохранять серьезность, потому что рядом сидела жена Рапатти и ее мужик-диабетик тоже там летел, может быть, в коме. Хотя я была уверена, что они там наверху просто уже отрубились. Я не понимала, к чему спешить возвращать их на землю.

Сеппо казался человеком спокойным. И я не могла и представить, что он отчебучит что-то вот в этом духе. Конечно, ситуацию на верфи я тоже знала — так, в общих чертах. И во всем концерне. Но Сеппо вроде все воспринимал как игру.

Так ведь все знали, что у Лайне шашни с женой Сеппо Ярвели.

Сеппо всякие безумные номера откалывал. Однажды он угнал с Лауттасаари[1] посреди ночи водный мотоцикл и меня еще, черт побери, сумел уговорить с ним покататься.

Как только я устроилась за его спиной, он на полной скорости устремился в открытое море. Погнали пить пиво, орал он — еще успеем в "Клиппан"[2] до светового сигнала!

Мне оставалось только крепко держаться. Платье промокло насквозь, галстук развевался и колотил меня по лицу. Еще и в бассейн верфи ему понадобилось заехать!

Лайне сказал, что всегда надеялся, что Рапатти когда-нибудь нечаянно пристрелит Ярвелю. Я велел Лайне взять себя в руки. Лайне плакал, что ему просто необходимо увидеть Лауру.

Правда, козлом его никто не считал. Работяги, пожалуй, его любили. Их там, на работе, и тогда было достаточно, хотя были выходные и уже наступила ночь.

1. Лауттасаари — район на западе Хельсинки, расположенный на острове приблизительно в 3 км от центра города.
2. "Клиппан" — танцевальный бар-ресторан, расположенный на небольшом островке неподалеку от хельсинкского парка "Кайвопуйсто".

О Лаура, я так тоскую, так страшно по тебе тоскую, спел один и бросил мне розу, стоя у дымовой трубы круизного лайнера. Я не знаю, откуда там взялись розы, а он вдруг взял и упал в воду. Штраф наложили и на меня, хотя я не делала ничего. Именно за это, сказали полицейские. Полицейских он не боялся. Он только СПИДа боялся и то всегда задним числом.

Эти последние годы для Пентти и помимо болезни были трудными. Он много пил, хотя ему это было противопоказано. Он был всегда на стороне американцев, но после того, как Советский Союз распался, это тоже стало нехорошо. Другими подразделениями концерна он так не интересовался, но судоверфь была его жизнью. Он не желал быть свидетелем катастрофы верфи, о которой ему, конечно, было известно.

Напившись, он твердил, что всю свою жизнь проработал с Советским Союзом, с русскими. Сначала против них сражались, а потом с ними торговали. Пентти всегда говорил, что вот то, что заказывал Советский Союз, это еще корабли: грузовые суда и ледоколы.

А нынче строят только кабаки-поплавки да плавучие луна-парки. Скоро, наверно, будут приделывать судам крылья, чтобы они могли подниматься в воздух, говорил он. Труд всей его жизни пропал, повторял он в последнее время. Хотя сам он все решения, принятые Сеппо Ярвелей в качестве исполнительного директора, благословил и считал их необходимыми.

Раньше торжества по случаю сдачи-приемки судов были всегда одинаковыми. Мужчины в темно-сером, похожие на стаю лещей, произносили речи, поднимали бокалы с шампанским, "Финляндией", игристым вином, сделанным из отечественных ягод, а затем одну бутылку разбивали о борт судна. Я тоже эти бутылки била.

А в нынешнее время там никогда не знают, чего ожидать, и мне теперь больше не нужно даже ходить на эти мероприятия. При Сеппо Ярвеле, когда начинали строить эти комфортабельные круизные лайнеры, на сдаточных празднествах стали организовывать культурную программу.

Однажды он устроил концерт в салоне недостроенного судна, когда делегация заказчика прибыла для осмотра. На всей верфи вдруг погасли огни, зажгли свечи, и пианист в комбинезоне начал играть Шопена на "Стейнвее", который туда откуда-то притащили.

На одно сдаточное торжество он привез какую-то иностранную перформанс-группу, которая устроила выступление в кормовой части палубы судна. Там они швырялись скрапом и резали металл сварочными горелками, и шлифовали дисками судовую сталь так, что летели снопы искр.

Подъемные краны качались взад и вперед, и лучи прожекторов разрезали облака, и их зажигали и гасили. И в темноте это, правда, было довольно впечатляюще.

Пентти тоже участвовал в этих мероприятиях. Он улыбался кривой улыбкой в своем костюме, который напоминал окрашенную в темно-серый цвет жесть, и всегда считал своей обязанностью произнести речь, конца которой было не дождаться.

Вот ведь, черт возьми! Этакая, будто сделанная из бугристого льда бутылка высоко в небе. Два оленя ломают солнце своими рогами, а там,

наверху, бузят горный советник и его исполнительный директор — на это шведы не способны, крикнул я, но они не поняли, что я, собственно, имел в виду.

Я помню, как один-единственный раз он сбросил с себя эту натянутость. Как-то в середине 70-х, тогда, во времена СБСЕ[1], русский переводчик переводил на финский торжественную речь и сказал, мол, пусть киль этого судна всегда будет оставаться над поверхностью воды. Пентти расхохотался, да так, что остановиться просто не мог.

Он даже вышел успокоиться и вернулся назад, чтобы произнести свою речь, самую обычную, такую же бесцветную, как собравшаяся там толпа мужчин, и снова взорвался тем же неудержимым смехом. Хохоча, временами сгибаясь пополам и хлопая руками по коленям, он покинул празднество по случаю сдачи-приемки. Этот случай предали забвению. Тогда так было не принято.

Пентти считали опасным и несколько непредсказуемым. Его не стоило подначивать. Однажды, когда они на верфи справляли Рождество, он затолкал одного молодого инженера в сушильный барабан в бытовке.

Спас его оттуда Сеппо Ярвеля. Пентти наверняка запустил бы барабан крутиться, как инженер спьяну и попросил.

Правда, Сеппо знал подход к Пентти, а Пентти по-своему его ценил, хотя характеры у них были прямо противоположные. Я все думаю, кто кого подбил забраться в этот аэростат.

Мы встретили жен Рапатти и Ярвели на условленной развилке. Аэростат все время относило параллельно шоссе по направлению к Тампере. Высота его полета была неизменной. Никакого движения в корзине заметно не было.

Возле Лампи аэростат внезапно начал снижаться и вскоре оказался у самой поверхности земли на небольшом лугу в нескольких сотнях метров от шоссе.

Я предложил Ала-Вийтале пешком двигаться в район посадки аэростата. Ленсман пытался нас отговорить, но жены, разумеется, хотели пойти туда, на луг. Так мы отправились туда все.

Похоже было, что парни очнулись ото сна. Мууккonен размахивал руками и важничал. Вел себя как какой-нибудь выпускник школы офицеров запаса на заключительных маневрах.

Ленсман пытался добиться, чтобы не валили туда всей компанией, но отговорить этих дам и Мууккonена было, по сути дела, невозможно.

То-то парни обрадовались, когда они нас увидели. Жена Рапатти опять велела мне говорить разумные вещи. Хотя именно в ту минуту в голове Рапатти мало что уложилось бы.

Лезли по колючей проволоке и перепрыгивали через канавы. Женщины одежду себе рвали, и обувь у всех промокла, и носки с чулками. Мууккonен упал в канаву между полосами пашни и верещал там, и отплевывался лягушачьей икрой и головастиками.

1. СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рапатти кричал, и Ярвеля старался его перекричать и визгливо смеялся, что Муукконен и сам головастик, из гандона сбежавший, и дно канавы для него как раз самое место. Я уже понял, что парней на землю нам не вернуть.

Я приказал ленсману кричать в мегафон, что здесь друзья воздухоплавателей и члены их семей, которые хотят только одного — вызволить их из опасности.

Людей на обочинах дороги было полно, но, невзирая на это, я приказал кричать в мегафон, что их ни в чем не будут обвинять, пусть их не пугает присутствие полиции.

Ленсман сказал, что он не может превышать свои полномочия, потому что на самом деле обвинений тут можно было бы предъявить немало — начиная с создания угрозы для воздушного сообщения. Я сказал, что беру всю ответственность на себя. Ленсман отказался, хотя я убеждал его, что самое важное сейчас положить конец опасной ситуации.

Дамы принялись кричать мужьям еще издалека, хотя отнюдь неизвестно было, какой эффект это произведет. Рапатти и Ярвеля выкрикивали в ответ всякие пьяные непристойности.

Все стало ясно еще до того, как мы смогли подойти поближе к аэростату, — эти мужики не собирались сдаваться.

Оттуда было видно все: оловянные пуговицы, фуражки цвета дерьма, синие шинели и манекенщиков "Нокии". Рапатти кричал ленсману, мол, у вас в округе, что, булки с дурью едят? Жена Рапатти побежала к аэростату. Мне показалось, что Рапатти собирается отлить сверху на жену, но тут аэростат начал подниматься.

Аэростат поднялся повыше, и ветер понес его в сторону Лампинской церкви. Там же они и учинили позорный скандал.

Там, на лугу, я последний раз видела Пентти.

У гроба пели: "О, милая земля Суоми, позволь услышать сосен твоих шум и водопадов клокотание, прежде чем час пробьет мне отправляться в путь!"[1] Голос матери сорвался, когда пошло про то, как в мире не найти страны дороже этой бедной родины, которая трудами отцов наших прекрасной стала.

Парни несли спереди, а дядя Аки и дядя Ристо посредине. Вяйнё Хаву и старый хозяин Коскинен несли третьей парой. Уже дошли до могилы, и надписи на венках как раз читали, когда оно вдруг там появилось.

Будто колдовство — надо ж было именно на похоронах отца такому случиться. Мать от этого в обморок упала.

Когда гроб-то понесли, так многие, небось, подумали, мол, совсем он захирел, что ничего не осталось еще до того, как помер. Такой здоровый мужик. И трудягой был до последнего. С чудинкой мужик, но трудяга. Никто не поспорит, что не был он трудягой.

1. Известная песня для мужского хора финского композитора Хейкки Клементти (1876–1953).

Когда отец умер, я смеялся. Потом плакал, но с самого начала смешно стало. Так и умер, как жил, за работой. И ничего не говорил.

Вяйнё Хаву сказал, когда гроб понесли, что первый раз Армас других обременяет. Нес я его, на ВПП[1] в Эйряпяя[2] в 44-м, сказал я.

Восемь детей уже было, и я стал девятым. Когда мне исполнилось шесть, отец купил "холодную" усадьбу[3]. Это был последний год, когда еще можно было приобретать "усадьбы фронтовика".

На него смотрели как на какого-то древнего ящера, когда он пришел бумаги подавать в эту комиссию. Такая комиссия ведь уже пятнадцать лет не собиралась.

Но отец был фронтовиком и вообще отвечал всем условиям, которые у них ставились, и деньги у него были. Откладывались все эти годы. Он купил эту усадьбу — пятнадцать гектаров болота — и начал возделывать ее под поле. Это случилось в 74 году.

Такой вот мужик, черт возьми. Могли бы салют оружейный дать! А тут такие тусовщики хреновы прилетели.

Мы еще жили в старой избе, когда я пошел в школу. Отец возделывал поле. Электричества у нас не было. Я к этим насмешкам да издевкам уже так привык, что школа в этом смысле ничего не добавила.

В третьем начали учить английский. Я его не слышал, как другие, у которых было и электричество, и телики, да и видео, наверно, у них скоро появилось. Отец начал строить дом, когда я был в третьем.

Пошли на охоту, птиц стрелять на пруды Хейнялампи, а Армас копал землю под фундамент для коровника. Ночь пробыли, и следующий день, а обратно возвращаемся — Армас опять копает под этот фундамент. По этой яме было видно, что он копал все это время, да и по самому мужику видно было.

Я спросил, мол, ты что, Армас, и всю ночь эту яму копал? Он даже не ответил, знай себе копал. Сначала коровник построил, а потом дом начал, и поле возделывал все время.

Мать приносила во двор саженцы березы. Откуда-то из-за Хейнялампи носила и высаживала, больше тридцати берез, и оберегала их, и они прижились, так отец, сволочь, взял и наделал из них банных веников. И прямо нарочно. Из материных берез.

Я плакал один в сарае и сжимал в руках топорище. Думал, убью этого мужика!

Я говорю, что если бы я этих мужиков увидел, так сразу бы их убил. Еще бы, такое они выкинули — осквернили похороны Армаса!

1. ВПП — войсковой перевязочный пункт.
2. Эйряпяя — бывшая финская волость на Карельском перешейке на территории, переданной по мирному договору в 1944 г. Советскому Союзу.
3. "Холодная" усадьба — усадьба, не имеющая распаханных полей и строений.

Отец так долго планировал эту покупку усадьбы и ее возделывание и застройку, что иначе и делать ничего не мог — только так, как давно задумал. Он это все в уме проделывал так детально и столько раз... С самой войны он это планировал, но только через тридцать лет смог за это взяться.

У нас все делали вручную. Искусственных удобрений не применяли, пестицидов тоже. На лошади он работал до конца. Лошадь его и домой привезла, когда он на возу с жердями помер. Сено у нас на шестах сушить вешали, а другие уже десять лет как тюковали. Однажды на лугу, на сеновале, сели передохнуть да пообедать, и тут гроза страшная и буря началась. Мы напугались, и у отца спрашиваем, ему, мол, что, никогда ничего не страшно, а он знай себе спокойно ел, хотя деревья там рядом выворачивало с треском. Ну еще чего, за едой да бояться, только и сказал.

По материным цветникам он на лошади ездил. Мать, бедная, выращивала повсюду эти дворовые цветы, а отец их топтал. Говорил, что они у него на дороге, и где она цветники свои ни разобьет, так он непременно там себе путь прокладывает.

Как будто он не терпел вокруг себя никакой красоты. Но это неправда, потому что он украшал даже коровник, в чем уж наверняка не было нужды.

И топорища или хоть оглоблю если, бывало, мастерил, то вырежет там какую-нибудь хитрую извилину, прищурится, голову назад откинет и оглядывает дело рук своих. Я не знаю, зачем ему было нужно цветы вытаптывать. И инициалы свои тщательно на каждой вещи вырезал.

Это из-за цветов-то был у них всегдашний раздор, и я же знаю, что они были для матери самое важное на свете, эти цветочки. Были и есть. Ради цветов и красоты мать была на все способна. Я это только затем рассказываю, чтобы вы знали, почему мать так потрясло на похоронах, когда они опустились на могилу на цветы.

Когда они в Туулосе опустились на кладбище и разогнали пришедших на похороны, то женщины обязательно хотели пойти туда. Или это только жена Рапатти хотела и Муукконен. Ленсман крикнул, мол, как представитель полицейской власти приказываю, чтобы никто не смел туда идти.

Недолго продлился их визит на этих похоронах, но неразбериху они вызвали большую. Они неслись на высоте нескольких метров над кладбищем и, разумеется, видели эту компанию, и тут им вдруг что-то в голову взбрело.

Они протащили там портфель на канате, как какую-то гирю за собой, пропахав в песке пылящуюся борозду, и притормозили скорость. Народ полег направо и налево.

Они подлетели сзади, но распевавшие псалом родственники и друзья покойного, к счастью, их приближение заметили — те заслонили солнце. Упала тень, и они вовремя заметили и успели уклониться от надвигающейся махины.

Тут могло бы кому-то не поздоровиться. А они ни о чем таком, конечно, и не подумали, знай себе дурака валяли. Цветы с могильного холма смели, и венки, и траурные ленты. Они по пояс свешивались из этой корзины, и Ярвеля хватал руками ленты на венках.

Они привязались канатом к высоченному клену, который там рос на краю парковочной площадки кладбища. Читали вслух надписи на венках. Рапатти изображал из себя пастора на кафедре. Когда мы приблизились, они отвязали свой канат и немного поднялись.

Жена Рапатти подошла к дереву и сказала, мол, если у тебя там сейчас есть при себе оружие, то застрелись. Я с тобой разведусь, грымза чертова, орал Рапатти.

Они поднимались и пели в один голос, что, мол, подвезут нас, ребята, с ветерком, государство все оплатит — трюк знаком! Непонятно, где только Ярвеля этой песне научился, но и он орал ее во все горло. Они поднялись на высоту, может, метров сто, а там их опять подхватил ветер.

От Туулосской церкви мы двинули обратно на магистраль 12. Они довольно резво неслись в сторону Тампере. Мы уже думали, что они опять отрубились, как вдруг они начали опускаться. Вскоре мы увидели то, что вызвало у них интерес.

"Автомобильный музей Вехониеми" было написано на дорожном указателе, но автомобили были такие новые, что за музейные экспонаты сойти не могли. И их было много. Слышалась музыка и громкий галдеж, и воздушные шары по небу летали разноцветные. Муукконен к тому времени уже отрубился, и Лайне сел в машину бабы Ярвели.

Там было публичное мероприятие, организованное лайонсами[1]. Я смотрел на эту компанию там, у автомобильного музея, и тогда только мне пришло на ум, что должен же быть у кого-то из них с собой мобильник там, наверху.

Ленсман позвонил по телефону, и они ответили. Было слышно только пение. Глотку драть они были мастера, и тема похорон, как оказалось, еще не была закрыта: "Когда Тилту Ийтти несли хоронить — как жаль, что вас не было с нами! Двенадцать пасторов шли впереди и такт отбивали х..ями".

Это было последнее, что о них услышали. Мобильник, говорят, был найден на месте празднества и передан полиции.

От лица организаторов хотел бы отметить, что это была одна из самых удачных наших акций. Когда этот аэростат прилетел туда, люди, разумеется, подумали, что это часть мероприятия. Мы не стали их разуверять.

Эти мужики кричали и пели что-то, но было не расслышать, что именно. Дети спросили, чего это они. Мы сказали, что они вот такие, что им платят, когда они там летают. Сын спросил, а они катают людей? Лайонсы тоже на вертолете катание устраивали.

Запомнилось, что они проплывали сверху, как раз когда я открывал люк. Взрыв-пакет был подготовлен, и из люка повалило такое адское облако дыма, а они как раз влетели в это облако. Было слышно, как они там кашляют от этого дыма. Они проплыли там, как будто это был но-

1. Лайонсы — в Финляндии разновидность пиетизма, одного из движений внутри лютеранства.

мер программы. Хорошая атмосфера была, и печеная картошка вся разошлась. Выручку собрали неплохую.

Они сбросили оттуда что-то как раз здесь, когда пролетали. Сын побежал забрать – думал, опять кидают сласти. Это был телефон стандарта NMT. По нему якобы спрашивали Пентти. Сын был немного удивлен, потому что его крестного зовут Пентти. Вот там они вскоре исчезли, за опушкой леса.

В Тампере мы застряли в пробке и потеряли их из виду. Их пронесло над городом, и они продолжали свой путь в направлении Икаалинена.

Я спросил, разве они не знают, что даже Маннергейм в свое время высадился на аэростате с тысячным десантом. Ленсман об этом ничего не слышал. Во время мятежа[1], уточнил я, но Ала-Вийтала сказал, что такие слухи до него не доходили.

Ленсман позвонил в Тамперский аварийно-спасательный центр, там располагали разрозненными сведениями – наблюдениями автомобилистов, которые те сообщали им по телефону. На основании этих данных мы поехали вдогонку. Увидеть их уже не успели, но взрыв, правда, видели – и столб дыма.

По данным следственной комиссии, у них были еще десятки литров горючего, вероятно, больше сотни, когда они налетели на линию высокого напряжения.

Как все случилось, так и останется загадкой. Хотя причину смерти у обоих установить смогли – пистолетная пуля, прошившая мозги насквозь.

Они стреляли там друг другу в лоб. Или, возможно, один застрелил другого, а потом застрелился сам, но кто кого застрелил – выяснить не удалось.

На линию высокого напряжения их отнесло уже мертвыми. Или, точнее, на линию они не налетали, но оказались так близко, что возник дуговой разряд, и от этого вспыхнуло горючее.

Государственного леса сгорело в Хямеэнкангасе на десятки миллионов марок, и Поринской бригаде межведомственной помощи пришлось тушить пожар до сентября.

1. Имеется в виду мятеж в Мянтсяля, последний в истории независимой Финляндии (28.02.–5.03.1932), когда сторонники антикоммунистического националистического Лапуаского движения пытались свергнуть правительство и установить в стране правую диктатуру. Тогдашний председатель совета обороны и почетный руководитель формирований шюцкора К.-Г.-Э. Маннергейм был на стороне мятежников, но публично свою позицию не высказывал.

Ээва Тикка

Канун весны

Рассказ

Перевод Любови Тимониной

I

— ДАСТ Бог, доживем, — говорила мама, когда речь шла о приближавшейся весне.

Так у Вуокко еще в детстве сложилось впечатление, что весна есть что-то вроде спасения, которое может и не прийти: зима тогда тянулась бы и тянулась, снега лежали бы на бесконечных лесных и степных пространствах, и лед на озере так никогда бы и не растаял.

Но мать все же дала ей весеннее имя[1]. И при первых признаках весны Вуокко выносила лыжи туда, где кончались многоэтажки, шла в лес, снимала варежку и прижимала ладонь к шероховатому стволу сосны. Она чувствовала тепло: оно шевелилось под кожей, стекало вниз по стволу и образовывало у подножия дерева небольшую проталину. Вуокко верила, что весна обязательно скоро придет. Но порой, когда налетавший снежный вихрь стирал знаки весны, когда облака застилали солнце и тени, словно привидения, наплывали на сугробы, эта вера ослабевала. Как будто все материнские сомнения воплощались в ней, дочери. Каждая новая весна была незнакома, вновь незнакома. Всегда незнакома. После смерти матери Вуокко осталась наедине с жизнью, которая теперь принадлежала ей полностью. Эта жизнь звала, требовала чего-то своим непостижимым языком.

© Eeva Tikka, 2007
© Любовь Тимонина. Перевод, 2009

1. Вуокко означает по-фински "анемона, ветреница". (*Прим. перев.*)

Сомнения матери были напрасными: ей удалось увидеть восемьдесят четыре весны. В течение последней она особенно много спала, но, просыпаясь, просила иногда отодвинуть занавески, чтобы солнечный свет проник в комнату. Сиделка всегда с неохотой выполняла ее просьбу, считая, что яркий свет будет слепить ей глаза. Но мать настойчиво возражала: "Пусть слепит, я не боюсь солнца". И солнце светило ей в лицо, разглаживая морщины и заставляя щуриться. А она широко раскрывала глаза и побеждала в этой борьбе, давая весне ослепить себя еще раз. Мама боялась зимы и темноты, подолгу болела в это время, не раз была близка к смерти. Весна всегда становилась для нее избавлением, она смеялась, ложилась на землю, приникая к ней всем телом. Сад расцветал, птицы купались в весенних лужицах, дождевые черви все чаще выползали на дорожки, разбухая от влаги. Мама прямо-таки светилась жизнью, ее тянуло петь, она вновь чувствовала себя молодой и даже влюблялась, если попадался подходящий мужчина. Осенью мужчина исчезал.

— Где дядя Артту? — как-то спросила Вуокко, видевшая в нем уже отца.

— Ушел, — ответила мама. — Время настало. Никто и не надеялся, что он останется.

— Но почему? — спросила дочь, чуть не плача.

— Чему суждено остаться, то остается; чему суждено уйти — уходит. Да, так вернее всего, — сказала мама решительно, но не без грусти в голосе: приближалась зима. Она оставила лето позади, отбросила его, как разноцветное летнее платье, надев взамен темное зимнее пальто.

Но все печали забывались, когда появлялись первые подснежники на склонах холмов — признаки наступившей весны.

— Ах ты мой аленький цветочек, — говорила мама дочери.

И на душе становилось так хорошо! В ярких лучах, на покрытых цветами склонах, под седыми стволами просыпающихся деревьев Вуокко чувствовала себя красавицей.

Потому что красавицей ее видела мать. Но сейчас все совсем по-другому. Присутствие матери наполняло жизнь Вуокко. От весны до весны. А теперь?.. Теперь осталось лишь ухаживать за могилой.

Осенью Вуокко собирала в лесу, под колючими лапами елей, ветки, покупала вереск и красивые свечки и шла на могилу: мамино имя на надгробной плите и рядышком пустое место для ее собственного имени, которое тоже когда-нибудь здесь напишут. Когда-нибудь. Может, даже скоро.

Укладывая ветки, она видела свое отражение на поверхности плиты, видела свое лицо. На черных камнях лица всегда ясные, поэтому мама хотела именно черный, предполагая, что однажды тот же камень станет пристанищем и для ее дочери. Она не спрашивала мнения Вуокко — хотя самой Вуокко больше понравился бы перламутровый.

Вообще, мама со страстью занималась приготовлениями к смерти с того момента, как она преодолела страх перед ней, и говорила об этом как о деле совершенно будничном.

— Неужели у тебя нет приличного черного костюма? Тот старый был тебе узок еще на похоронах Валмы, я это тогда сразу заметила. Купи что-нибудь новенькое, и кстати: ты ведь помнишь, у кого заказывать службу?

— Помню, у Корпинена.

— Да нет, у Корхонена. Запиши-ка, но не на какую-нибудь бумажку, а прямо в календарь, прошу тебя. Да и насчет службы: пожалуйста, ничего лишнего. Все должно быть предельно просто. Так и напиши: простое отпевание. Написала?

— Да.

— Дальше пиши: черное надгробие.

— Почему черное?

— В нем будут отражаться деревья. Такие прозрачные, будто на них вот-вот распустятся листья. Я умираю, но весна наступит, без всяких сомнений. Я верю. Ну, пиши.

Вуокко записала: черное надгробие, весна без всяких сомнений...

Тот календарь уже закончился... Заботливо уложенные вереск и хвойные лапы покрыл снег. Вуокко снова зашла на кладбище, нашла могилу и очистила золоченые буквы от снега. Но он все шел и шел, легкий и пушистый, и она смахивала его вновь и вновь. Наверное, хозяйка могилы усмехнулась бы и вспомнила: "...без всяких сомнений!" Снег покрывал уже начавшуюся весну, ложился на ветреницы и березовые сережки. Так много было пустого времени...

— Теперь ты можешь поехать куда-нибудь, — предложила как-то двоюродная сестра Керту.

— Да, надо бы подумать куда, — согласилась Вуокко. — Хотя, знаешь, у меня пособие довольно маленькое, ведь я ухаживала за мамой.

— Ты жертвовала собой. Отказалась от своей жизни.

— Это и *была* моя жизнь. Я и раньше работала сиделкой, и с мамой было то же самое.

— Но сейчас-то ты снова начинаешь жить. Самостоятельно.

— Да-да, конечно! — усмехнулась Вуокко. — Самостоятельней некуда!

— Подумай о Марку.

— С чего бы это? По-моему, что прошло, то прошло. И давным-давно.

— Ты сама решила покончить с этим. Всякий раз, когда он пытался заговорить о вашем будущем, ты сразу принималась рассказывать о маме.

— Как же мне было об этом не говорить! Ты прекрасно знаешь, я была для мамы единственной с того момента, как ушел отец. Мне было всего пять лет, когда они расстались.

— Была для нее единственной... — с насмешкой произнесла Керту. — Но сейчас-то все по-другому. Посмотри вокруг — тебе всего шестьдесят лет, у тебя отличная квартира, и правильно вы, кстати, сделали, что переехали сюда из той огромной крысиной норы.

— Зато это был наш собственный дом, с садом. Мама любила его.

— Да-да, конечно любила....Но зачем возвращаться к прошлому, теперь у тебя начинается новая жизнь.

— К твоему сведению, все это время я тоже жила, — сказала Вуокко, мечтая, чтобы Керту поскорей ушла.

Но та опять начала рассказывать что-то про Марку, она вроде слышала, что сейчас он свободен.

— Ну? — Керту выжидающе взглянула на нее. — Что собираешься делать?

— Заведу кошку, — ответила Вуокко.

Это была хорошая мысль. Она давно вертелась в голове, временами вспыхивая, будто масляное пятно на воде под лучом солнца. За окном была еще зима, но солнечные лучи уже потихоньку прокалывали снег, все чаще прорезали темное небо, мало-помалу отвоевывая пространство у ночи. Оставалось только дождаться конца зимы, прожить ее всю без остатка, со всеми этими длинными ночами, которые под землей — где теперь лежала мама — и вовсе не кончаются... Было невыразимо радостно встречать весну вместе с мамой. Больше такого не будет. Мама ощущала весну полным сердцем, будто пропускала ее через себя, отдавая Вуокко. Открывала окно и говорила:

— Слушай.

Именно такой Вуокко помнила мать: сидящей весной у окна и слушающей зябликов.

Мама дарила ей весну, но кошку или собаку — нет: боялась астмы. А сейчас Вуокко могла себе это позволить, ведь со смерти матери прошло прилично времени, и память о ней уже не отзывалась в ее душе столь болезненно. Время придало памяти иное качество: это была уже не сама мама, а лишь воспоминания о ней. И Вуокко догадывалась, что они частично в ее власти, она может ими управлять. Даже присутствие кошки не смогло бы ничего изменить.

Но к этому надо было подготовиться. Изучить вопрос основательно, так как о кошках Вуокко не знала ровно ничего. Она брала в библиотеке книги о происхождении кошек, их характере, особенностях. Читала об их пище, болезнях, беременности и о детенышах. Просматривая новинки, она даже купила книжку, на обложке которой красовались полосатые домашние кошки.

Вуокко отправилась в кошачий приют, чтобы поработать там добровольцем. И ее взяли, хотя она и не скрывала своей неопытности. Количество кошек смущало ее, разнообразие приводило в растерянность, Вуокко присматривалась: не такими уж они выглядели счастливыми. Порой кого-то из них забирали, но тотчас же новый жилец занимал место предыдущего. Она смотрела на кошек и пыталась представить какую-нибудь из них своей: "А хочется ли мне вон ту? А хочется ли ей ко мне?" Вуокко чувствовала себя с ними неуверенно, а они оценивающе поглядывали на нее, хотя еду из ее рук принимали охотно.

Они лениво приоткрывали глаза, равнодушно щурились, когда она останавливалась против клеток. Ни одна, казалось, не имела особого желания пойти с ней, принадлежать ей. Все они ждали кого-то, понимая, что здесь, в безопасной тесноте, они лишь временно. Но не ее они ждали. Кошки лишь продолжали спокойно вылизывать свою шерстку, когда Вуокко проходила мимо.

II

Эту новую кошку Вуокко заметила сразу. Она была серая, с более темными полосками, сливавшимися при движении, что придавало окрасу глубокий, насыщенный цвет, с желто-зелеными, выразительными глазами. Она смотрела на Вуокко не моргая, и в ее взгляде можно было заметить просьбу.

"Я возьму ее, — решила Вуокко. — Эта она, единственная".

Приняв решение, Вуокко заволновалась. А вдруг ее уже присмотрел кто-то другой? Вдруг она кому-то понравилась так же, как и Вуокко? Вдруг ее скоро заберут? В любом случае надо было действовать быстро, и она, не теряя ни минуты, пошла в контору к Райе.

— Там есть одна кошка, которую я бы хотела взять. Новая, серая, — взволнованно выпалила Вуокко. — Посмотришь?

Они остановились перед клеткой. Кошка опять обратила на Вуокко свой неподвижный взгляд, будто знала, о чем пойдет речь.

— Ее, случайно, не берут еще?

— Нет, только два дня назад привезли. Кстати, она в положении, заметила?

— Ой, нет, — смутилась Вуокко.

— Она не бродячая, доверяет людям. Хотя и не стоило бы: как увидели, что она беременна, сразу выкинули на улицу. Ей нужно сейчас подыскать спокойное местечко, где она в безопасности сможет окотиться.

— У меня достаточно места, — сказала Вуокко. — Я возьму ее.

— Точно? — спросила Райя, пристально взглянув на нее.

— Точней и быть не может, — ответила Вуокко, и на душе стало легко и спокойно: не зря что-то привело ее сюда, и она поступит так, как подсказывает ей сердце.

— Тогда я зайду к тебе сегодня вечером. Не возражаешь? Обсудим все в спокойной обстановке.

— Да, конечно.

Ну вот! Выходит, что нельзя забрать кошку сразу. Ну, понятно, Райя хочет сначала взглянуть на ее квартиру, да и с ней самой познакомиться получше — подходит ли она кошке.

Вуокко бросила взгляд на кошку: конечно же подходит. Потом повернулась к Райе:

— Знаешь, я заботилась о маме до самой ее смерти, с кошкой я определенно справлюсь.

— Не сомневаюсь. И все-таки у тебя есть время подумать, а не принимать решение с бухты-барахты.

— Это не с бухты-барахты. Я давно об этом думала. Очень давно. Годами.

"Почему я так сказала? Почему начала говорить о прошлом?"

Но Райя не стала ни о чем расспрашивать.

— Пристроить котят мы, конечно, поможем, — сказала Райя, когда они вечером сидели за чашечкой кофе у Вуокко. — И еще: затяни балкон сеткой. Иначе она не сможет гулять.

Вуокко пообещала учесть все замечания. Она была готова на все, главное — ей разрешили! Проводив Райю, она вышла на балкон посмотреть на погоду. Воздух на улице был прозрачнее и светлее, чем прежде. Он нежно, ласково обтекал лицо. Весь мир, казалось, стал ярче.

Ярче, чем когда-либо. У Вуокко выступили слезы. Она вспомнила маму, вспомнила свет ее глаз, которого она больше никогда не увидит. Никогда. Эта мысль будто бы образовала в ней безмолвное море, теряющееся где-то вдали.

Мама не верила в жизнь после смерти. Не верила, что они когда-нибудь встретятся. Попрощалась с Вуокко так, как прощаются навеки. Как будто и не хотела больше встречаться.

И там, по другую сторону бытия, не нуждалась более ни в ком. Мама хотела лишь отдохновения, отдохновения от всего. В больнице сказала священнику: "Оставь меня, не докучай". Тот тихо прочитал молитву, мама закрыла глаза, и он вопросительно посмотрел на Вуокко. Она кивнула: все было готово, только причаститься мама не успела — уже не было сил. Священник пожал Вуокко руку, благословил и вышел. Следующей ночью мама умерла, перестала дышать, ушла, исчезла...

Сложно было это осознать. Вуокко все равно слышала мамин голос откуда-то издалека, из весны:

— Мой аленький цветочек.

Затянув балкон сеткой и подготовив все остальное, Вуокко поехала за кошкой. По пути она купила в зоомагазине переноску и вздохнула с облегчением, когда кошка согласилась в ней ехать. Это был хороший знак.

— Я тут подумала, назову-ка ее Сюльви, — сказала Вуокко и вопросительно посмотрела на Райю.

— Хорошее имя. Ей подходит.

— Вот и мне так кажется. Я ведь не знаю, как ее звали раньше. Теперь уж все для нее готово: еда, миски, лотки, спальное место... Хотя она вполне может спать и на моей кровати.

— Да, наверное, это все, — улыбнулась Райя.

Вуокко почувствовала себя неловко: "Что за нелепость — перечислять все покупки?"

Сюльви мяукнула в переноске, поторапливая Вуокко. Зато по дороге, в машине, она сидела тихо, видимо, не боялась, и, прибыв на место, не спряталась под кровать, а начала обследовать квартиру — осторожно и встревоженно, постепенно успокаиваясь. Попробовала еду, полакала молока, проверила туалет. И, наконец, одобрив новое жилье, устроилась на диване поверх покрывала, умылась и закрыла глаза.

Вуокко смотрела на Сюльви со слезами умиления. Очень хотелось ее погладить, но она решила дать кошке окончательно успокоиться, привыкнуть к новому человеку и к дому. Она не ведала всего, что Сюльви пришлось испытать, что она чувствовала и что чувствует сейчас. Известно было только одно — ее бросили. Кошка, свернувшись клубочком, посапывала на диване. Внутри нее были котята: четыре, а может, пять. Интересно, чувствовала ли она в себе эти маленькие жизни? Понимала ли, что теперь и она, и ее малыши в абсолютной безопасности?

Вуокко чувствовала себя их защитницей — и это придавало ей уверенность и спокойствие. Она все сделала так, как надо, и сделала это сама.

Вуокко включила классическую музыку и открыла любимую книгу стихов. Лучший вечер за долгие месяцы. Внезапно зазвонивший телефон заставил Вуокко вздрогнуть; кошка тоже подняла голову. "И почему я не сообразила отключить его?" — с досадой подумала Вуокко.

Это была Керту. Как всегда, полна энтузиазма.

— Угадай, почему звоню?

— Делать мне больше нечего!

— Ну, не вредничай. Слушай. Помнишь, мы последний раз о Марку говорили?

— Может, и говорили. И что?

— И ты, конечно, ничего еще не придумала!

— А надо было?

— Надо, — убедительно ответила Керту. — Представляешь, так получилось, что я совершенно случайно встретила его на концерте. И знаешь что? Я была права: он опять один. Он давно уже развелся и, кстати, очень хотел бы тебя увидеть.

— Зачем ты вообще с ним говорила? Да еще и обо мне? Я тебя не просила этого делать! И в свахи не приглашала! — вспылила Вуокко.

— Скажите, пожалуйста! Я, между прочим, не спрашивала у него напрямую, а просто ловко направила разговор и упомянула, что ты сейчас тоже одна. По-моему, ему эта новость пришлась по душе. Понимаешь, на что я намекаю?

— Я вообще не знаю, чего тут понимать! — ответила Вуокко, взглянув на кошку.

Кошка тихо лежала на диване, подняв голову — прислушивалась. Непривычный голос в трубке, должно быть, причинял ей беспокойство. Он раздражал и Вуокко, и единственное, чего ей хотелось в этот момент, — закончить дурацкий разговор и вернуться к прерванному занятию. Музыка играла впустую, пропадая среди бестолковых слов. Керту опять что-то быстро и настойчиво объясняла.

— Я желаю тебе только хорошего. Пойми наконец, это твой последний шанс стать счастливой! Вы два свободных взрослых человека. Вам было бы хорошо вместе, путешествовали бы и все такое. Неужели тебе не хочется развеяться после всего?

— После всего — это после мамы?

— После всего, что произошло! Сейчас ты можешь жить!

— Сколько раз тебе еще говорить? Я тогда жила, сейчас живу, и вообще! Оставь нас в покое!

— Кого это "нас"?

— Сюльви и меня. Прости. Пока.

— Могла бы сразу сказать, что у тебя гости! — Керту бросила трубку.

Вуокко опять села около кошки. Да, она повела себя грубо по отношению к старой подруге и родственнице — верной, любимой, только уж очень утомительной. Но сейчас надо было поступить именно так и никак иначе. Сюльви не должна бродить неизвестно где, нося в себе никому не нужных котят — и точно так же она, Вуокко, не обязана никуда ехать ни с каким чужим мужчиной.

Да, Марку был уже чужой. Много воды утекло с тех пор, когда она ночей из-за него не спала. И когда сырой ветер свистел за окном и ветка яблони постукивала о стену, когда сон бежал от нее, казалось, что мама тоже не спит в соседней комнате. Что и ей беспокойно.

"Я могла бы родить ребенка", — думала она тогда и пугалась этой мысли.

"Да, пожалуй. Невозможное могло стать возможным. Могло бы, если... Если бы была молодой. Хотя... Если поторопиться... Неужели могла бы? Да где ж теперь знать!.."

Вуокко чудилось, что мама ворочается на кровати. Что сумасшедший апрельский ветер ревет, качает и ее кровать. Нет, покоя она не знала. Мысли о Марку только будоражили ее, прогоняли сон. Будь это он, тот, единственный, наверное, она бы так не колебалась.

И она пускала мысли на самотек, разрешала им плыть свободно и беспорядочно. Так было легче, потихоньку Вуокко погружалась в сон — и просыпалась от стона матери.

Нет, у них с Марку шансов не было с самого начала. Однажды он куда-то исчез, Вуокко слышала потом, что нашел другую. Мама к тому времени уже была серьезно больна. И Вуокко поняла, что мысли о детях появлялись лишь от отчаяния, причем приходили только ночью, на границе сна, когда ей в очередной раз казалось, что все могло быть иначе. Не обязательно лучше. Иначе.

Этим Вуокко и довольствовалась, пытаясь осмыслить свои мечты. Они уходили и приходили, оставляя после себя пустоту, мало-помалу, с годами, заполнявшуюся покоем. Ее жизнь была только ее жизнью, и мама была рядом, как и прежде, — драгоценная спутница, гораздо более дорогая, чем какой-то почти незнакомый мужчина. Маму она знала, хотя и не всегда понимала, умела принимать ее непредсказуемость и требовательную нежность. Мать так крепко держала ее в своих объятиях, что Вуокко и не стремилась высвободиться. Она была необходима матери и надежно пряталась за этой необходимостью.

Сюльви беспокоилась, ходила туда-сюда, иногда ложилась на спину, и тогда Вуокко видела, как шевелятся котята. Они должны были вот-вот появиться: Сюльви носила их уже много недель. Вуокко положила руку ей на живот и почувствовала движение. Интересно, сколько их там?

Сколько маленьких жизней под ее рукой? Когда Вуокко убрала ладонь, кошка начала нервно зализывать это место — Вуокко даже испугалась, что надавила слишком сильно. Сюльви перестала лизать, прислушалась. Вуокко видела, как ее живот начал сокращаться. Спустя некоторое время схватки прекратились, но Вуокко решила никуда не отходить, осталась с кошкой, которая принялась опять беспокойно бродить по комнате, поскребла лоток и устроилась на диване. В шестом часу Сюльви тяжело спрыгнула вниз, и Вуокко заметила мокрое пятно в том месте, где та лежала.

Во́ды?

Вуокко заглянула в книжку узнать, что там написано о родах, и понадеялась, что ее помощь в этом деле не потребуется: природа сама позаботится о появлении на свет новорожденных.

Вуокко принесла домик, подготовленный специально для этого случая еще две недели назад, но кошка выпрыгнула оттуда и улеглась на постель. Схватки участились. Вдруг зазвонил телефон.

Кто еще там?

— Привет, это Марку!

— Марку... — непонимающе повторила Вуокко.

— Да, Марку. Ты ведь помнишь меня? Керту наверняка передала тебе от меня привет. И сказала, что я хотел тебе позвонить.

— Может, и передала, — неуверенно пробормотала Вуокко.

— Ну, вот я и звоню...

— Слушай, я сейчас не могу говорить, — неожиданно звонко и уверенно объявила Вуокко. — Времени нет, кошка рожает, — прервала она его на полуслове и, положив трубку, дрожащей рукой вырвала провод из розетки.

Ну, какой же болван! Звонит в такое время!

Пока Вуокко разговаривала с Марку, родился первый котенок. Сюльви даже успела перекусить ему пуповину. Она вылизывала его и громко мурлыкала. Она стала мамой. Сюльви теперь мама!

Через несколько часов появились на свет остальные котята. Всего их оказалось четверо. Тщательно вылизанные, они спали маленькими клубочками возле матери на постели Вуокко. Вуокко едва не расплакалась, хотя, кажется, для этого не было повода. Она принесла Сюльви сливок, потому что слышала, что после родов кошку надо кормить чем-нибудь питательным. Сюльви лакала их с удовольствием. Для себя Вуокко сварила крепкий кофе. В конце концов, она тоже это заслужила! При маме она никогда не пила кофе так поздно, но сейчас повод был исключительный. Наверное, и мама, будь она жива, села бы рядом с ней и выпила чашечку за удачные роды.

Только вот живи они вместе, у них бы не было кошки — даже одной, не говоря уж о целом семействе.

Вуокко открыла бутылку ликера и добавила его в кофе. Только капельку, чтобы лучше заснуть. Надо было разобрать кровать, но она не осмеливалась потревожить маленькое семейство. Спать Вуокко не хотелось, она вышла на балкон и вдохнула — пахло весной. Было тихо; казалось, сад вместе с ней, замерев, прислушивался к рождению. Рождению жизни, весны. Свет лампы падал на набухающие почки клена, круглые, как живот Сюльви.

В них было такое же беспокойное движение. Жизнь рвалась наружу.

Вуокко вспомнила звонок Марку, и теперь это скорее развеселило ее, чем раздражило. Она представила себе выражение его лица, когда он услышал: у меня кошка рожает!

Вуокко вернулась в комнату, села на диван и долго смеялась — но не над Марку. Марку был таким же человеком, как и она.

Вуокко почистила диван и пошла посмотреть на семейство: все они спали. Покрывало под ними было в пятнах — придется постирать.

Будь мама жива, она непременно бы радовалась, и наверняка не было бы никакой астмы! Да, мама верила в то, что жизнь хороша и радостна, но, казалось, совсем этим не дорожила. Прощалась с добрым и радостным так же легко, как и со всем остальным, — весна ведь так коротка.

Мама, ты не понимала и не дала бы мне понять... Мама, весна уже здесь, сейчас! Я держу ее в своих объятиях, она распускается, созревает вместе со мной.

Да, я уже готова, она во мне. Я вижу, как светла и быстра эта ночь! Мои глаза полны жизни. В них отражаются эти короткие светлые ночи, и уже все равно, проживу я их одна или нет. Весна приходит еще до того, как все начинает зеленеть. Это самое прекрасное, беспокойное время....

Пахнет набухшими почками и сырой землей, просыпающейся от глубокого сна. Тает лед, и вода, прозрачная и живая, игриво течет между могилами. Ты чувствуешь весну, мама? Ты веришь в нее?

Юрки Вайнонен

Путешественник-исследователь

Рассказ

Перевод Бориса Сергеева

ДОКТОР Клаус Нагель, начальник захолустной метеостанции, пропал в ночь на шестое апреля. Станция находилась на вершине невысокой скалы, на окраине городка. Ночь выдалась ветреная, над домами и кронами деревьев низко проплывали тучи. Под утро между четырьмя и шестью хлынул дождь. Песчаную дорогу, которая вела наверх к метеостанции, прорéзали ручьи. За станцией дождевая вода низвергалась по склонам извилистыми потоками.

Отдежуривший ночную смену метеоролог Йоханнес Дагни поджидал, когда можно будет отправиться домой. В полузабытьи он сидел за столом в своем кабинете при свете лампы, уставившись в окно — на двор. То и дело его голова клонилась на грудь, но, тут же очнувшись, он стряхивал с себя сон. Чтобы не засыпать, Дагни решил поразмяться и подошел к окну. В рытвинах двора поблескивали лужи. От песка поднимался пар. На ветвях березы сверкали капли. Дагни ждал доктора Нагеля, надеялся, что на склоне холма вот-вот вспыхнут фары его красной "хонды" и, покачиваясь и преодолевая лужи, машина завернет во двор под аккомпанемент шуршащего под шинами песка.

На столе тикал будильник. К семи доктор так и не появился, тогда Дагни предположил, что коллега проспал, и решил его разбудить.

"Tutkimusmatkailija" © Jyrki Vainonen & Loki-Kirjat, 1999
© Борис Сергеев. Перевод, 2009

Через пять гудков на другом конце отозвался сонный голос Марианны, молодой жены доктора, которую телефонный звонок вырвал из глубокого сна. Дагни не сразу удалось объяснить ей, в чем дело.

— Сейчас, — выдохнула Марианна в ухо Дагни.

Прошла минута, другая. По радио передавали утренние новости. Дагни помешивал ложечкой холодный кофе в кружке. В лесу за станцией пели птицы. Он представлял себе, как Марианна расталкивает мужа, дает ему трубку, зевает, потягивается, запускает пальцы в свои темные волосы. Впервые Дагни увидел Марианну на званом вечере у начальника. Он с удовольствием поменялся бы с Нагелем ролями и просыпался бы утром в постели с такой женщиной.

— Алло? — снова раздался голос Марианны. — Его нет... наверное, уже едет.

Но доктор Нагель не ехал на работу. Не сидел за рулем своей "хонды", не огибал площадь, минуя ратушу, и не поворачивал на дорогу, ведущую из города. После телефонного разговора Марианна заметила, что одежда, которую ее муж приготовил для рабочего дня, аккуратно висит на спинке стула. Она выскользнула из-под теплого одеяла и, легко ступая босыми ногами, вышла в кухню. Никого. И в передней, и в уборной тоже. Вернувшись в спальню и накинув халат, Марианна заметила на ночном столике мужа записку. Она щелкнула выключателем лампы. В записке четким почерком доктора Нагеля было написано: "Милая Марианна! Я пропал из твоей жизни, чтобы попасть в нее. Клаус".

Пару часов спустя в кухне Нагелей стоял инспектор полиции с серьезным выражением лица, который допытывался у Марианны, есть ли у той хоть какие-то предположения, что это сообщение может означать. Марианна качала головой. Они слышали голоса полицейских, обыскивавших квартиру: на верхнем этаже гремели мебелью, в гостиной опустошали книжный стеллаж. Кто-то кашлял в туалете. Молодой инспектор чувствовал себя явно не в своей тарелке.

— Нет причин для беспокойства, госпожа Нагель, — заверил он стоящую перед ним женщину и перевел взгляд с ее каштановых волос куда-то под потолок. — Мы его найдем.

Но инспектор ошибся. Доктора Нагеля не нашли, хотя расследование велось добросовестно и в средствах массовой информации прошло объявление о пропаже человека. Никто, похоже, не встречал доктора после пятого апреля. То утро он провел на метеостанции, а в три пополудни вечерний сменщик отпустил его домой. В день, предшествовавший исчезновению, ничего особенного не произошло. Да и вечер, по словам Марианны, был самым обыкновенным. В одиннадцать доктор поцеловал ее на ночь, а сам у себя в кабинете погрузился в книгу о покорении Северного полюса, которую с увлечением читал уже несколько дней. На следующее утро госпожа Нагель проснулась на своем широком супружеском ложе одна.

Исчезновение доктора на время перевернуло жизнь тех, кого оно так или иначе затронуло. Привычное и плавное течение жизни на метеостанции нарушилось, и о спокойной работе пришлось забыть. Среди карт, мониторов, стеллажей с книгами и компьютеров суетились журналисты, фотографы и акулы новостного бизнеса. Полицейские с кисточ-

ками и специальным порошком охотились за отпечатками пальцев, которых на станции было предостаточно. Йоханнесу Дагни пришлось снова и снова рассказывать журналистам о событиях своей рабочей смены. Он видел себя по телевидению и не переставал удивляться, неужели он так выглядит в глазах других. Интерес к этому случаю на короткое время придал бесцветному существованию Дагни новый смысл. Сидя перед журналистами, ловившими его слова, он наслаждался ощущением собственной значимости. С каждым разом он все больше увлекался своей историей и вскоре начал приукрашивать ее сочными подробностями: ночной ливень превратился в "наводнение века", ручьи разрослись в "реки", а тупая усталость — в "дремотное состояние, которое оживляли странные сны".

Ажиотаж, поднявшийся вокруг исчезновения Нагеля, похоже, был неприятен Марианне. Она перестала выходить из дома и отказывалась говорить с журналистами. Впускала она только инспектора полиции. А того дела все чаще приводили в дом доктора, возвышавшийся на поросшем соснами склоне на окраине городка. Почти ежедневно автомобиль инспектора видели рядом с красной "хондой" Нагеля — даже по вечерам, когда шторы был задернуты и траву во дворе заливал лунный свет.

Таинственность, окружавшая молодую жену, подливала масла в разгорающийся костер сплетен. В прессу просочилась информация о неудачном браке Нагелей. Марианну изображали ветреной, легкомысленной женщиной. Ее потребность в мужчинах оставалась-де неутолимой и после того, как она вышла замуж — из-за денег, утверждали газеты, а теперь вот убила доктора Нагеля, который был старше ее на двадцать лет, а труп спрятала.

При всей этой шумихе следствие топталось на месте. Марианна, правда, обнаружила, что пропали рюкзак и рыболовные снасти мужа, а также несколько комплектов одежды, которую доктор носил во время своих походов. Полиция предположила, что доктор — почему-то ночью — отправился в очередной поход. Подозревали даже возможность лунатизма, хотя Марианна и утверждала, что по ночам доктор не имел обыкновения где-то расхаживать, а спал, как все люди. Леса вокруг городка были прочесаны, но безрезультатно: не нашлось и следа доктора Нагеля.

Прошло несколько недель с момента исчезновения доктора, и шум начал утихать. Газеты были вынуждены придумывать новые заголовки, изобретать новые разоблачения. Папка, содержавшая сведения о пропавшем докторе, была переставлена в полицейском архиве в высокий металлический шкаф, на дверце которого красовалась надпись: "Нераскрытые случаи исчезновения". Никто больше не обращал внимания на то, что автомобиль инспектора каждый день стоит во дворе Нагелей. Никого больше не занимало, почему Марианна, по-прежнему лишь изредка выходившая из дома, выглядит вовсе не убитой горем, а цветущей, как юная невеста.

Один человек, однако, знал об этом все: доктор Нагель. Дело в том, что пропал он лишь постольку, поскольку его не нашли. Он не скрывался в окружающих дом перелесках и с наступлением темноты не высматривал в бинокль, как в зашторенном освещенном окне сливаются друг с другом тени его жены и инспектора полиции. Не прятался он и в погре-

бе или гараже среди мешков с картошкой, банок с вареньем, ящиков для инструмента и штабелей шипованных автопокрышек и уж тем более не расхаживал по ночам по дому в темноте, крадучись и лавируя среди мебели, чтобы подслушивать за дверью спальни.

Доктор Нагель сделал то, что и обещал сделать в своей записке: исчез из жизни жены, чтобы попасть в нее. Если бы оставленное им сообщение было истолковано правильно, его бы нашли. В ночь на шестое апреля доктор Клаус Нагель просто переселился в правое бедро своей жены Марианны.

Он все тщательно спланировал заранее. Решение о научной экспедиции созрело за время тихих ночей, проведенных на метеостанции, тогда же были разработаны детали плана. Экспедиция была последним средством сблизиться с Марианной. Больше она не будет воротить нос, не будет по вечерам ссылаться на головную боль или усталость.

Днем исчезновения доктор выбрал среду, пятое апреля. Когда Марианна в тот вечер, как обычно по средам, ушла на аэробику, доктор Нагель спокойно занялся приготовлениями к экспедиции. Он решил взять с собой только самое необходимое, ведь он отправлялся в такое место, где климат будет напоминать экваториальный. Он упаковал в рюкзак лишь несколько смен белья, немного консервов, рыболовные снасти, восьмой том Домашней медицинской энциклопедии (где рассматривалась кровеносная система человека), а также нужные для научного исследования приборы — термометр, анемометр и барометр, а также пластиковый сосуд для замера количества осадков.

Рюкзак доктор спрятал под кровать. После этого он, довольный, улегся и углубился в чтение, поджидая возвращения жены. Он знал, что, вернувшись, жена первым делом посетует: "ну и тяжелое было занятие, я прямо вымоталась", а позднее намекнет: "как же я устала... наверно, засну сразу, как только глаза закрою". Так и случилось: Марианна заснула, пока доктор еще читал о приключениях полярников, пока он блуждал по снежным равнинам с облаком пара вокруг головы, обламывая льдинки с заиндевелых усов. Если бы доктору лишь по средам приходилось утешать себя обществом белых медведей и тюленей, проблема не была бы столь серьезной, но, к сожалению, климат в их спальне становился все холоднее с каждым вечером и с каждой ночью.

На этот раз доктор Нагель хотел быть уверенным, что жена спит крепко. Он растворил пару таблеток снотворного в кувшине с соком, из которого жена, как он знал, нальет себе стакан, вернувшись домой. Еще он написал жене короткую записку — ее перед исчезновением он положит на ночной столик.

После того как Марианна закуталась в одеяло, доктор Нагель лежал, не шевелясь, рядом с женой и слушал ее ровное дыхание. Углы спальни наполнились звенящей тишиной. Доктор ждал. После четырех пошел дождь. Нагель сходил на кухню вымыть кувшин из-под сока и стакан, чтобы не осталось улик. Он слышал, как капли барабанят по подоконнику, и боялся, что их шум разбудит Марианну. Опасения оказались напрасными: жена блуждала далеко в долине снов. Пора было приниматься за дело.

Входя внутрь бедра, доктор чувствовал, как у него потеют ладони и учащается сердцебиение. Внутри было темно, сыро и тепло. Звуки отдава-

лись эхом. В ушах ощущался ровный гул, а шум кровеносных сосудов напоминал движение на далекой автостраде или жужжание проводов линии электропередачи над полем.

Доктор выудил из рюкзака карманный фонарик. Он стоял по щиколотку в красной воде. Должно быть, это было нижнее течение, переносившее кровь из сердца в самые отдаленные ответвления кровеносной системы. Он повернулся, чтобы подниматься против течения. Он был уже не Нагелем, а Ливингстоном. Истоки реки ожидали своего первооткрывателя. В тишине туннеля — кровеносного сосуда — ему слышались крики обезьян, болтовня попугаев, рычание львов и стук изящных копыт вспугнутых антилоп. Он наблюдал мир вокруг себя глазами ученого, зорко напрягая все чувства. Его возбуждало осознание того, что там, где он идет, не ступала нога ни одного человека, то, что он видит и слышит, не видел ни один глаз и не слышало ни одно ухо.

Он делал записи, подсчитывал, проверял направление по компасу, так он впоследствии сможет рассказать о своем приключении. Ходьба против течения давалась тяжело, было трудно дышать. Доктор заметил, что одет слишком тепло. Когда от реки отделился первый узкий рукав, он остановился перевести дух и проверил свое местонахождение. Уселся на береговом откосе и снял мокрую от пота хлопчатобумажную рубашку.

Затолкав рубашку в рюкзак, доктор снова тронулся в путь. Он заметил, что его глаза привыкли к темноте, и погасил карманный фонарик, луч которого до сих пор указывал ему дорогу. Течение реки начало усиливаться. В этот момент в другом мире, в доме, стоящем на склоне горы, в полутемной спальне, Марианна проснулась от телефонного звонка.

Когда полицейские переворачивали его дом вверх дном в поисках следов, позволяющих пролить свет на загадочное исчезновение, когда Марианна и инспектор полиции посматривали друг на друга в кухне, пытаясь истолковать записку доктора, сам Нагель уже брел по красной реке внутри бедра своей жены. Идти вперед стало теперь труднее прежнего — Марианна встала, течение усилилось, оно сдавливало голые икры доктора. Если не считать набедренной повязки, сделанной им из брюк, и болтающегося за спиной рюкзака, одежды теперь на нем не было.

Первый раз в жизни он чувствовал, что он — это не только мысли и сознание, но и мышцы, кровеносные сосуды, эпидермис. Он обливался потом и чувствовал, как сокращаются и расслабляются, напрягаются и опадают непривычные к нагрузке мышцы. Чувствовал, как насыщаются кислородом легкие, как щелкают и скрипят, но подчиняются воле мышц суставы. Самое удивительное, что он всем этим наслаждался. Казалось, будто тело, которое он привык считать неизбежным злом, опорным каркасом, сколоченным на скорую руку для поддержки головы, в новом климате сбросило кожу. Он думал, что его радость сродни радости гадюки, извивающейся на солнечной опушке леса, когда пыль и еловые иглы пристают к новой коже, влажной после сбрасывания старой. Или представлял себя кельтским жрецом-друидом, который обвивает кожей угря руку и чувствует, как по ней пробегает электрический разряд.

Вечером седьмого апреля смертельно уставший доктор Нагель добрался до места. За время ночных бдений на станции он выбрал конечным пунктом место, где в первый раз в поле зрения появляются две большие

погасшие звезды. Он знал, что они будут висеть в темном небе как медные монеты-близнецы. В мире, из которого он исчез, речь шла не о звездах, а о шрамах от прививок на бедре у Марианны. Они напоминали доктору об их первой ночи вдвоем. Он гладил их, целовал, прижимался к ним пахом. Дотрагиваясь до этих шрамов, доктор Нагель чувствовал, как бремя лет падает с его плеч, и опускал ладони на теплые груди Марианны.

Но когда показались звезды, ученый в нем возобладал над бродягой. Пришло время заняться наукой. В последующие дни доктор Нагель не щадил сил. Первым делом он выдолбил пещеру в самом толстом месте бедренной кости жены (Марианна пару дней чувствовала такую мучительную боль в правом бедре, что была вынуждена искать утешения в объятиях инспектора полиции) и обставил ее своим немногочисленным скарбом. После этого он исследовал ближайшие окрестности пещеры. Они казались безопасными и пригодными для научных исследований. По большей части местность представляла собой возвышенность, где чередовались каменистые участки и лоскуты травы. Деревья там не росли, но кое-где каменистый участок окаймляли низкие кусты с красными листьями.

Местность пересекала река. Голодной смерти можно было не бояться. Еще во время своего путешествия он заметил, что река кишит рыбами, которые жадно впиваются зубами в извивающегося на крючке червяка. Рыбы были двух видов: маленькие красные и большие белые. В своих записях доктор именовал их для краткости просто красными и белыми. Мясо красных было питательным, но во рту от него оставался железный привкус. У мяса белых привкуса не было, но почти не было и вкуса. Эти виды жили в водоворотах реки отнюдь не в мире и согласии. Белые нападали на красных. Доктор удивлялся ярости, с которой они вонзали свои острые как иглы зубы в чешуйчатые бока красных. После схваток на поверхности реки плавали растерзанные тельца красных, иногда одни только головы.

Жизнь доктора Нагеля вошла в колею. Он занялся научной работой, перенося мир на бумагу. На первой странице записной книжки он еще до начала экспедиции записал свой девиз: "Ныряй раз за разом в поток сомнения. Сочиняй в темноте, лишь так сумеешь познать свет". В темной тишине бедра его перо создало в мире свет и порядок. Страница за страницей мир становился рассказом. А доктор словно был слепым сказителем, с уст которого льется рассказ о возникновении мира, о свете и тьме, о первом человеке.

Рассказ основывался на результатах измерений. Три раза в день доктор брался за принесенные им с собой приборы, определял погоду и записывал результаты в тетрадь. В перерывах между занятиями наукой он рыбачил, читал медицинскую энциклопедию и совершал пешие прогулки по скалам, в ложбинах которых по утрам стелился туман. Вечерами он исследовал небо в поисках новых звезд.

Доктор заметил, что меняется по мере того, как вырисовывается картина исследуемого мира. Он знал, что уже перестал быть тем доктором Нагелем, каким был в начале своей экспедиции. Укрепились мышцы рук и ног. Кожа на подошвах задубела, пока он лазил по камням. Отросли волосы, борода и ногти. Случайно увидев через месяц после

начала экспедиции свое отражение в реке, он было не поверил своим глазам: кто этот грязный, косматый дикарь, который плавает на спине в реке и наблюдает за ним?

Исследовательская работа оказалась монотонной, так как погода почти не менялась. Никогда не шел дождь, поэтому доктора интересовали прежде всего колебания температуры. Особенно интересными были повторяющиеся периоды жары, когда на стенках пещеры выступала влага, а течение в русле реки усиливалось настолько, что река едва не выходила из берегов. Если в жаркий период остановиться у входа в пещеру и посмотреть за реку, можно было увидеть, как воздух над скалами вибрирует. Жара электризовала воздух. У доктора болела голова. К исходу третьей недели он внезапно обнаружил логику колебаний температуры.

Жара бывала двух видов. Порой температура поднималась медленно и равномерно, иногда же воздух, казалось, наэлектризовывался за несколько минут. Записи доктора показали, что медленное наступление сильной жары всегда приходилось на среду, что помогло ему напасть на верный след. Объяснение нашлось в другом мире. По средам вечерами Ма́рианна стояла, широко расставив ноги, в зале для занятий аэробикой и размахивала руками в такт ритмичным наставлениям инструктора. Чем энергичнее Марианна размахивала руками и топала ногами по полу, чем быстрее поднимались и опускались ее колени, тем жарче становилось прячущемуся у нее в бедре супругу.

Когда доктор искал в своей пещере защиту от зноя, когда он, растянувшись, лежал на постели, кое-как сделанной из одежды, и обмахивал лицо веткой кустарника с красными листьями, его начинали беспокоить воспоминания о Марианне. В мыслях он возвращался в мир, который оставил. Словно подглядывая в дырочку, пробуравленную в бедре, он видел гимнастический зал и два десятка женщин в трико. Зрелище возбуждало доктора. Он пытался сосредоточить взгляд где-то под самым потолком, считать половицы, анализировать развешанные по стенам зала изображения. Но тоска заставляла его устремлять взгляд туда, где была плоть: на ягодицы, бедра, груди.

Когда занятия заканчивались и Марианна переставала подпрыгивать, потягиваться и танцевать, доктор вздыхал с облегчением. Он знал, что это лишь затишье перед бурей. Ему предстоит еще одно испытание, прежде чем температура упадет: Марианна направится в душ. Когда зеркала душевой запотевали от пара, на стенах пещеры начинала выступать влага. Кончики пальцев у доктора зудели, как будто он обжег пальцы в струившейся по телу Марианны, стекавшей на пол и с журчанием убегавшей в водосток воде. На кончиках его пальцев словно проре́зались глаза, которыми он пожирал тело Марианны.

Доктор Нагель не любил жару по средам. Обливаясь потом в одиночестве своей пещеры, он в каком-то в галлюцинаторном бреду видел, как он охотится за голубым цветком, который рос на краю источника и касался его своими блестящими листьями. В широком голубом венчике лепестков ему чудилось лицо Марианны. Оно мешало сосредоточиться на истине цифр, на том, что можно измерить, что стабильно и надежно.

Однако еще большим испытанием были внезапные наступления жары. Решая эту загадку, доктор Нагель полагался на разум и цифры, на их

неподкупное сочетание. Он подсчитывал, складывал и вычитал, возводил в степень. Раз за разом он заходил в тупик. Труднее всего было объяснить, почему эти полосы жары наступали только по ночам. Когда доктор уже склонялся к мысли, что ему придется смириться с тем, что необъяснимое есть часть объяснения, его наконец озарила догадка. Он сидел с удочкой на берегу реки и пришел в такое возбуждение, что уронил удилище в воду и распугал всю рыбу. Объяснение было даже слишком очевидным, хотя и неприятным: доктор осознал, что у Марианны есть любовник. Ничто другое не могло объяснить внезапные ночные приливы сильной жары. Радость от внезапного решения омрачало неведение. Кто этот неизвестный любовник? Кто приводил Марианну в такое возбуждение, что доктор жарился заживо в своей пещере?

На помощь доктору пришло воображение. Черпая вдохновение в ревности, он сочинил рассказ о любовнике Марианны. В рассказе было два персонажа: Ромео и Джульетта. Ромео был молодым широкоплечим инспектором полиции, который расследовал исчезновение супруга Джульетты и по уши влюбился в карие глаза женщины. Вечер за вечером он направлял свой автомобиль во двор замка Джульетты. В свете дворовых фонарей замка танцевали стаи комаров, а плодовые кусты на задворках казались в темноте присевшими на корточки людьми. Подъемный мост, по которому Ромео шагал к дверям замка, обманчиво напоминал настил из цементных плиток. Дверь, в которую он стучался, была неотличима от двери дома доктора Нагеля. Джульетта, которую Ромео заключал в свои объятия, явно была сестрой-близнецом Марианны. Джульетту возбуждали поцелуи любовника. Она чувствовала, как любопытные пальцы поднимают подол юбки и гладят обнаженное бедро. Она отдавалась любовнику на полу в передней на ворсистом коврике. Они занимались любовью еще два раза на широкой двуспальной кровати. Три раза воздух кипел внутри ее бедра, кровь горячими волнами приливала к стенкам сосудов. Три раза жара будила обливавшегося потом доктора Нагеля.

Жизнь могла бы продолжаться так вечно: в двух мирах, в двух историях. Доктор жил бы в своей пещере до конца своих дней с сознанием того, что даже смерть не сможет разлучить его с неверной супругой. Он мог бы утешаться мыслью о том, что они будут делить один гроб, так же как делили брачное ложе. Марианна могла бы выйти замуж за своего инспектора полиции, родить мальчика и девочку, а потом искать себе молодого любовника, когда постаревший и полысевший супруг перестанет ее интересовать. И никто бы уже не вспоминал доктора Клауса Нагеля, начальника захолустной метеостанции, который в один прекрасный день бесследно исчез.

Но сюжеты пересеклись еще раз. С момента исчезновения доктора Нагеля прошло как раз два года. Марианна провела уик-энд у матери и теперь мчалась по ночной автостраде домой. Она устала, глаза, смотревшие на пустынную дорогу, поневоле слипались.

Когда Марианна увидела лося, было слишком поздно. Его глаза блеснули в свете фар двумя бриллиантами. Марианне следовало бы попытаться объехать животное со стороны дорожной насыпи, но она резко вывернула руль не в том направлении и выжала тормоз до отказа. Все произошло в секунду. Машина ударилась об лося, и ветровое стекло взо-

рвалось на тысячи осколков, вспоров животному бок. Пристегнуть ремень безопасности Марианна забыла. Она вылетела через ветровое стекло головой вперед. Машину вынесло с дороги, а тушу лося отшвырнуло в придорожный кустарник. На пустынной дороге воцарилась глубокая тишина. Машина валялась на боку, два ее колеса еще крутились. Из-под смятого капота поднимался пар. Дорога была усыпана осколками стекла, сверкавшими в свете фонарей. На асфальте выделялся черный тормозной след.

Три минуты спустя мимо проезжал автопоезд, водитель которого обнаружил на месте аварии три трупа. Управлявшая автомобилем женщина была сплющена под своей машиной. Лицо изуродовано осколками. Правое бедро сломано выше колена. Рядом с автомобилем валялся мертвый лось. Его желудок вывалился наружу из вспоротого бока. Кишки дымились. Третий труп лежал перед автомобилем. Лишь подойдя поближе, дальнобойщик заметил, что мужчина голый. Его кожу покрывал толстый слой грязи, лицо заросло густой бородой. Косматые волосы доходили до лопаток. Ногти были десятисантиметровой длины. Дальнобойщик бросился назад в свою фуру. Он позвонил по автомобильному телефону на номер аварийный службы.

Когда он выпустил телефон из рук, у места аварии скопились люди. Водители ставили свои машины за автопоездом и сверху с дороги вглядывались в место происшествия. Дальнобойщик принес и выставил сзади и спереди аварийные треугольники.

Прибыла полиция, а также "скорая помощь", хотя дальнобойщик и заявил, что в живых никого нет. Все строили догадки насчет голого мужчины. Неужели он был в автомобиле женщины? Почему на нем не было одежды? Медики внесли тела на носилках в машину "скорой помощи". Случай вызвал интерес у прессы. Установить личность женщины оказалось нетрудно: полицейские нашли в машине сумочку, в которой лежали водительские права на имя Марианны Нагель. Но кем был тот неизвестный голый мужчина?

Полиция снова начала копаться в нераскрытых случаях исчезновения. Нашли папку, на корешке которой красовалось имя Клаус Нагель. Возникли подозрения, но окончательное опознание стало возможным лишь после того, как были острижены борода и волосы покойного. Личность мужчины установили, когда выбритое лицо сравнили с фотоснимком, изображавшим доктора Клауса Нагеля за несколько недель до исчезновения. Начальник метеостанции был найден.

Петри Тамминен

Земля беглецов

Главы из книги

Перевод Евгении Тиновицкой

САНАТОРИЕВ для нервнобольных теперь не стало, но убежищ-то никто не отменял. Надежно спрятаться можно хоть в зарослях камыша, свернуться в клубочек — хоть за вязанкой хвороста. В брошенном хлеву или на старом складе с рустованными стенами не особенно уютно, зато никто не задает вопросов.

Что такое Иванов день на людях, среди шума и гама? Груды дров да пляски у костра. Зато Иванов день в уединении — это утро, когда вода в реках замирает, а старик, лежащий в избе на лавке, прислушивается к ударам собственного сердца. На людях Эско из "Сапожников Нумми"[1] кричит во все горло и лишь в лесу, оставшись один, осознает, что натворил. На празднике жизни мы распеваем шлягеры о любви и только в одиночестве затягиваем псалмы о тоске существования.

Когда мы ищем удобное жилье, удобное кафе, удобное место в жизни — мы, как в детстве, ищем укрытия. Ищем тот чулан, в который забивались, когда нас обижали. Это ощущение остается с нами навсегда. И мы всю жизнь тоскуем по нему — по той защищенности, какую чувствовал младенец Христос в утробе Марии, когда весь свет мира светил ему сквозь девственную плеву.

© Petri Tamminen, 2002
© Евгения Тиновицкая. Перевод, 2009

1. "Сапожники Нумми" — пьеса Алексиса Киви (1834–1872), финского писателя, поэта и драматурга. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Чердак

В погребе прячутся, когда в жизни явно недостает чеченцев и грохота басов, когда тошнит от собственного тела, когда будни тусклы и однообразны, — а чердак предоставляет убежище всегда. Оттуда виден вишневый сад. Там пахнет стружкой. Внизу, в комнатах, бормочут голоса, в ветвях шумит ветер, в стене гудят осы. Впрочем, и на чердаке высотного дома можно уютно устроиться при наличии упорства.

Каждому доводилось хоть раз в жизни подняться из сутолоки цокольного этажа по лестнице в небо, в чердачную тишину. Весь мирской шум доносится точно из другого времени, о котором уже давно написали историки. Там можно лежать под ткацким станком, вдыхая запах старых газет и выцветших обоев и слушать, как жизнь течет мимо. На душе тихо, как в похоронном бюро летом — чиновник жует бутерброд, на гробах играют солнечные блики.

Для больших компаний чердак никак не подойдет — слишком интимная атмосфера, все начнут смущаться. Люди взрослые тоже теряются на чердаке, не зная, что сказать. Чердак — это прибежище юных и одиноких, там получают первые знания о сексе и самом бытии, туда прибегают в семнадцать лет с танцев, осторожно повернув ключ, раздеваются и укладываются, шепча: "И почему половицы такие скрипучие?"

Отцы семейства тоже не прочь забраться на чердак — ускользнуть от субботних обязанностей и полистать номера "Пеллерво"[1] за тысяча девятьсот пятьдесят шестой год. Спустившись, они обнаруживают, что наступил вечер, ужин готов и в Багдаде все спокойно. Тогда они понимают, что есть вещи, которые могут обойтись без них. Это успокаивает — и отцы семейства снова находят в себе силы вмешаться в семейные дела.

Правильный чердак — это куча ненужных вещей, оберточная бумага от прошлогодних подарков, патроны и книжка на шведском: "Det är kärlek, Gunilla"[2]. Здесь есть все, и все это уже не имеет отношения к сегодняшнему дню. Запах пыли и ветоши, дневники, пустые коробки из-под конфет. Письма с передовой, рассказывающие о висящих на сосне трупах, фельдшерская сумка — такие были в ходу в 60-е годы, когда к врачу приезжали на "Яве" из соседней деревни выдрать больной зуб. Старый семейный альбом, групповая фотография: в заднем ряду стоит лошадь, серьезно смотрит в объектив.

Когда спускаешься с чердака ближе к вечеру, кажется, что ты вернулся издалека. В доме светло, в окнах высокое небо. Вокруг молчаливые деревья. Ветер треплет веревку флагштока — пейзаж полон подробностей. Дорога ведет от ворот прямо в большой мир. Жизнь в нем сложна и неопределенна: сегодня ты машинист, завтра пассажир.

Спустившись с чердака, человек может задержаться внизу на долгие годы. Но вернувшись, он понимает, что возвратился в детство, что все идеалы, вся сила и стойкость, все, что помогало просыпаться по утрам, пришло именно отсюда. И кажется, что можно было получить свою долю жизни и вовсе не покидая чердака.

1. "Пеллерво" — популярный в 1950-е годы журнал о ремесле и домашнем хозяйстве для мужчин.
2. "Это любовь, Гунилла" (*шведск.*).

Рабочие районы

Эти пустые дворы не знают, что такое любовь. Возле бараков пробивается самая одинокая, самая заброшенная в мире трава. Под навесами годами пылится всякий хлам вперемешку со старыми рекламными проспектами. Обветшалой погрузочной платформы давно уже не касалась человеческая рука. Рай для беглеца.

Рабочий район летом — место уютное, сухое, затерянное среди промышленного мусора, далекое от шума и потому утешительно близкое к кипению жизни, атмосфере цехов и гулу вентиляторов. Рабочие, появляющиеся в семь утра, — точно родные отцы и матери. Беглец наслаждается честным стуком и треском, деловитым бормотанием людей и машин.

Чтобы находиться здесь, не нужно причины. Если кто-то вас здесь и обнаружит, вряд ли сурово упрекнет. Сам пейзаж говорит в пользу беглеца.

Внутри завода прятаться не стоит. Его лабиринты манят, но в стенах его царят одиночество и запах бетона. Лучшее убежище — наверху, на какой-нибудь кирпичной трубе.

Ясное небо исчеркано самолетными следами, порой, точно серебряная брошка на голубом платье, блеснет и сам самолет. В такой момент приятно подумать о людях, которые сидят в самолете, освещенные солнечными лучами, и читают газету.

Там, наверху, множество звуков. Ветер поет и шумит, ворчит и воет. Если ветра нет, вокруг тихо. Тогда можно покашлять, постучать ботинками или похлопать в ладоши. Раскатится эхо — оно не пугает, оно, точно дорогой друг, сулит покой и защиту на долгие годы.

Когда садится солнце и небо заливает темнотой, на душе у беглеца светло. Он прижимается щекой к нагретой за день трубе и поднимает взгляд. На край трубы садится вечерняя чайка, снова срывается в полет. Лето кончится еще нескоро.

Среди людей

Убийцы и прочие преступники любят затеряться в толпе. После содеянного им хочется снова стать членами общества. Ли Харви Освальд прятался в кинотеатре. Там, в темноте, он смог хоть на миг успокоиться. В запутанной, полной насилия истории, разворачивающейся на экране, ему виделся запутанный, полный насилия реальный мир. Кино — это всегда отказ от реальной жизни. Человек понимает: все, абсолютно все, что сейчас происходит, — лишь игра.

Обычному человеку нет места в толпе. Ее защита — лишь видимость. Иногда, когда внимание массы сосредоточено на чем-либо одном — например, во время футбольного чемпионата, — можно на мгновение ощутить себя невидимым, и ощущение это будет приятно. Но в метро такого ощущения не возникает. Вагоны и эскалаторы перевозят молчаливую массу, и всякий, кто попытается там спрятаться, этим себя и выдаст.

В праздничной или концертной толкотне поначалу ощущаешь себя в безопасности: из такой сутолоки легко ускользнуть. Думаешь о предстоящем вечере, тело невесомо. Спустя три минуты вдруг становится трудно дышать. Скорей в укрытие.

Во время праздника порой случается оконфузиться: когда тебя уличат во лжи или если в доме повешенного ненароком заговоришь о веревке. Раз уж бежать некуда, следует прикинуться ненормальным, завести беседу о единорогах и средневековых болезнях: имейте в виду, я вот такой и могу выкинуть все, что угодно. Неплохо еще посмотреть собеседнику прямо в глаза и задать пару идиотских вопросов, например: зачем в доме пол? для чего люди растут? Но поступок следует исправлять поступком, слова тут не помогут. Что делать, если в кухне снимаешь пальцем крем с праздничного торта и вдруг заметишь в дверях хозяйку? Следует остановиться, перепачканным в креме пальцем описать в воздухе дугу и обнажить нижние зубы. Можно для полноты картины захрипеть. Хозяйка смутится и забудет о происшедшем.

Если свидетелей постыдного зрелища больше одного, нужно вырваться из окружения и исчезнуть без следа. Тут уж прятаться придется где попало, хотя бы даже в людской толпе. Там можно перейти на спокойный шаг и напустить на себя безразличный вид. Успокоить себя мыслью: подумаешь, каких-нибудь двадцать пять лет, и все забудут о случившемся. Ан нет. Когда души в Судный день встретятся в раю, там обязательно отыщется свидетель позора — не один, так другой.

Человек мудрый во время праздника скроется еще до того, как что-то случится. Он быстро оторвется от преследователей и спрячется в первой же свободной комнате. Там хорошо и спокойно. Ничего плохого случиться не может. Толпа за стеной бормочет, как прирученный зверь.

Возникает странное ощущение, когда в такое укрытие заходят люди — случайные прохожие или заблудившиеся. Они приносят с собой шум и гомон. С раскрасневшимися лицами они вваливаются в укрытие и так же внезапно исчезают. Их непринужденность вызывает удивление: переходя из одного мира в другой, они даже не вздрогнут.

Но невозможно прятаться от праздника вечно. Первоначальный страх ослабевает. Веселый шум манит, он протягивает руку, приглашая войти. Из укрытия надо выходить как из автобуса в час пик: неожиданно для себя и с вызовом всему миру: "Мне на вас наплевать, меня больше ничего с вами не связывает". Открывается дверь, за ней — последние засидевшиеся гости. Теперь ситуация позволяет вести себя с достоинством, поблескивать, как бокал: все опасности позади.

На улице становится грустно. Праздник прошел мимо. Для облегчения можно пожалеть себя: ах, как плохо со мной обошлись. Но и это утешение — ненадолго. Главное теперь — добраться домой.

Прятки

Глаз опытного воспитателя навскидку определит, кого будут искать дольше всех. Самые робкие остаются за ближайшим деревом — вместе с самыми шустрыми, которые только и ждут, чтобы их поскорей нашли. Независимый, покладистый и избегающий ссор ребенок спрячется куда дальше. Он испортит всем игру, его будут искать, кричать, а он скрючится в своем дупле и будет улыбаться, слушая знакомые голоса. Его не выманят оттуда даже просьбы воспитателей: за талант многое прощается, это всем известно.

Прятки — это искусство. От этой игры даже на самую шумную толпу детей снисходит покой. Какая-нибудь тайная дыра в крыше сарая или под лестницей кажется родной, как собственное тело. Место и состояние сливаются в одно.

Ужасно, если в выбранном месте уже прячется кто-то другой и этот кто-то шипит и машет руками — уходи, мол. Тогда мир становится огромным и сиротливым, а человек — лишается всяческих прав. Полезть в чужое укрытие — так же неловко, как ошибиться номером, когда звонишь куда-нибудь, или пытаться сойти с поезда в тот момент, когда остальные уже заходят внутрь.

А вот в том, что тебя нашли, нет ничего страшного, во всяком случае, для опытного игрока. Это всегда мгновение обоюдной радости. Когда найден последний спрятавшийся, мир вновь обретает целостность.

По человеку взрослому так же легко не определишь, хорошо ли он прячется. Коллега или оппонент может скрывать свой блестящий талант, и никто не будет об этом знать. Удел выросшего прятальщика — подобно остальным пробираться сквозь будни. Крайне редко он может проявить свои способности — но уж если он к ним прибегнет, попытки найти его в комнате для совещаний и припрячь к совместной работе обречены на провал.

Дом

Молодой паре чулан в съемной двухкомнатной квартире кажется домом. Он только их, и больше ничей. Там запахи из детства, там свежесть унаследованных от прежних жильцов скатертей. Там старые фотографии, книжки комиксов и плюшевые медведи. Остальная квартира — это другой мир, проходной двор, там ошиваются дворники, кричит телевизор, недобрый глаз города заглядывает в окна.

Молодые десять лет мечтают о собственном доме. Дом — это долгожданное спокойствие, снежные рождественские вечера, выявление скрытых талантов. Решение о покупке дома принимается за неделю. В день переезда муж застывает в гостиной, наслаждаясь мыслью: это наш дом, наше гнездышко, здесь мы встретим старость. От этой мысли вдруг становится дурно. Человек смотрит на тридцать лет назад, на тридцать лет вперед и видит, что барахтается посередине, захлебываясь в домашнем уюте, с восковым лицом.

Дом куплен — и это конец. Человек с головой уходит в ремонт. Тот, кем он привык считать себя, остается где-то далеко. Ему снится, что он играет за миланский "Интер" и никак не может набрать скорость — нога отказывает в тот самый миг, когда надо ударить по мячу, снится, что он выходит на сцену гитаристом "Роллинг стоунз" и осознает, что не умеет играть.

За обедом человек молчит и отводит взгляд. Один и тот же пейзаж за окном каждый день видится ему по-новому. Работа изнуряет. В телевизоре то стреляют, то ставят рекорды, то читают новости о том, где сегодня стреляли и какие рекорды поставили. Нет ни дома, ни семьи — одни лишь одинокие люди, которые смотрят телевизор и зовут маму, как

бегущий за поездом Лойри[1]. Этот крик направлен внутрь себя. Так кричат в вагонах-ресторанах во время отправления поезда или в сумраке автовокзалов. Так кричат в чужих микрорайонах чужих городов или в домах, где что-то не так. Опускается темнота, впереди только гроб, в каждом доме на каждом мужском лице гримаса боли.

В выходные мужчина косит свою лужайку. Еще крепкая сорокалетняя соседка развешивает во дворе белье. Мужчина подбирает живот, переносит косилку через колючую изгородь и приступает к работе: почему бы и нет, свою он уже выкосил, результатом доволен и готов помочь ближнему. Соседка кричит "спасибо", в это время на крыльце появляется жена мужчины, весь ее вид — сплошной упрек. Позднее она отстоит свое: навалит между участками камней и посадит там сосны. А сейчас взъерошенный сосед тоже выскакивает из дому: мол, что случилось? Мужчина молча бросается прочь, щеки у него горят. Работа закончена, косилка выключена, на своей половине хлопает дверь, на соседнем участке другая. Мужчина остается один посреди дотла выкошенной лужайки.

В этот вечер мужчина пьет горькую, слушает старые пластинки, звонит приятелю: "Ну и штука эта жизнь, чего ж все так обозлились-то". Приятель не слушает, он говорит "обожди минутку" и выдергивает телефон из розетки. Мужчина пытается поговорить с собакой, собака тоже не слушает, и он начинает смотреть старые слайды. Отец на них моложе, чем он сейчас. Когда проектор гаснет, он долго сидит в темноте.

На следующей неделе он оборудует себе мастерскую в подвале и работает там так же, как когда-то работал его отец. Он с каждым днем все больше любит этот дом. Он начинает любить чердак, на котором повесился предыдущий владелец, начинает любить лестницу в подвал, на которой с кем-то случился сердечный приступ. Ему начинают нравиться потайные комнаты, склады, а больше всего чулан. Там он в одиночестве предается самосостраданию, представляет себе в деталях, кто пойдет за его гробом. Жена уходит в чулан лелеять мечту о счастье. Дети там же играют в прятки, вдыхая запах свежевыстиранного белья.

Мешок с продуктами

Мешок с продуктами в глубине гардероба успокаивает. Случись какая поездка, или кризис, или неурожай — без еды не останусь. Там, в мешке, сардины, тунец, тушенка, овощи, мед и чеснок, салмиак[2] и сахар, рис, макароны и сухари.

Мудрый человек задолго до катастрофы напишет на датский мясоперерабатывающий комбинат и закажет по оптовой цене контейнер ветчины в цинковой таре. Если придется прятаться в лесу, хватит на долгие годы.

Люди, прошедшие войну, говорят, что героя не вычислишь заранее: самый тихий порой оказывается самым отчаянным. Как и второстепенный персонаж может вдруг превратиться в главного. Народ, переживший тяжелые времена, скитается по лесу в лохмотьях, но у кого-то одно-

1. Веса-Матти Лойри (р. 1945) — финский актер, комик, музыкант.
2. Популярная в Финляндии разновидность лакрицы; обладает пряным соленым вкусом, употребляется в пищу и как лекарство от кашля.

го под трухлявым пнем припрятана датская говядина. Когда такой запасливый встречает умирающую от голода танцовщицу, свидание это донельзя трогательно: "Скажи только, чего тебе хочется, я проберусь к яме и открою банку"[1].

Запасливый ни в коем случае не эгоист. Как правильно спрятаться и чем потом питаться, знают только настоящие мужчины. За продуктовым складом надо смотреть в оба, как сопливый мальчишка следит за своими рождественскими подарками, как волк караулит добычу, — пока ешь, следует смотреть по сторонам и глотать куски не жуя: ам-ам.

Сколь ни велик запас, а рано или поздно закончится. Но подкрепленный консервами человек выживет и так. Он умеет смотреть, слушать и терпеть. Даже в голод он сохраняет душевную мягкость, подобно сытому и довольному охотнику: найдя в лесу детеныша дикого кабана, он умиляется ему и забирает его в свой блиндаж — теперь у него есть домашний питомец. А вот год спустя, когда кабан вырастает с тахту, отращивает клыки, лежит на земляном полу свинья свиньей и говорит своему спасителю: "Да пошел ты!" — что станется тогда с кабаном?

Даже если катастрофы не произойдет, мешок с продуктами — это источник скрытых сил. При виде его почти мечтаешь о голоде и холоде, чтобы поскорее испытать себя в новой суровой жизни. Можно сидеть на мягких диванах этого мира и радоваться своей тайне — мешок есть.

Анна Франк

В июне 1942 года семьи Отто Франка и Германа ван Пельса начали скрываться от еврейских гонений. Убежище находилось в задней половине амстердамского офисного здания. От офиса отгородили четыре комнаты, вход был замаскирован под шкаф с документами. В самом доме располагалось предприятие Отто Франка. Сотрудники приносили скрывающимся продукты. Двигаться в убежище приходилось с осторожностью — на складах внизу шла работа.

В августе 1944-го семьи Франка и Пельса были обнаружены. Семеро из восьми жителей дома погибли в концлагере. Отто Франк выжил. Анна Франк умерла от сыпного тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в марте 1945-го, в возрасте шестнадцати лет.

Когда читаешь описания концлагеря, разум цепенеет и отказывается верить. От ужаса начинаешь сомневаться в самом себе: а если бы я оказался среди мучителей? Чтобы избавиться от этих мыслей, читаешь дальше, углубляешься в события, надеясь, что хотя бы к концу справедливость восторжествует. Но этого не происходит никогда. Справедливости нет даже в документах военного трибунала. Там лишь чистая юриспруденция: протокол, смертные приговоры комендантам, и все это кажется недостаточным, никак не связанным с лагерной жизнью.

Гораздо легче читать о тех, кому удалось спастись и спрятаться, хотя бы на миг отсрочить ужасы. Вот эти люди кажутся близкими и реальными. Они вселяют в нас надежду.

1. Отсылка к сюжетам известных в Финляндии военных фильмов.

Когда и их попытка спастись оканчивается провалом, с читателем остается только идеал, представление о том направлении, в каком надо двигаться. И он всеми силами стремится туда. Он клянется всегда защищать слабых и страдающих, бороться с теми, кто злоупотребляет силой. Обещает любить.

В семейной жизни все эти идеалы крушатся за полдня. Они слишком велики для нее. Их невозможно воплотить. Собственная слабость и лживость лишь раздражают. Раздражение можно излить на детей — наказав и накричав.

Книги

Если на необитаемый остров взять с собой книгу — можете считать, что у вас есть все. В хорошей книге можно жить. Мечты выдыхаются, воспоминания блекнут, но ясного света, исходящего от хорошей книги, не погасить ничему. Там человек в безопасности.

Жизнь такова, что человек в ней либо машет с берега отправляющимся кораблям, либо стоит, прислонившись к мачте, и смотрит на удаляющийся берег. В книге и берег, и корабль остаются с вами. В жизни можно продумать все наперед и так, и эдак, а в результате растеряться, увидев очередь у нужной двери. По книге движешься вперед без помех.

Хорошая книга позволяет подняться с дивана и улететь сквозь кухонную вытяжку в Хямеенлинну, в 50-е годы, на мелиорацию почв. В хорошей книге есть клочья облаков, тоска, смерть, такое ощущение удаленности, лесной тропы, что человек как-то теряется, распадается на части. Все, что совершается в книге, совершает теперь он сам. Это он запрягает лошадь, это он едет на ней по берегу. Вернувшись из такого путешествия и вновь обнаружив себя на диване, понимаешь, что выдержал испытание с честью.

Стать вдруг незнакомыми, затянуться клочьями далеких облаков могут и знакомые предметы. Там тоже можно спрятаться, если вглядеться в них, крохотных, с близкого расстояния. Человек попадает в запутанный, заколдованный мир сахарницы, едва только ему скажут: "Почему-то в ложке оказался именно этот кусочек сахара, не тот, который попал в нее сначала, и не соседний, а именно этот"[1].

Финляндия

Финляндия — это сурово. Болотистые неплодородные земли, сухостой, озера да пустоши — вот что она предлагает в качестве убежища. Лишь иногда и ненадолго их сменяют штрихи и линии весеннего ивняка.

В горах и тропических лесах могут укрываться целые армии и стаи неведомых млекопитающих. Наши ущелья и ольшаники — прибежище на одну ночь. Где-то далеко раскинулась прекрасная Шангри-ла — а у нас только круглые ледниковые котлы, на дне которых до Иванова дня не сходит снег.

1. Цитата из книги финского прозаика Вейо Мери (р. 1928) "Водитель полковника".

Но человека упорного не сломить тяжелыми условиями: ведь и на дне ледникового котла есть жизнь, там водятся древние раки-исоподы и бесцветные бабочки. Если растянуть над расщелиной скалы зеленый брезент и залезть под него, получится уютное гнездышко. Там не слышны чужие голоса, туда не забредут случайные туристы.

Самое надежное укрытие здесь — островки леса среди полей. Ими не интересуется сельское хозяйство. Трухлявые деревья в зарослях папоротника, мхи, на которые ложатся длинные тени. Выходя из лесного сумрака, точно из прохлады церкви, к освещенному полю, человек чувствует себя новорожденным — или же выздоравливающим, который покидает больницу.

Финский пейзаж прекрасен своей скудостью. Возвращаясь на пароме из Швеции, подзабыв, кто мы и откуда, мы позвякиваем вилками за завтраком — и вдруг из окна нам открывается настоящий мир. Там, на этих суровых островах, нас ждут истинные ценности и согласие с собственным сердцем. Там мы живем-поживаем, собираем ягоды, ловим окуней, суетимся и искупаем этот грех.

Финны тоскуют всегда. В наших сердцах вечно живо это ощущение: субботний вечер, окно нараспашку, весь мир открыт тебе. Это не печаль и не радость. Это черта, которая есть и у ковбоев — постоянное желание повернуться и уйти куда глаза глядят. Это память о синих небесных лесах, где гнездится сама душа.

Профессионалы

Взору того, кто бежит за жизнью, открываются шоссе, незнакомые города да развеваемые ветром ленточки серпантина на пустых танцплощадках. Тот, кто гонится за вечным счастьем, просыпается утром измотанным, как король рок-н-ролла, и сразу вспоминает, кто он и чего от него ждут. Тот же, кто остался на своем месте, видит, как радость приходит к нему сама, точно лето на весеннюю завалинку.

Душа путешественника сидит у него на плече и поглядывает: что там делает спинной мозг? В минуты опасности она просится на руки, и человек скорчивается, чтобы защитить ее. Но человек, нашедший укрытие, остается в целости и сохранности, будто матрешка. Именно это и нужно бродяге — чтобы можно было сесть на крыльце, покурить и собрать в ладонь мусор с лужайки.

Если искать укрытие только в тревожные времена — ни за что не найдешь. Человек мудрый ищет его всегда. Даже самые дерзкие замыслы сбываются — надо только верить.

И пусть охотники за приключениями сгинут в кольце Большого адронного коллайдера, в отстойниках атомных реакторов или на трибунах Белого дома.

Пусть они творят что угодно — настоящий профессионал купит маленькую дешевую квартирку в Янаккала. Он будет здороваться с соседями, участвовать в субботниках и разгуливать у всех на виду. Но когда наступит ночь, в квартале станет тихо и придет время ложиться спать — тогда ликованию его не будет предела.

Сюзанна Рингель

Миниатюры из книги "Отличная 'гавана'"

Перевод со шведского Марии Людковской

Пятьдесят два года

В это лето с небес на землю выпало столько дождя, как в дни потопа. Молодой жених собрал ландыши в зеленеющей роще, старик достал из бельевого шкафа наволочку жены и осторожно надел ее на свою подушку. Ближе ему уже не подобраться. Инициалы, вышитые к их свадьбе, у него под щекой, печаль в сердце, долгая ночь. Может, посмотреть футбол? Дети — они хорошие, они делают все, что в их силах, но с этим им не справиться. Долгий день. Долгая ночь, сутки, год, долгоиграющий дождь. Это неважно. Кто-то другой сегодня женится, кто-то другой стоит у порога — там, где только что стоял он. Так и должно быть. Он не приглашен. Он желает им всего наилучшего. Пятьдесят два года — это долго; она, его суженая, всегда была рядом. Теперь рядом с ним пустота. Она не пахнет светлыми воспоминаниями, как бы этого ни хотелось его детям, от нее разит безлюдностью, одиночеством и неумолимой безысходностью. Теперь он может есть сосиски сколько хочет. Он не хочет. Придет день, обязательно придет день, молодые скажут да, да — в радости и в горе, да — пока смерть не разлучит нас. Она была хорошей женой. Они прожили хорошую жизнь. Они прожили жизнь, и необозримо бесконечно то, что им предстоит.

© Susanne Ringell, 2006
© Мария Людковская. Перевод, 2009

Золотой Жук

НУЖДА всему научит. Муж Дезире знает, что такое нужда, он вкусил ее сполна, когда Дезире забеременела. С тех пор как она сообщила ему радостную, но пугающую весть, на протяжении нескольких ночей у него внутри все сжималось от волнения — и тогда муж Дезире решил справляться с ней головой, голова была его сильным местом. Ведь это же чёрт знает что такое! Ох уж эти бабы — вечно одно и то же — полный бардак и безответственность — ну мало ли что может произойти!

Что-то происходит в его голове в последующие ночи: с каждой неделей живот Дезире будет расти, уязвимая поверхность увеличится. Под конец Дезире превратится в круглую и мягкую ходячую мембрану, словно нарочно выставленную, чтобы ее толкали и били кулаками. В мире полно опасностей: пьяные на шатких ногах, очереди, толкотня в автобусах и торговых центрах, немощные старики, чьи железные холодные когтистые пальцы беспардонно цепляются за все вокруг, безумные маклеры с портфелями и острыми локтями, неуклюжие дети и вальяжные подростки с торчащими во все стороны аксессуарами вроде хоккейных клюшек и скейтбордов.

О домашнем аресте и речи быть не может, он же не мусульманин, только дремучие мусульмане держат своих жен под замком. Помолиться за Дезире по-христиански он тоже не умеет — он не верит в Бога, в ангелов-хранителей, не уповает с кротостью овцы, что "все будет хорошо". Это просто лень, а он не ленив. Он инженер. Он умеет конструировать разные вещи, которые следовало изобрести давным-давно.

Вот так и вышло, что всю беременность Дезире носит на животе "шлем", подгоняемый под размер живота. Шлем сделан из легкого металла, но обладает хорошей ударопрочностью. Дезире выкрасила его в золотой цвет, и они с мужем называют его Золотой Жук.

Вскоре Золотым Жуком прозвали и ребенка, которого Дезире носит под шлемом. Как-то в воскресенье, в апреле, я каталась на велосипеде и встретила эту молодую счастливую семью. Солнце светит прямо на Золотого Жука, и вокруг живота Дезире сияет ореол; прочное материальное положение ребенку уже обеспечено, потому что отец семейства запатентовал свое изобретение. Они твердо убеждены, что скоро все ответственные будущие матери перестанут наконец ходить в чем ни попадя и будут носить на животе шлем.

"Вы несомненно правы", — говорю я и, пожелав им удачи, еду дальше.

"Шестерка"

КРЕСТНЫЕ Лира и Ансельм работают на шестом маршруте. Трамвай номер шесть, "шестерка". Ансельм — вагоновожатый, Лира — кондуктор. Всегда вместе, всегда в одном вагоне: Лира сидит сзади, на возвышении, откуда ей видны все пассажиры, Ансельм — впереди, за рычагами управления. В перерывах Ансельм курит, а Лира проверяет, в порядке ли ее ногти — ведь они всегда на виду. Даже зимой,

когда Лира надевает серые вязаные перчатки без пальцев, чтобы ловко отсчитывать мелочь и компостировать билеты. Ансельм в зимние холода натягивает на свою лысую макушку меховую шапку-ушанку.

Лира и Ансельм — слаженная пара. Он — король маршрута от Сандвика до Арабии[1], она — королева порядка и спокойствия в салоне: ничто не должно отвлекать Ансельма от его ответственной работы. "Шестерка" — их королевство. Желто-зеленое королевство с красными кожаными сиденьями и красной сигнальной лампой, с черным шнуром звонка под потолком: хочешь выйти — дерни за шнур, и трамвай остановится. Дети до шнура не дотягиваются, они подходят к кондуктору Лире, а она, уж будьте уверены, проследит, чтобы они смогли выйти. Лира помогает и предупреждает, распоряжается и ругается, информирует и призывает: "Проходите вперед, пожалуйста!" Если ее не слушают, она может и рявкнуть. Лиру слушаются все. По ходу дела она учит финский — понемногу, самое необходимое, и задорно выкрикивает: "Käykää peremmälle vaunussa!"[2], хотя язык заплетается от длинных гласных и странных дифтонгов. Ансельм говорит только по-шведски, он ни с кем не разговаривает, он просто ведет, просто ведет и все — это его главная задача.

Такое вот разделение труда, и все довольны. Лира втайне гордится своими знаниями финского, но Ансельм об этом никогда не узнает. Это нарушило бы гармонию между ними. И все же, все же финский — это яркое перо на ее провинциальной шляпке. Оба они из Перно. Теперь они — городские жители. Он высокого роста, она — низкого, детей у них нет, но они любят друг друга. И у них есть "шестерка".

"Шестерка" — до самой пенсии, а потом — крошечный пригородный домик вдали от других домов, а в домике том — полным-полно всякой прекрасной всячины. Фарфоровые фигурки и статуэтки, цыганки, негры и тореадоры. И все такое далекое.

Далекое, как названия хорошо знакомых улиц в Арабии.

Моральные пируэты

ЧТО так влечет дедушку в город? Дети и внуки? Безусловно, дедушка всегда рад нас видеть. Конечно, он приезжает из-за нас, но не мы предел его мечтаний. И даже не долгожданная покупная булочка — из лучших хлебопекарен, политая толстым слоем белой глазури, с вареньем внутри. Не из-за булочки текут у дедушки слюнки в предвкушении поездки в столицу. Хотя булочка — это большой плюс: дома ему приходится довольствоваться невесткиными плетенками, слепленными всегда одними и теми же пальцами. Скучные длинные плетенки.

Когда дедушка приезжает в город, на нем всегда кожаные сапоги с высокими голенищами, шаровары, тяжелое пальто и шляпа, а в руках — чемодан. Всегда, в любое время года. Это его форма. Это наш дедушка, и от него всегда пахнет лошадьми. Он пробудет долго, по меньшей ме-

1. Названия районов Гельсингфорса. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Проходите вперед, пожалуйста!" (*финск.*)

ре — месяц. "Мы так соскучились", — говорит мама преувеличенно бодрым голосом, за которым на самом деле кроются слабость и муки совести. А папа ничего не говорит. Он знает: для него начинаются горячие деньки.

После ужина — а на ужин у нас тушеная говядина с картошкой, соленые огурцы, брусничное варенье, молоко и ягодный пудинг — мать решительно прищуривает один глаз, а вторым многозначительно указывает на дверь. Пора. Это — самое меньшее, что может сделать сбежавшая в столицу дочь, чтобы порадовать старика-отца. Проще думать о чем-то другом или не думать вовсе.

Мужчины молча надевают пальто и головные уборы — отец надвигает шляпу на лоб ниже, чем обычно, — и пускаются в путь. Путь их лежит к Длинному мосту. Там, в одном из переулков, есть кинотеатр, где показывают порнушку, — вот сюда-то и устремлены все дедушкины помыслы. Что думает об этом отец, я не знаю, отец покупает билеты. И они усаживаются рядом, в темноте, на протертых красных бархатных креслах — тесть и зять.

Крестьянин и бухгалтер.

Посмотрев три фильма подряд, отец начинает ерзать на месте, но дедушка даже не думает уходить. Его тело отказывается. И неважно, что они смотрят это не в первый раз — дедушка ходит сюда не ради сюжета. Когда один сеанс заканчивается, сразу начинается другой. Это называется нон-стоп, и это просто превосходное изобретение. Заплатил за вход и смотри сколько хочешь. И дедушка хочет.

"Ну и озорницы тут у вас в Гельсингфорсе", — восхищенно шепчет дедушка папе в темном зале.

Когда они возвращаются домой, у мамы уже готов вечерний чай.

Сергей Завьялов

В *схватке с чудовищем времени: современная финская поэзия*

Поэзия Финляндии плохо известна в России. Это парадоксально, при том что в течение 109 лет страна была автономным княжеством в составе Российской империи, а в течение семнадцати лет (1940—1956) финский язык как язык Карело-Финской ССР был одним из шестнадцати официальных языков Советского Союза (на шестнадцатой ленточке советского герба золотились слова *Kaikien maiden proletaarit liittykkbb yhteen!*). Тем не менее из амбициозных книжных проектов позднего СССР финскую поэзию затронул лишь один: антология скромным объемом менее чем в 400 страниц[1]. Финнов не было ни в книжной серии "Из современной поэзии", ни среди авторов "Иностранной литературы" (за единственным исключением Пентти Сааритсы[2]), даже подборки в соответствующих томах всеохватной "Библиотеки всемирной литературы" имели ничтожный объем и сомнительную репрезентативность[3].

Можно, конечно, попытаться найти этому явлению объяснение внутри поэтического мира. Ведь с русской точки зрения в финской культуре имеется несколько "слабых мест": во-первых, доминирование шведского языка в образованных слоях общества вплоть до середины XX века делало в глазах иностранцев такую литературу вторичной по сравнению с литературой собственно шведской. Впрочем, непредубежденный читатель не мог бы усмотреть никаких следов "вторичности" в поэзии финско-шведского модерна 1920—1930-х годов (Эдит Сёдергран[4], Эльмер Диктониус[5], Гуннар Бьерлинг, Раббе Энкель, Генри Парланд[6]).

Во-вторых, финноязычная поэзия межвоенных десятилетий, стоявшая в оппозиции романтическим эпигонам, была, на русский вкус, слишком "левой": если вне зависимости от происхождения участники групп "Туленкантаят"[7] (Олави Пааволайнен, Катри Вала[8], Ууно Кайлас) или "Кийла"[9] (Арво Туртиайнен[10], Вилье

© Сергей Завьялов, 2009

1. Поэзия Финляндии. Сост. и послесловие Э. Карху. — М.: Прогресс, 1980. — 384 с. (Библиотека финской литературы). В книгу вошли только авторы XX века. За два десятилетия до этого увидела свет другая антология с тем же названием, чуть большая по объему, но включающая еще фольклор и авторов XIX века (М.: Гослитиздат, 1962. — 559 с.).
2. "ИЛ", 1985, № 2. Перевод П. Грушко (цикл стихов на латиноамериканские темы). Кроме того, советский песенник Николай Добронравов поместил в "ИЛ" (1981, № 8) перевод нескольких песенок Ауликки Оксанен.
3. В томах "Европейская поэзия XIX века" и "Западноевропейская поэзия XX века" (оба — 1977 г., объемом соответственно 928 и 847 с.) мы находим 13 стихотворений 6 финноязычных авторов и 17 стихотворений 5 шведоязычных авторов, занимающих в общей сложности 24 страницы.
4. Эдит Сёдергран. Страна, которой нет / Перев. Н. Толстой. — СПб., 2001. — 144 с.
5. Эльмер Диктониус. Колючее пламя / Перев. под ред. Л. Тома. — М.: Прогресс, 1969. — 158 с.
6. Опубликовано 20 стихотворений, написанных поэтом по-русски. См.: Генри Парланд. Вдребезги. — М.: Текст, 2007.
7. По-фински означает "Пламеносцы".
8. Катри Вала. Далекий сад. — М.: Художественная литература, 1966. — 247 с.
9. По-фински означает "Клин".
10. Арво Туртиайнен. Избранное / Перев. Р. Винонена. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 64 с. (Современная зарубежная лирика).

Каява, Элви Синерво) идентифицировали себя с пролетариатом, то русские читатели последних советских десятилетий — с угасающим дворянством Серебряного века. Впрочем, именно "левые" перешли на свободный стих, присоединив свою страну к общеевропейскому эстетическому пространству.

Наконец в-третьих, высокий финский модерн запоздал, достигнув апогея лишь к концу 1950-х — началу 1960-х годов. Поэтому к моменту подготовки той единственной русской антологии (1980 года) его лидеры еще не окончательно завоевали признание. Впрочем, без них, как и без вышеназванных финских шведов, немыслим общеевропейский поэтический контекст. Тогда как украшающие своими статуями столичную Эспланаду классики Йохан Рунеберг[1] и Эйно Лейно[2] остаются фигурами исключительно национального масштаба. Финскими модернистами называют ряд послевоенных авторов, писавших по-фински и по-шведски. Это Ээва-Лииса Маннер, Пентти Саарикоски, Пааво Хаавикко, Ласси Нумми, Кари Аронпуро, Сиркка Туркка, Пентти Холаппа, Миркка Рекола и Ларс Хульден, Бу Карпелан, Йеста Огрен, Марта Тикканен, Клас Андерсон.

Но, возможно, причины нужно искать за пределами мира собственно поэзии: Россия не знала пуританской Реформации, а Финляндия — абсолютистского классицизма, Россия вошла в резонанс с романтизмом в его ранней, а Финляндия — в его поздней стадии. Финские поэты не имели опыта выживания под социальными и культурными руинами, тогда как их русские коллеги так и не довели до конца модернизацию своего ремесла, оставаясь, по преимуществу, в русле традиционных технологий (размеры, рифмы и т. п.).

Однако не менее интересно взглянуть на эту наполненную, казалось бы, эстетической несовместимостью картину и с другой, неожиданной точки зрения: мы увидим, что оба народа были одновременно захвачены викингами, обращены в христианство, оказались в поле зрения "цивилизованной Европы", что в обеих странах в одно и то же время литература (в Финляндии поначалу шведоязычная) сделалась общественно значимым явлением (Пушкин и Рунеберг — фактически ровесники), что в обеих странах после изоляционизма 1930-х годов главным содержанием поэзии стал вопль об обновлении (пусть это обновление по-разному понималось).

Если же отвлечься от того образа русской поэзии, который возникает при контакте с литературным истеблишментом, и заглянуть в журналы "Воздух" или "Абзац", "Транслит" или "TextOnly", зайти на сайты vavilon.ru или litkarta.ru, то мы столкнемся внутри самой русской поэзии со средой, уже не столь отличной от финской. Впрочем, проблемы, над решением которых работает современная финская поэзия, даже в этой среде будут во многом непонятны.

Корнями эти проблемы уходят в те годы, когда в развитых странах на время показалось, что история завершилась, в искусстве всё уже было, "новое" вовсе не *ново*, а лишь утомительно своей претензией на *новое* и т. п., и образовалось некоторое "провисание" художественной ткани, а заодно, незаметно, закончился и *короткий XX век*[3].

1. Й. Л. Рунеберг. Избранное / Перев. В. и Е. Дорофеевых. – СПб.: Коло, 2004. – 303 с.
2. Эйно Лейно. Мир сновидений / Перев. Э. Иоффе. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 286 с.
3. Вообще говоря, можно предположить, что он начался в Финляндии 16 июня 1904 года (в знаменитый Bloomsday, о чем есть краткая реплика в седьмом эпизоде джойсовского романа), когда романтически настроенный юный аристократ, Эйген Шауман, застрелил царского сатрапа, генерал-губернатора Бобрикова, пытавшегося превратить страну в рядовую русскую колонию, а завершился 20 января 1992 года взаимным признанием того, что символ *финляндизации*, неравноправный договор 1948 года о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с СССР, ограничивавший суверенитет страны, утратил свою силу.

Для художников и интеллектуалов 1990-х поменялось все, но, главное, поменялся враг. Теперь им была не респектабельная культура традиционной буржуазии, а скорее тривиальная культура развращенных буржуазными соблазнами масс, и это в стране с сильными социалистическими настроениями и пролетарскими традициями вызвало мощное неприятие во всех сферах искусства. Наибольший резонанс (без преувеличения мирового масштаба) имели "пролетарские" фильмы Аки Каурисмяки (р. 1957), но значащими были сдвиги и в других сферах: балеты Йормы Уотинена (р. 1950), спектральная музыка Кайи Саариахо (р. 1952), авангардные опусы для аккордеона Киммо Похьонена (р. 1964). Тогда же открылись наконец современный оперный театр (1993) и музей современного искусства "Киасма" (1998).

Значительными были трансформации и в поэзии, сделавшие центром внимания группу "Нуори войма"[1], в которую вошли Хелена Синерво (р. 1961), Юкка Коскелайнен (р. 1961), Юрки Киискинен (р. 1963), Риина Катаявуори (р. 1968). Чуть позднее обратили на себя внимание Йоуни Инкала (р. 1966) и Олли Хейкконен (р. 1965). К этому же поколению принадлежат и шведоязычные авторы: Агнета Энкель (р. 1957), Петер Миквиц (р. 1964), Эва-Стина Бюггместар (р. 1967).

Они уже опирались не на мегалопроекты европейского модерна, не на "большой стиль" Элиота и Паунда, не на эгоцентрику сюрреализма, не на контркультурный порыв битников, а скорее на философский анализ ситуации *после модерна*, *смерти автора*, *отмены канона* и проч.

Сейчас, спустя двадцать лет, можно сказать, что они были *последними поэтами*, так как следующее поколение, поколение 2000-х, интегрировало своё, в прошлом сепаратное, *художество* в единое пространство *contemporary art*, пронизанного, как никогда раньше, *актуальными смыслами*.

Тексты, представляемые сегодня русскому читателю, — не более чем археологические шурфы[2]; между антологией позднебрежневских времен и сегодняшней подборкой — огромное, нетронутое лопатой пространство[3]: рядом с Т. С. Элиотом Андрея Сергеева, Рене Шаром Вадима Козового, Паулем Целаном Ольги Седаковой, Эудженио Монтале Евгения Солоновича, Збигневом Хербертом Владимира Британишского остается незанятым место и для кого-нибудь из классиков финского модернизма.

1. По-фински означает "Юная сила".
2. Лееви Лехто только что издал в Финляндии на русском языке малотиражную антологию новейшей поэзии "Говорит пограничная страна. Финская стихомашина 21 века". Хельсинки: нтамо, 2008. — 132 с.
3. Существует принципиально важная подборка переводов в альманахе "Весть-2" (М., 1990) объемом 75 с., инициатором которой был Юкка Маллинен, неустанный пропагандист и переводчик новейшей русской поэзии в Финляндии. Он же был составителем двуязычной книги Kuka puhuu / Кто говорит: Двенадцать поэтов из России и Финляндии. — Ювяскюля: Атена, 1997.

Юрки Киискинен

Из книги "Туда и обратно"

Перевод Сергея Завьялова

Шкала радиоприемника светилась в сумраке комнаты, отбрасывая блики на лица людей, гася их взгляды, когда весь день звучала траурная музыка в память о всеми любимом убийце. Когда сообщили, что танки перешли границу. Когда Советский Союз выиграл в хоккей. Веселая музыка разбивала сердца. Я не понимал, где я. Только сейчас я знаю, куда забрел. Что всего слишком: шума, признаний, строений, которые наваливаются на бесполо множащиеся кольца дорог. Я нажимаю на треснувшую клавишу приемника, она отскакивает обратно, загораются лампы, на стекле в углублении мерцают названия городов, а там — чужие языки, звуки, которые я похоронил, когда учился речи.

вдалеке движется глаз чудовища времени
для героических сказаний не остается

Не знаю, как я оказался на третьем этаже многоэтажного дома, на мосту, в погасшей Европе, я стоял там, в ледниковом периоде, в сверкающем городе, на мысу, вдававшемся в море, над которым был ядерный зонт. Наша радость не высветилась на радаре, когда я разорвал бумагу, когда на руки сползла черно-белая зубчатая фигура, змея, зебра. "Такие же брюки как у отца", сказал я тогда под рождественской елкой, за кадром. Потом смех стал тонуть. Он тонет в тридцатилетней толще, в мутной зеленоватой воде, я ловлю его поблескивающей сеткой, тащу за залатанную штанину.

хрустальная ядерная корона тонет в сверкающей
Европе я вижу нашу радость я слепну от нее

© Jyrki Kiiskinen, 2006
© Сергей Завьялов. Перевод, 2009

Здесь они строили свои подводные лодки
в самом конце этого серовато-стального моря
они собирали эти черные фаллосы смерти
которые беззвучно скользят по дну
здесь откуда рукой подать до родного этому
несостоявшемуся архитектору города здесь на южном берегу
этого серовато-стального моря отец повернулся к нему спиной
здесь ему виделись каменные чудища куполов
у подножья которых сгущались дождевые тучи
сполохи выдыхаемого народом *ура!*
которые опаляли тела здесь ему виделись
колонны лестничные пролеты прошедшего будущего
отзвуки шагов прохладная красота
в фундамент которой вмурованы волосы
гибкие суставы здесь ему виделись
большие потери на берегу этого серовато-стального
моря на которое я смотрю поверх страницы через панорамное окно
вторю взглядом его гибкому призраку
хотя в книге речь ведет покорный рассудок он признает
свою ошибку в шуме этого восстановленного
города этого уравненного
бомбардировками с землей города
в тишине здесь деяния отцов дедов
вызывают одобряемый ужас
запрещаемый восторг здесь я
выстраиваю нового отца я нашел его
в обличье мертвого мужчины
мужчины который не был моим отцом
мужчины который не был всегда прав
мужчины который не был моим отцом

Всё неизменное растворяется, всё окружающее меня каменеет, все камни поют, медленная река протекает мимо, сталь плавится.

Вот и остались позади недоломанные кварталы Брюсселя дом гильдий
позолоченный святой до тела которого
дотрагиваются руками приезжие
дубовый стол на постоялом дворе *Лебедь* за которым
Марксу и Энгельсу привиделся коммунизм
так призрак этот и пошел бродить
остались позади речи и статьи сдвинувшегося наркома
солнечное затмение пение жены Маркса
от которого у пролетариев вяли уши
вот поезд нырнул в прокопченный туннель в нем послышались
стихшее пение затонувшие мысли
пока поезд не вынырнул в зеленой мокрой Голландии
среди сонных деревень и интеллигентных баранов
среди ржавеющих памятников

а затем через поля и непонятно откуда взявшийся лес
минуя обезумевшие трактора
и задумчивых невротических коров
которые пасутся на последних страницах философа
которые превратились в целлюлозу
не нырнул еще глубже в пустыню каменного века
где мелькает лось где мужчина встречает зубра
зубр волчью стаю кости белеют пепел размывается
дождем но железнодорожный состав лязгает езда продолжается
быстрее скорости звука в направлении будущего
в направлении города где дребезжат велосипеды
губы медленно шевелятся и тишина арестовывает
прямо за столом тех кому мешает грохот экскаваторов

Когда всего этого становилось слишком много, приходилось утаивать хорошее. Бежать от семейных кошмаров, которые преследуют до четвертого колена, ускользать от ядовитой домашней паутины, увертываться от самодурства, понимать, что всё опять заведется сначала, уклоняться от грохота посуды, от попадания между двух огней, увиливать от пустоты воскресений, от мучительной слякоти понедельников. Здесь вечно дурацкая музыка, здесь вечная скучища в бесчисленных комнатах, ведут пустые разговоры, подстегивают кофейной жижей сердечную мышцу, даже в детстве это уже непереносимо. Непросто разделить деревенский хлеб, но вот приходится делить долги, обиды, призраки прошлого. Я решил отправиться в школу как мудрая черепаха в свое убежище. Мне виделись римские термы, сбегающие со склонов акведуки, слоны Ганнибала. Я расписывал себе разные радости, немел в цветущем светлом лесу, боялся, что придет время всем этим делиться. Вот оно и пришло.

Он мчится сквозь темный континент памяти
взгляд за освещенным окном устремлен в будущие
годы десятилетия в которых он сейчас
рождается клетка за клеткой и это причиняет боль
невидимые руки несут его сиденье сквозь шелест
благоуханных краев безымянных деревень чужих
языков в утро
они несут их обоих
под перестук рельсовых путей они направляются
в тревожный город который есть фигура их выбора
их связи ни тот ни другой не знает почему
женщина спит рука
мужчины нащупывает кошелек на поясе там он носит
пачку купюр и свое будущее две маленькие
золотые вещицы он выбрал

именно эту маску глядя в оконное стекло неизвестно почему
может быть это и есть его настоящее лицо
вагон прорезает ночь как светящаяся комета
он закрывает глаза и видит множество жизней лица
комнаты странствия которые следуют за ним
светящимся шлейфом гаснут по одному
на обочине железной дороги пока не остается лишь
ветвящаяся колея он смотрит на спящую
женщину на шевелящиеся губы женщины
которые возможно выговаривают его имя

Я шел мимо обшарпанных уличных лотков
на противоположном конце континента
я пытался расслышать твой голос
который тонул в шестиязыком
жужжании других телефонных коробков
который поднимался над бурлящей толпой
напоминавшей клекот в черепе безумного
исполина я силился различить твои слова
вслушивался в шумы нашего с тобой
жилища в кочующие сны вслушивался
в молчание за фразами которых мы не произносили
трубка щелкнула и стала прежней а я снова погрузился
в сумерки в сон своего языка смотреть который
я приехал сюда в эту точку на карте
смысл которой может объяснить только твой голос
Я ушел от тебя, ты мне была так нужна,
я вернулся к тебе, ты скажи мне зачем.

Йоуни Инкала

Избранные стихотворения

Перевод Михаила Яснова

Нынче

В то мгновенье,
когда что-то рождается в мире,
а что-то исчезает,
наши мысли по этому поводу
приобщаются к земной красоте —
а как иначе?

Вчера — значит, давным-давно —
я размышлял о том, что ушедшие
оставили нам среду обитания,
в которой все затоптано,
и если я вижу, как оседает пыль,
то кто-то из моих предков
ее уже поднял;
а сегодня я думаю,
как много предшественников знали до нас
ту границу, где наши возможности
оборачиваются трагедией.

Это и те, мои предки, кто нынче
мне внушает: будь наконец свободным —
тогда свободными станем и мы!

© Jouni Inkala, 2008
© Михаил Яснов. Перевод, 2009

Это и те, чьи жизни оборвались
на полуслове, чей долг и право —
спрашивать, знающие, что не погаснет,
не должно погаснуть
сияющее ядро истины,
скрытое в сердцевине
человеческого сердца.

Минерва

Вечерним голосам

В детстве,
когда загоралась неяркая лампа
и начиналось чтение вслух,
он душой улетал туда, к совам, и переступал порог
их теплых жилищ в лиственных кронах.

Казалось, он проникался движением
этой пушистой головы, поворачивающейся влево-вправо,
словно сам переступал с одной ноги на другую,
и вверялся загадочным крикам,
выпадавшим из острого клюва.

Чего еще хотеть — листва, закатное солнце,
ни напряженная тень орлиных крыльев,
ни иссушенная зноем осока
не тревожили его так,
как эти внезапно отраставшие перья
над красными совиными глазами
и пальцы, костенеющие наподобие когтей.

И он улетал, словно плыл на податливых крыльях,
туда, куда прочим лесным обитателям
доступа не было. Его уносили
совы в такую просторную глубь,
о которой сказать — не поверят, в такую темень
будущей жизни, где через годы
разве что только припомнишь в дружеском разговоре
это время — и то, если будет о чем толковать.

Питер

Сосуды мои превращаются в камень
дворцовых колонн,
и ангел, хранитель горних высот,
спускается с неба.

"Я слишком устал —
позаботься об этом граде".
Чей это голос раздался в тиши —
его ли, мой ли?

"Ты меня услышишь,
когда я вернусь назад".
Я огляделся — вокруг никого,
лишь ангел в небе.

И когда я устроился в поезде, в сердце моем
повернулся двубуквенный ключ: латинская F,
смотрящая на восток, и русская Ф,
обнимающая и восток, и запад.

Пигменты

В тех двух городах, где я часто бываю,
песчаник ратуш, дворцов и соборов
приобретает с годами прежний цвет,
тот, забытый, праздничный,
который освящал собой крестины
да походы к фотографу.
Старинная сепия,
воскрешающая красную карточку, carte rouge,
постепенно застывающую,
покуда тает соль растворителя.
Вслед за ней возникают из небытия —
о, эти первые впечатления, ароматы движения! —
бабушка и дедушка с улицы Мишлен,
эти вновь зазвучавшие слова,
услышанные в те дни,
которые вновь проступают на фото.
Так старая бутылочка виски,
внезапно радующая глаз,
воскрешает запах просмоленной лодки,
стоит только выбить пробку. Так
единственная капля, глубоко на языке,
одаривает памятью о том,
что подобная капля может мучить рассудок,
падая на темя,
или же спасти жизнь,
переливаясь кровью по венам.
Так места нашего временного пребывания
все еще сохраняют тепло,
независимо от тех, кто в них еще бывает, —
ведь кому, как не этим местам,
звучать в нашем имени?

Миркка Рекола

Избранные стихотворения

Перевод Марины Бородицкой, Евгении Тиновицкой

Курбиново

Это случилось во время
паломничества в Македонии, в 1984
году, в Курбинове, в церкви Святого
Георгия, построенной в XII веке.
Фрески, о которых идет речь,
относятся к 90-м годам XII века.

1

Шли они в гору вдоль пересохших полей,
молча, гуськом, по песчаной дороге
переставляя усталые ноги:
жарко, ни облачка, ни ветерка.
Словно врастая в песок
    чередою кустов низкорослых,
шли — или это дорога ползла им навстречу;
                и вдруг —
церковь, еще византийская, на реставрации, видно.
Как не зайти?

© Mirkka Rekola, 1977, 1996, 2004
© Марина Бородицкая. Перевод, 2009
© Евгения Тиновицкая. Перевод, 2009

2

Входят: не заперто. Пусто.
Стены закрыты брезентом.
Вместо разобранной крыши
сверху одна синева.
Перекрестясь по привычке,
тут богомольцы запели:
— Услышь нас, Царю Небесный,
незримый наш провожатый,
услышь нас, о Вездесущий,
явись нам, о Царь царей!

Спели — и двигаться дальше хотели,
как вдруг
странный послышался звук,
словно бы шум дождя,
и поднялась на правой стене
брезентовая занавеска,
и показалась фреска
с ликом Христа.

Вот он явился им,
Царь царей,
вот он глядит на них
сверху вниз,
лоб его ясен,
взор его строг:
веет прохладой, как ветерок,
ярко чернеют тяжелые,
гладкие пряди, —
люди застыли,
не веря своим глазам.

3

Краски сияли:
золото, синь, белизна.
Как простыня на ветру,
выгибалась стена.
Миг — и брезент опустился,
и фреска уже не видна.

Тут повернулись паломники
к левой стене,
глядя на грязный брезент
с недоверчивой верой,
и поднялась, как волна,
занавеска,
и показалась фреска —

белобородый пророк
перед ними вырос:
на лбу морщины, в руке папирус,
посмотрел — и пропал,
и брезент упал.

...В третий раз поднялась занавеска,
и они шагнули на звук,
и открылась новая фреска.
Это был Гавриил:
над ним
полыхал оранжевый нимб.
Он летел, он спешил
донесть
великую тайную весть.
Он ступал по воздуху
широко,
белый плащ струился,
как молоко.

А потом появилась Дева Мария,
поглядела, будто
из глубины зеркал:
Ну-ка, кто меня звал?
Отвернулась, и темноглазый лик
истончился, как лист оливы.
Никогда
Пречистая Дева
не приходит незваной.

Тут подоспела еще картинка,
чуть потемнее цветом:
врата Иерусалима,
пальмовые ветви,
и круглолицые человечки
распяливают свои рубахи —
коричневые,
с длинными рукавами —
в пыли под ногами осла.

А дальше всё померкло,
а дальше всё пропало,
и лопнула завеса,
и зашатался Храм,
исчезли человечки
и ангел длиннокрылый,
над гулкою пещерой,
над мрачною могилой,
над склепом опустелым
дежуривший всю ночь.

...Потом откуда-то вновь появился свет.
Он высветил Иисуса, обрызгал лица
учеников, полумертвых от изумленья,
затем — ликующих, пьяных
небесным хмелем, —
от фрески к фреске светлея,
лучились краски,
и каждый странник был святым Христофором
и нес на спине дитя, несущее свет.

И после, на колеснице Ильи-пророка —
огромной, огненной —
тоже был Иисус:
он гнал золотых коней, он торил дорогу
сквозь царство Смерти —
к солнечному колесу.

Так обошли они круг,
и у первой картины,
с ликом Христа,
самый смелый из них попросил:
— Можно еще? —
И опять поднялось покрывало.

4

Всё повторилось:
фреска за фреской, с начала
и до конца, до порога,
до спуска с горы,
и пока они шли по склону,
фреска за фреской
пред ними плыла
тишина.

Перевод Марины Бородицкой

***

Лифт замер между этажами.
Звонок сломался прошлым летом,
а на часах всегда два тридцать,
пустая крутится кассета,
и маме — ей за девяносто —
понять непросто, что творится.
Ворчит: "На том проснешься свете —
и сам, пожалуй, не заметишь".
— Не бойся, — маме отвечаю, —
похоже, мы пока на этом.

***

Брожу среди полков сосновых,
среди зеленого круженья,
сжимаю трость, топчу траву.
Перед глазами, как на фото,
семейство на лесной поляне.
Там в кадре отвернулся кто-то —
но в гуще зеркала лесного
увижу ясно отраженья
и лица, точно наяву.

***

Я помню, как однажды в церкви
священником оброненная фраза
впечаталась в сознанье:
"Было там пять тысяч мужей, не считая
детей и женщин".
Я вышла и велосипед за раму
к воротам повела.
А кто-то поливал цветы у храма,
я помню надпись на могиле —
Оттилия, и даты — родилась и умерла.
Я вслух сказала, что, похоже,
мы знаем правду лишь наполовину:
Господь пожертвовал не только сыном —
была и дочь. Но ни один апостол
не вспомнил, что была.

***

Кручу его меж пальцев, представляя
большую окольцованную птицу,
и родину его — далекий остров,
похожий на трезубец, с треугольной
вершиной горной. Я его купила
у старого театра, на ступенях.
На бархате блеснула буква "с"
из твердого металла, не согнуть, как ни старайся,
и по краю
рисунок странный — как кардиограмма.
Со временем оно темнеет.
Не то, чтоб я его любила очень —
так, поверчу меж пальцев иногда.
Надень его на миг — соленый привкус,
тревожный привкус крови и металла,
останется во рту на много дней.

Перевод Евгении Тиновицкой

Олли Хейкконен

Избранные стихотворения

Перевод Элеоноры Иоффе

Из сборника "Солнце Якутии"

Войди в вагон,
войди в запах махорки и искусственной кожи.
Ощути машину, ее биенье, галоп материка под ногами,
ощути откос, бесконечные замасленные нефтью снега.
Занавеску в цветочек морщи́т, опадают дождем лепестки.
Вагон-ресторан раскачивается. Кто плачет,
плачет ли кто.
Да уж, народ получает, что просит, —
двенадцать миллионов политруков и одного хозяина,
трелевочные трактора на уборку хлеба. К бытовкам грузовики
с водкой,
ведрами яркую кровь
он получает, хоть и не просил.

* * *

Поклонись рябине. Под ней вверх лицом
похоронен твой брат. Кости в земле
почернеют, травы прорастут в позвонки.
Поклонись рябине, ее коре, похожей на кожу, нитке бус,

© Olli Heikkonen, 2000, 2007
© Элеонора Иоффе. Перевод, 2009

повешенной на развилку ветки. Поклонись пламени ее кроны.
Корни пронзают грудь твоего брата.
Корни пронзают лоб твоего брата.
Рябина полна голосов, что весной
распустятся листьями.

* * *

Солнце встает — снова солнце Якутии,
это скрипучее, заржавленное ядро.
И громыхает земля, когда черное золото, зеленое золото
качают, когда паюсную икру запаивают в банки
обеими руками, в три смены
кормят голодный рот.
А далеко отсюда, далеко за горами,
каждое отлитое из цемента
дупло для жилья,
где благоухают кардамон и свежемолотый кофе,
где щебечет люминесцентная лампа, где солярий
светит и греет,
и каждый жилец — натянутая
из-за крахмальных воротничков улыбка —
готовится к будням, переучетам, корпоративным дням спорта
и длинным, с выпивкой, ленчам.

Из сборника "Край ледника"

Не произноси имени моего всуе,
ибо я приду, когда позовешь. Приду через леса,
мои рога царапают кору и мох,
от моего дыхания замирает пенье птиц, вздымаются в воздух
мокрые листья и гнилые иглы.
Ловлю ноздрями ветер:
смóлы и гроздья рябины, чую тоску человечью.
Зачем я им нужен, мои рога
окостенели и приносят лишь боль. Зачем они тянут
высоковольтные линии, зачем грунтуют лесную дорогу.
Копыта мои пробивают асфальт,
а глаза поглощают свет.
Не зови меня
под сень своих яблонь. Не приходи
в темноту моего леса.
Не приходи. Корневища опутают твои ноги,
колючий кустарник порвет твою кожу.

* * *

Груба, как еловая кора,
боков свалявшаяся шкура.
Когда пробегаю по мелкому ельнику,
по ребрам хлещут иглы и шипы.
    Когда дышу на лугу,
поднимается горькое облако, густое, как зимний день.
Как долог путь от тебя.
Рана прошлой ночи
гноится под третьим ребром.
На болоте кричит запоздавший журавль.
За лесом стучит
    дятел иль солнце.
Бегу на каждый звук,
будто бы он — последний.
Бегу к каждой
заросли.
Как долог путь от тебя,
    как долог путь к тебе.
Когда бегу сквозь росистое утро,
    рана прошлой ночи
суха и блестит.

Хелена Синерво

Избранные стихотворения

Перевод Элеоноры Иоффе

Из сборника "Синяя Англия"

Кто там, снам идя вослед, заплутал в лесу огня?
Кто, в пещере заключен, плачет золотыми пулями?
Кто безголовым бежит по черному проулку, кто безруким?
Чей корабль кровью гружен, чей парус из крови соткан?
Чье там сердце, как откроешь – только горсточка песка?
Чей там глаз размолотый пепельницу наполняет?
Чья там птица однокрылая до луны взлетает?
Кто во рту ребенка носит, зубы чьи осеменяют?
Кто там руку поджигает, говоря: "Я – свет"?
Чьим же снам идя вослед, заплутал в лесу огонь?

Из сборника "Человекоподобный"

Далекие страны

Нет ничего лучше запаха железнодорожных путей.
Если бы я могла выбирать, то сидела бы целыми днями
рядом с путями и нюхала.

© Helena Sinervo, 1996, 2000, 2003, 2005
© Элеонора Иоффе. Перевод, 2009

А вы знаете, что на пристанционных участках
произрастают редкостные растения,
зерна и семена заносятся аж из Сибири?
Пути уходят во всех направленьях,
и если бы я могла выбирать, то не стояла бы здесь,
перемывая кристаллы хрусталя,
а сидела бы в благоухании дегтя и каменной пыли,
лучше которого нет.
И подумайте только: мой ребенок — такой же!
Когда я вхожу с коляской на станцию
и первый весенний махаон
распахивает над его глазами крылья,
он вмиг засыпает.

Полёвка

Только теперь у меня есть время ответить, прости эту
задержку.
Сын отнял пенсию и уехал в Таллин,
не волнуйся — я обойдусь, в жестяной коробке под камнем
спит скрученная купюра, словно павший бумажный солдатик.
Когда сын ушел, я пробралась сюда, к тайнику, и смотрела
как из-под утренних теней появилась мышка-полёвка
и понеслась с ужасной скоростью по льду.
Маленький бескрылый самолетик на взлетной полосе —
что поделаешь, если ветер
дул в сторону проруби.

Из сборника "Ода уху"

Непреклонная

Она останавливается на тропинке — послушать,
как тучи шумят,
как кипрей и мышиный горошек
выплетают калитку в траве,
а зверье и растенья и камни
наблюдают за ней,

за сном, от которого очнувшись,
вдруг осознает, кто она,
кто по кому скучает и что́
из глубин небесного свода
надо песочной лопаткой копать,
как дороги, мосты и туннели.

Она останавливается. Ей скоро четыре,
она уже знает вещи, животных,
названий алмазную магию,
что тени сгоняет со стен
и приручает тигроволков,
когда ночью не спится,

ей скоро четыре, она чувствует,
как подмышками жмет
и как на четвереньках в песке
расцарапываются коленки,
она чувствует, видит и хочет,
ничто для нее не преграда —

даже стая, что подстерегает
на обочинах, пасти разинув,
хотя и прирученная,
чует все подкожные жилки,
ворчит, подвывает, кружи́т,
ждет кормежки.

Генри Парланд
Стихи 1929–1930 годов

Перевод со шведского и вступление Ольги Мяэотс

От переводчика

Генри Парланд (1908—1930) — наиболее яркий представитель финского модернизма. Он родился в России, жил в Финляндии, а умер в Литве, родными языками, на которых говорили в семье, были немецкий и русский, но писал он по-шведски. Судьба Парланда похожа на звездную вспышку: он прожил всего 22 года, но успел оставить значительный след в литературе — издал сборник стихов, высоко оцененных современниками, написал десятки рассказов, опубликовал многочисленные статьи и эссе и создал прославивший его роман "Вдребезги".

Литературное наследие Генри Парланда открывалось читателям постепенно: на протяжении XX века его произведения переиздавались несколько раз, имя неизменно упоминалось во всех трудах по истории финской литературы, но суть и глубина его творчества оставались долгое время непознанными и неоцененными. Спустя почти столетие книги Генри Парланда возвращаются в литературный обиход и звучат на удивление современно.

Стихи, представленные в данной подборке, были написаны в 1929—1930 годах, когда Генри Парланд жил в Каунасе в Литве. В это время он живо интересовался современной ему литературой Советской России — в первую очередь новаторскими тенденциями и художественными экспериментами. Следы этого увлечения, или, точнее, углубленного внимания, прослеживаются в лирике поэта.

***

В Хёгхольмене[1] звери
бродят в клетках по кругу
но всему прочему миру
ничуть их не жаль.
Мы тоже ходим по кругу,
но нас все жалеют
ведь мы называем это
свободой.

***

Как банально:
Любовь.
Как бессмысленно:
Равнодушие.
И чуть менее безысходно:
смерть.
И так заносчиво:
жизнь.

© Ольга Мяэотс. Перевод, вступление, 2009

1. Хёгхольмен (фин. Коркеасаари) – хельсинкский зоопарк. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

***

Одного жизнь обнимет так
Что дух вон,
А другой воспарит
в ее объятиях
Так какие объятия сильнее —
Те, что душат,
Или те, что оживляют?

***

Теперь
я
Хочу:
клеить новые солнца луны звезды
на пыльный стеклянный колпак неба
намазывать новую траву на луга
рисовать новые тени на откосах.
Как реки
потекут по земле
мои краски
и расцветят океан.

***

Забавно:
сперва она звонила ему
(каждый день).
Потом он звонил ей
(каждый день).
В конце концов
телефон уже звонил
сам по себе.

***

Не знаю
что произошло с тех пор
как я увидел тебя в последний раз
— бродил ли я
по пустынным дорогам
или сидел
и грезил о тебе.
а может
— я только что вернулся
от тебя.

Самый великий язык
– немой язык
рук.
Именно руками
мы хватаем жизнь
выжимаем из нее
немного солнечного света
который проливается на нас
и окрашивает золотом.

***

Я брился
перед косоглазым
зеркалом
и мое отражение
так и подмывало
показать мне язык.
Однако я успел первым,
и оно понимающе подмигнуло в ответ
Но тут бритва
Дважды царапнула мне подбородок.

***

Я вступил
в долгий осенний день
ветер гонит
шуршащие листья.
Здесь и там
топорщатся убогие травинки:
мы не хотим
не хотим
умирать.
А небо
устало навалилось
на кроны деревьев.

***

Дождь без устали стучит
ревматическими костяшками пальцев

по оконному стеклу:
Впустите!
И тычет в
косые глаза луж:
впустите!

***

Я
снова
простудился
и вот сижу дома
за письменным столом
и чихаю стихами.
Бациллы простуды
и микробы поэзии
кишат по всей комнате
и мне трудно отличить
одни от других.

***

Ты
заговорила
о "потом"
я же думал только
о "теперь".
Мы удивленно
переглянулись
Я
изумленный твоим дерзким "потом"
а ты
моим сдержанным "теперь".

***

Словно пара
белых женских рук
обняла мою душу
осень
и медленно
вырвала меня
из мира.
Было больно,
но совсем

недолго
потом все стало как прежде
или, пожалуй, немного легче.

***

Может и проще
скользить назад
но не слишком ли мы
Торопимся.
Все же лучше
ползти
вперед
(к цели
которой еще нет).

***

Поймите же:
мне
все равно.
У меня нет средств
на жизнь
какой бы дешевой она ни была.

***

В иные времена
я мог сказать:
я
не могу
я
не хочу
(просто тогда
я еще не знал,
что это на самом деле
так).

***

Я хотел написать твой портрет
несколькими головокружительными
строчками,

но ты удивленно наклонила голову
и единственное
что мне осталось
несколько робких золотых отблесков
когда свет лампы
играл на твоих волосах.

***

Мне показалось
что она замерзла,
и захотелось
укутать ее открытую шею
теплыми мягкими словами.
Но порыв ветра
сорвал их.
И вот она
по-прежнему идет рядом
а ее обнаженная шея сияет
как снежинка в сумерках.

***

Весна в Каунасе[1]:
грязь
и лужи солнечного света
разлитые на перекрестках.

***

Неман гонит перед собой льдины
словно стаю откормленных гусей.
Они вразвалочку уплывают вдаль
и громко гогочут
когда мосты пытаются испугать их
своей силой воли.

1. В данном стихотворении — Каунас, а не Ковно (ср. выше); к этому времени Г. Парланд уже некоторое время постоянно жил в Литве и в быту пользовался литовскими географическими названиями; об этом косвенно свидетельствует и переписка Парланда той поры.

Леена Крун
Тайнарон

Главы из романа

Перевод Евгении Тиновицкой

Луг и указующие дорожки

Письмо первое

КАК не вспомнить наши весенние прогулки в университетском ботаническом саду, здесь, в таком обширном и ухоженном парке Тайнарона? Ты бы удивился, увидев его: многие здешние растения не встречаются у нас. Есть здесь даже такие, которые цветут под землей.

Мне здесь больше всего полюбился луг, заросший одними лишь полевыми цветами: васильками, репейником, льнянкой, вероникой.

Но ты напрасно думаешь, что это обычные луговые цветы. Это особые гибриды огромных размеров. Многие васильки выше среднего мужского роста, их венчики — с человеческое лицо, а порой встречаются и такие цветы, в которых можно сидеть, точно в залитой солнцем беседке.

Мне нравится думать, как когда-нибудь я привела бы тебя посидеть под таким лопухом. Их чудные соцветия покрыты пуховой паутиной, и она колышется наверху, как ветки деревьев с бульвара на набережной.

Сейчас лето, и можно смотреть цветам прямо в лицо. Тебе бы понравилось. Они распахнуты, как сам летний день, и иероглифы указующих дорожек на них ясны и четки. Мы смотрим на них, они же — лишь на солнце, с которым так схожи.

В полуденном зное трудно — столь же трудно, как заглядывая в лицо ребенка, — поверить, что эти цвет и сияние есть лишь вещество, материя и когда-нибудь, скоро, нынче же вечером, они угаснут, пропадут.

Луг живет своей жизнью, это арена боевых действий, поле битвы. Цель битвы только одна — бессмертие. Насекомые, служа своим потребностям, не знают, что выполняют таким образом тайные желания растений; не понимают и цветы, что дают своим рабам-насекомым пищу и жизнь. Всякий эгоистический позыв здесь лишь на пользу всеобщему счастью.

Но не одни только пчелы и мухи-журчалки наслаждаются жизнью на лугу ботанического сада — также и праздные горожане проводят здесь свободные часы довольно странным для нас образом.

— Адмирал! Адмирал! — весело закричал Яр в один из выходных, когда мы в очередной раз бродили с ним по извилистым тропкам луга.

Я глянула вокруг сквозь просветы в стеблях, — по толщине они напоминают стволы молодых берез, — но так и не увидела, к кому он обращается, до тех пор, пока он не помахал в сторону соцветия какого-то орхидного. На ярко-красном пятнистом лепестке сидел — а лучше сказать, подпрыгивал — кто-то неугомонный и очень довольный жизнью.

Тайнаронец замахал Яру всеми своими ногами и завизжал:

— Сюда, сюда, господа хорошие, и не вздумайте стесняться!

Признаться, его поведение ошеломило меня — он продолжал беспечно перепрыгивать с одного лепестка на другой, время от времени потирая о них зад. Раз-два — и вот он уже растянулся на животе и начал жадно сосать торчащие из чашечки пушистые ворсинки. Мы были все-таки в общественном месте, поэтому я отвела от распутника взгляд.

© Leena Krohn, 1985, 2006
© Евгения Тиновицкая. Перевод, 2009

Но Яр, взглянув на меня, заулыбался — и это еще больше возмутило меня.

— Экая ты пуританка, — проговорил он. — К чему мешать невинным воскресным радостям одинокого человека? Он ласкает цветы, те в ответ опьяняют его, он перебирается с одного цветка на другой и опыляет их, разве это не на благо лугу и всему городу?

Как раз в этот миг знакомый Яра потянулся к нам с сочного, округло изогнувшегося лепестка, который вдруг дрогнул, качнулся и сбросил его наземь. Оказалось, что он весь перепачкан липкой пыльцой, а когда я, заслоняясь от солнца рукой, глянула вверх, с его дрожащего хоботка слетела мне на подбородок сладкая капля. Я слизнула ее, совсем недурную на вкус, и вдруг вспомнила давным-давно читанные строки.

Смягчившись, я хотела тут же процитировать их Яру, но его знакомый не прекращал болтать:

— Друзья мои, — лепетал Адмирал, — вы отродясь не видали такого нектарника! За мной, за мной, я покажу вам...

И он тут же исчез в недрах гигантского соцветия, так что мы могли разглядеть в глубине только подрагивающий зад.

— Нет, — отрезала я, — я туда не пойду.

— Ну ладно, — примирительно сказал Яр, — пойдем дальше. Познакомлю вас как-нибудь в другой раз. Посмотрим, не зацвела ли таволга.

Проходя под цветами, я ощущала их голод и жажду, осознавала, что вся их красота есть лишь ступень, стадия развития главного — семени. Я не удержалась от соблазна прочесть Яру строки, которые пришли мне на ум благодаря безумному Адмиралу:

> ... Все пестики, тычинки, лепестки —
> лишь тихий отсвет тайного огня,
> пылающего жарко!

Он слушал с рассеянным видом и наконец прервал меня:

— Слышишь?

И действительно, я различила отчаянный вой, доносящийся откуда-то с южной стороны поля. Яр расслышал его несмотря на мою декламацию.

Мы явно избрали верное направление, поскольку не прошли и нескольких шагов, как перепуганный голос снова прокричал:

— Я здесь, здесь!

Мы увидели цветок размером с небольшую комнату, на этот раз отливающий ультрамарином, какой-то бедолага бился у его рыльца, напоминающего воронку.

— Ну вот, — мрачно проговорил Яр, — именно этого я и ожидал. Это змеетравница, цветок-капкан. — И добавил в сторону попавшего в ловушку: — Вы не первый, с кем такое произошло.

И Яр быстро полез к сияющему синевой куполу, опираясь на черешки листьев. Без промедления он ловко ухватил пострадавшего под мышки. Оп-па! — послышался треск, похожий на звук разрываемой ткани, венчик цветка полетел наземь, и оба — жертва и ее спаситель — скатились на луг.

Но когда я подбежала к сломанному цветку, оба уже успели подняться на ноги и отряхивались так тщательно, что в воздухе заклубилась блестящая пыль.

— Вы хромаете, — сурово заметил Яр перепуганному существу.

— Просто небольшая ранка, — стал оправдываться несчастный, косясь на растерзанный цветок с опаской, точно ожидая от него нового нападения. — Это была какая-то ловушка...

— Не доверяйте цветам, — посоветовал ему Яр. — В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем совать туда нос.

Не знаю, осмелится ли бедолага когда-нибудь снова появиться на лугу, мелькнуло у меня в голове. Тот, прихрамывая, уже удалялся в сторону и забыл даже сказать спасибо за спасение. Яр подхватил меня под руку, и я была благодарна ему — мне так нужна была поддержка, точно я сама только что вырвалась из плена коварной змеетравницы.

Я размышляла обо всем этом, а луг шумел вокруг нас, и его запахи лишали нас сил. Мы брели под таволгами — они были уже в полном цвету, — хотя сейчас я предпочла бы, чтобы под ногами оказалась мощеная мостовая, обычная, надежная, крепкая.

Но перед нами шумели все новые сверкающие водовороты, это были чужестранцы, непостижимые в своей молчаливости. Я видела их шелковистый плеск и гладкие переливы, видела их весла и лодки, тусклый ворс и пурпурный блеск, видела семена, выбрасываемые порывами ветра из деревянистых домов. Ой! — одно из них больно ударило меня по щеке, оно было похоже на снаряд, да и раскрывались они с таким хлопаньем, что заставляли меня подпрыгивать на месте. Я слышала грохот зерновок, вылетающих из раскрывающихся подчаший, на дорогу передо мной падали серо-желтые шпорцы и пухлые лепестки. Шею мою щекотали растрепанные пучки волосков и щетинок, в самую глубь зрачка, как ни сужался он, проникало кипение красок, в ноздри, уши, нёбо бился луговой гул и рвались тысячи настойчивых запахов.

— Нет, мы не знаем их, — сказала я Яру, и он молча покачал головой.

Над землей, хранительницей всех корней, стала разливаться прохлада близкого вечера. Пока солнце еще светило в разноцветные лица, начавшие понемногу закрываться, вопросы и сомнения не мучили меня. Но как только в небе показались первые бледные вестники скорого угасания и мы повернули в сторону города, меня снова охватила растерянность.

Гул колеса
Письмо второе

Ночью я проснулась оттого, что с кухни доносился шум и звон. Ты, верно, слышал, что Тайнарон стоит на вулкане. Знающие люди говорят, что мы уже вступили в тот период, когда недалек взрыв, мощный, взрыв, который сотрет с лица земли весь город.

И что с того? Не подумай, что это как-то отражается на жизни Тайнарона. Ночные страхи забываются, а утром на залитой солнцем площади, по которой я иногда срезаю путь, мерцают медовой дымкой корзины с фруктами и брусчатка под ногами снова вселяет ощущение прочности и уверенности.

Вечером я смотрю на огромное колесо обозрения, уходящее с вершины холма прямо в грозовые облака. Его рама, оси и ступицы покрыты тысячами сверкающих звездочек. Колесо обозрения, колесо счастья... Порой я слежу за его ходом, а вечером слушаю, пока не засну, его непрекращающийся гул — голос самого Тайнарона.

Не думаю, что где-то еще можно встретить одновременно столько эпох и столько религий, как в Тайнароне. Где еще глаз может вобрать одновременно едва различимые шпили соборов, тающее золото минаретов и строгие капители дорических храмов? Здесь они высятся рядом, непохожие друг на друга, каждый сам по себе.

Но во многих зданиях здесь есть что-то неестественное, что-то почти комическое, навевающее мысль о декорациях. Отчего возникает такое ощущение? Боковой фронтон на здании верховного суда до смешного вычурный, а у торговой палаты, напротив, недостает навеса и перил. Порой, утомленная прогулкой, я чувствую головокружение от бездны улиц и перекрестков, и мне начинает казаться, что дома кренятся и покачиваются на ветру...

Вчера я шла по изящной аркаде, полной воздуха и света, ступала по каменному настилу, несомненно сложенному руками мастера, любовалась гладкими колоннами и украшенными мозаикой проемами окон. Когда аркада закончилась, я вышла на площадь — и меня точно ударили по лицу. Передо мной высилась глухая бетонная стена на слоновьих ногах, мрачная, убийственно тяжелая, оскорбительная пародия на галерею с колоннами, из которой я только что вышла. И это тоже Тайнарон, так же как и остатки древней стены на окраинах города, в разломах которой гнездятся береговые ласточки.

Знаешь, порой я вздрагиваю, когда из толпы выплывает навстречу мордоподобное лицо, над которым шевелятся гибкие, как розга, щупальца, когда в кафе к моему столику подходит официант с рожками, точно у коромысловой гусеницы. А вчера в трамвае рядом со мной село существо, похожее на сухой осенний лист, и такое легкое, что я могла бы сдуть его с места, словно соринку.

Я знаю того, кто изготовляет для нужд всего Тайнарона особую пряжу. Она тонка, но такая прочная и гибкая, что никакое искусственное волокно не выдержало бы сравнения с ней. Он вытягивает из собственного живота по сто пятьдесят метров каждые сутки. Эта лучистая нить тоньше волоска, в ней не будет и одного денье[1]. Когда из окна, рядом с которым я стояла, на нее упал солнечный луч, она вспыхнула всеми цветами радуги.

Как мне хотелось бы иметь костюм из такой ткани! Более праздничного, легкого и прекрасного наряда нельзя и представить.

Но это лишь детская мечта, такой костюм сделать невозможно — материя настолько клейкая, что сразу облепила бы все тело.

Для чего же тогда ее используют? Не спрашивай, я не знаю и не хочу знать.

1. Внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, равна массе девятикилометровой нити в граммах. (*Прим. перев.*)

Блеск

Письмо третье

И вот зажигаются вечерние огни, загораются сотни их отражений в воде, глазах, окнах. Ты ведь знаешь, что есть существа, способные освещать окрестности собственным телом, его сиянием: светляки в южных садах, иванов червяк, селящийся в хвоще, те насекомые, что водятся в каналах, — со светильниками на страшных головах. Холоднее этого света лишь мерцание облепленного опенками гнилого пня...

Но есть в Тайнароне и такие существа, на которых по вечерам невольно останавливается взгляд. Они окутаны светящейся вуалью и временами, волнуясь, мерцают и искрятся. Я с восхищением смотрю им вслед, когда они проносятся по улице мимо меня — всегда торопливо, танцующим шагом. Они выходят из своих жилищ ранним вечером, и я не имею ни малейшего представления, что они делают до этого весь долгий день, — верно, спят?

Я ни разу не встречала никого из них в одиночку, они появляются на площадях и улицах города целыми стайками, точно кружась в танце. Но если начинается дождь или сильный ветер, мерцающие существа гаснут, как свечи, и прячутся под крышу. Дурная погода, нелегкие испытания, тяжелая работа и неожиданные повороты судьбы не для них. Каждый раз, когда я встречаю их, мне кажется, что где-то готовятся к празднику и всех ждет множество приятных минут. У них такой веселый и беззаботный вид, и своим розовым или желтоватым светом они украсили бы любой праздничный зал.

В центре города есть лестница, у которой тайнаронцы встречаются по вечерам поболтать, а то и просто посмотреть друг на друга. Самые странные, самые элегантные, самые яркие, самые богатые и самые оборванные существа собираются там, на широких, насчитывающих не одну сотню лет ступенях. И светляков — ну разве не подходящее слово для этих мерцающих существ? — можно увидеть там, едва опустятся сумерки, если только погода теплая и безветренная.

Всякий раз, когда я смотрю на них, мне становится печально и светло на душе. Я никогда не пыталась подойти к ним поближе. Не думаю, что они говорят на каком-то из здешних официальных языков, а может статься, что и вовсе не говорят. Они очаровательны, как пушинки одуванчика, легки, как та неуловимая первая молодость.

В последние вечера я часто отправлялась специально к той лестнице только затем, чтобы полюбоваться их блеском. Они не замечали меня, но, когда они пробегали, танцуя, мимо меня, мимо нищих, мимо голубых орденских лент, в воздухе трепетала надежда и пахло весной так свежо, точно нами ничто еще не утрачено.

Но я должна рассказать и еще о чем-то. Вчера утром, проходя по площади, я свернула на одну из боковых улиц и заметила в водосточной канаве пыльную тряпку, вокруг которой склонилось множество спин. Я прошла мимо не останавливаясь, но на углу оглянулась и увидела, как ее подняли с земли и унесли прочь. Только тогда я поняла, что это было одно из светящихся существ — на этот раз совершенно одинокое. Оно больше не светилось, это был просто маленький темный комок. Блеск

радости, отсвет самой жизни погас. Когда бы и где бы ни оказалась я свидетелем чьей-то гибели, острая неисцелимая боль затуманивает мой взгляд, отнимая несколько мгновений и от моей собственной, такой недолгой жизни.

А нынче вечером светляки вновь закружат стайками по городу, как прилетевшие с зимовки птицы, еще более яркие и очаровательные, чем когда-либо.

Семнадцатая весна
Письмо шестое

Многое в Тайнароне показалось бы нам непривычным. В первую очередь — их глаза. У многих здешних жителей они так велики, что занимают треть лица. Уж не знаю, делает ли это их зорче, но полагаю, что они видят окружающую действительность иначе, нежели мы. К тому же их органы зрения состоят из многочисленных трубок и в солнечном свете переливаются всеми цветами радуги. Поначалу мне становилось не по себе, когда приходилось беседовать с кем-то из подобных существ, — ведь трудно было понять, смотрит он на тебя или в сторону. Но нынче это уже не мешает мне. Встречаются и такие, у которых глаза крошечные, как точки, зато расположены повсюду: на лбу, на щупальцах, порой даже на спине.

Рук и ног у тайнаронцев тоже больше, чем у нас, но не могу сказать, что они передвигаются быстрее, чем мы, или больше успевают в течение жизни. У некоторых внизу живота есть прыгательная вилка, которой они могут при необходимости пользоваться как рычагом, перелетая с ее помощью на десятки метров.

Колышущийся лес щупальцев и педипальп, наполняющий улицы в часы пик, и впрямь необычное зрелище для иностранца, но к другой важной составляющей местной жизни привыкнуть еще труднее. Это явление носит название метаморфозы и для меня по сию пору остается настолько странным и необъяснимым, что при одной мысли о нем мне становится нехорошо. Дело в том, что здешние существа проживают подряд несколько жизней, непохожих друг на друга и возникающих одна из другой совершенно непонятным для меня образом.

Конечно, изменяемся и мы, но постепенно. Мы привыкли к постоянству, и у большинства из нас более или менее узнаваемая внешность. Здесь все по-другому. Для меня до сих пор остается загадкой, какова же связь между последующими жизнями. Как существо, совершенно изменившееся, может говорить, что хоть в чем-то осталось прежним? Как оно может жить дальше? Что оно помнит?

Здесь можно столкнуться с незнакомцем, который станет вести себя с тобой, как твой старый приятель, вспоминая недавние события, пережитые вами вместе.

— Когда это было? — спросишь ты.

В ответ он лишь рассмеется:

— Когда я был иным.

Но ты уже никогда не узнаешь, с кем имел честь беседовать, поскольку метаморфоза тотальна и необратима и затрагивает не только внешность, но и весь образ жизни.

Есть здесь и такие, что на семнадцать лет удаляются от всего света. Они живут в крошечных каморках, в каких-то корзинках, ни с кем не встречаются, никуда не выходят и едва ли чем-то питаются. Но, спящие или бодрствующие, они изменяются непрерывно, утрачивая свой прежний облик.

Семнадцать лет! Когда, наконец, забрезжит семнадцатая весна, они выходят на свет из своего укрытия. И начинается их единственное лето, — осенью их ждет смерть, — которое они отпразднуют на славу. Вот уж жизнь так жизнь!

Ты хоть что-нибудь понимаешь?

Хотя нет-нет да шевельнется во мне крупица зависти: хорошо было бы свернуться так в тесном коконе и лежать, не надеясь даже на сон, но, зная, что однажды весной предстанешь перед миром обновленным, свежим, свободным от прошлого...

Спокойной ночи — голова тяжелеет, кажется, приближается гроза. Почему ты не отвечаешь на письма? Ты умер? Изменился до неузнаваемости? Переехал? Город, в котором ты жил, стерт с лица земли? Или я зря доверяю почте Тайнарона — кто знает, в какой мусорной куче мокнут под дождем мои письма?

Или ты просто стоишь на пороге и вертишь в руках письмо, а повертев, кладешь его, так и нераспечатанное, на стопку газет и рекламных журналов, все растущую в пыльном углу.

Огонь на горе
Письмо седьмое

За холмом, на котором построен тайнаронский парк аттракционов, высится другой, уже с трудом различимый. Не раз среди ночи я замечала, что на вершине его горит огонь, маленький, но очень яркий.

Раньше я так любила на него смотреть. Я представляла костер, гитару, общий котел и путешественников, негромко беседующих, отдыхающих после долгой дороги. Правда, потом я подумала, что это скорее не костер туристов, а какой-то сигнальный огонь, потому что горел он всегда высоко и был виден со всех сторон, а отчетливее всего снизу, из города.

Как-то раз я рассказала о нем Яру. Я спросила, видел ли он такие огни, и вдруг запнулась, поскольку всегда спокойное лицо его стало вдруг суровым и неприветливым. Пожалуй, никогда прежде не видела я у него подобного выражения.

— Не смотри на них, они горят не для тебя, — отрезал он. — Когда зародится новая луна, задерни занавески и ложись спать.

Новая луна... А ведь Яр был прав. В последний раз я видела огни около месяца назад, и тогда действительно было новолуние. Тень Земли простиралась далеко, и, верно, именно потому огонь на горе казался таким большим и одиноким. Неужели с тех пор Луна успела дважды обойти вокруг Земли?

Несмотря на неприветливость Яра, я осмелилась спросить:

— Кто зажигает эти костры?

— Это не туристские костры, — проговорил он, ничуть не смягчившись. — Их разжигают не для того, чтобы полюбоваться огнем, и уж вовсе не затем, чтобы сварить картофельный суп.

— Тогда что это? — спросила я, отчего-то переходя на шепот.

— Сжигание жертв.

Мне показалось, что я с самого начала знала ответ.

— А кого приносят в жертву? — спросила я.

И как я раньше не замечала, что в городе стоит легкий чад?

— Да о чем ты спрашиваешь, ты что, не понимаешь? — Яр пришел в бешенство. — Они сжигают себя.

Но я уже не могла остановиться:

— Кто они? Чего они хотят?

Яр повернулся ко мне спиной, делая вид, что разглядывает книги на полке. Было очевидно, что этот разговор ему крайне неприятен, и я устыдилась своей бестактности. Но что поделаешь — мне казалось, разгадай я эту тайну, я пойму и то, отчего другие выбирают смерть, точно величайшее благо.

Яр устало шевельнул панцирем.

— Чего хотят? Это все бредни сектантов. Запугать весь Тайнарон — вот чего они, наверно, хотят. Хотят, чтобы горожане стали жить по-другому, чтобы пробудились от сна — так это у них называется. Сумасшедшие!

Он погрозил кулаком в сторону окутанной туманом горы, нависавшей над городом.

— Сколько еще невинных душ заманят они в свои сети?

Вчера снова было новолуние. Едва наступил вечер, я сделала то, что велел Яр, — задернула шторы на окнах. Я легла в постель, но мне не спалось — казалось, что и сквозь занавески пробивается красный свет.

Тогда я встала, вышла на балкон — и в темноте безлунной ночи сразу увидела на вершине огонь. Ни один огонь в Тайнароне — ни неоновые рекламы, ни подсвеченные циферблаты уличных часов, ни звезды на колесе обозрения — не пылал столь ярко. Он притягивал к себе взоры горожан, словно керосиновая лампа — ночных бабочек. Даже на расстоянии он слепил глаза, от него начинали гореть щеки.

Ночь была безветренной, и жертвенный огонь светился ровно, как свеча на столе. Кто горел там столь высоким и ясным пламенем? Что он знал такого, чего не знает весь Тайнарон? Что открылось ему — более важное, чем жизнь, чем его собственные кипящие слезы и мертвеющие от жара глаза? Неужели истина виделась ему так же ясно, как мне — этот огонь на горе? Мне, застывшей на балконе, не отрывающей взгляда от пламени, которое невозможно ни объяснить, ни простить, ни забыть.

А ведь когда-то я смотрела на этот свет с радостью, как на ночной цветок!

Но на этот раз, глядя на него, я не могла ни лечь спать, ни просто сдвинуться с места. Я стояла на балконе до тех пор, пока горевший не стал остывающими углями, а угли — пеплом.

Наступит ли новолуние, когда на вершине горы не нужен будет огонь?

Дайма

Письмо двадцать второе

Вчера утром мне захотелось местного пенистого напитка, называемого даймом или даймой. Его пьют через трубочку. Местные жители так любят его, что пьют при всяком удобном случае, холодным и горячим, и называют еще десятком разных имен. Ходят слухи и о том, что в больших количествах он обладает особым воздействием и некоторые после него начинают видеть странные и необъяснимые вещи.

Скажу о себе, что со мной ничего подобного не случалось.

Я вспомнила славную маленькую кондитерскую на набережной канала, куда Яр повел меня в первый же мой день в Тайнароне. Мне понравились там хлебцы из каких-то злаков, хрупкие, как облатки, пахнущие дымом, — не помню, чтобы такие подавали где-то еще. При воспоминании об этих хлебцах мне вдруг так захотелось снова их отведать, что рот наполнился слюной и я невольно сглотнула.

К величайшей моей досаде я так и не нашла больше той отходящей от бульварного кольца улицы, где располагалось кафе. Мне казалось, что я следую верным путем, сворачиваю на том же углу и иду вдоль канала, но вскоре я оказалась в совсем незнакомом квартале. Здесь были стройки и огромные фабрики, от которых по округе разносился гул и чад. Народ здесь тоже был совсем другой, беднее и мельче тех тайнаронцев, что сидели на террасе моей любимой кофейни. Наконец я нашла мрачную закусочную, в которой слегка пенящуюся дайму подавали в толстых чашках без ручек с жестким тяжелым хлебом.

— Мне нужна карта Тайнарона, — сказала я вчера Яру. — Мне было бы гораздо легче передвигаться по городу в одиночку, и тебе не пришлось бы все время меня сопровождать. В универмаге я не нашла ни одной карты. Не раздобудешь ли ты ее где-нибудь для меня? Ведь это можно сделать?

— К сожалению, нет, — ответил он.

— Нет? Неужели все карты распроданы?

— Дело не в этом, — сказал он. — Создать полную карту Тайнарона невозможно.

— Как? Ни одной приличной карты не существует? Это очень странно, — сказала я с недоумением и недовольством.

— Ничего странного, — сурово произнес Яр. — Создание такой карты неосуществимая затея, совершенно бессмысленный проект.

— Но почему же? — возмущенно вопросила я. — Государство, у которого нет карты, — не страна, а поселение варваров, хаос, сплошное недоразумение.

— Как мало ты еще знаешь о Тайнароне, — тихо сказал он. — У нас есть законы, просто они отличаются от ваших.

Мне стало немного стыдно, но возмущение мое не улеглось окончательно.

— Карту невозможно создать, — продолжал он, — потому что Тайнарон постоянно меняется.

— Меняется любой город, — парировала я.

— Но ни один не меняется так быстро, как Тайнарон, — ответил Яр. — Того Тайнарона, который был вчера, сегодня уже не найти. Пред-

ставления о целом Тайнароне нет ни у кого. Любая карта завела бы ее владельца не туда.

— У всякого города должна быть карта, ну хоть какая-то, — настаивала я.

Яр вздохнул и посмотрел на меня дружески, но устало.

— Пойдем, — сказал он наконец и взял меня за руку. — Идем же!

— Куда на этот раз? — поинтересовалась я.

— На смотровую башню, — ответил Яр. — Там ты поймешь.

Смотровая башня располагалась на том же холме, что и парк аттракционов. Раньше я не замечала ее: все мое внимание было поглощено колесом обозрения. Нам пришлось мучительно долго подниматься по узким деревянным ступеням, которые спиралью обвивали внешнюю стену башни. Я не люблю такой высоты, и мне казалось, что ветер раскачивает непрочное сооружение. Мы все взбирались и взбирались. Мы шли по ступенькам, а колесо обозрения снова и снова выплывало перед моим взором, его вагончики, сейчас пустые, гремели и покачивались, и от этого верчения у меня закружилась голова. Мы продолжали подниматься, и я пожалела, что пошла с Яром.

На половине пути я сказала Яру:

— Больше не могу. Я останусь здесь. Мне видно достаточно и отсюда.

Но Яр, похоже, не услышал, поскольку продолжил на удивление быстро карабкаться вверх. Временами он прямо-таки мчался — впрочем, и ног у него было побольше, чем у меня. При этом он не оглядывался, так что мне пришлось следовать за ним. И я все шла и шла.

Ну наконец-то! Мы оказались на верхней площадке, но мне было так плохо, что я даже не сразу подошла к перилам. Глаза болели от ветра и солнечного света, который здесь, наверху, казался ослепительно ярким. Я перевела дыхание, сглотнула и уставилась на толстые доски настила. Я решила не жаловаться; я подозревала, что Яр и так считал меня неженкой и плохой спутницей, а мне ни в коем случае не хотелось, чтобы ему надоело быть моим проводником.

Но в душе я ждала, что Яр вот-вот подойдет и положит одну из своих длинных и узких верхних конечностей мне на плечо. Он же не замечал моего плачевного состояния, пристально глядя увлажнившимся от гордости — так мне показалось! — взором на открывшуюся внизу панораму. Он начал без слов напевать незнакомую мне песенку, и ее монотонный мотив и волнообразный узор деревянных досок постепенно вернули меня в обычное состояние.

Я собрала все свое мужество и взглянула вниз. Мы поднимались весьма и весьма долго, тем не менее меня поразило, как высоко мы оказались. Я заслонилась от солнца рукой и увидела в качающейся глубине равнину Тайнарона со стремительно несущимися тенями облаков. Я подумала также, что башня, вероятно, наклонена, поскольку казалось, что относительно нее линия горизонта идет наискосок. Прямо под нами были крошечные разноцветные киоски опустевшего парка аттракционов. Даже верхние вагончики колеса обозрения остались далеко внизу. Там же блестели сталь и стекло, сверкали бронза и золото, бесчисленные окна небоскребов и церковные купола блестели под моросящим дождем. Это и был Тайнарон, его город, их город, город, который никогда не станет моим.

И все же это был удивительный город! Гордость Яра была мне понятна. Я даже не представляла, как велик Тайнарон. Я видела те конусообразные поселения, орошенные слезами королевы, видела аллеи и пагоды государева парка, видела трущобы, образующие на востоке запутанные клубки.

Мы были так высоко, что снизу слышались только поскрипывания, пронзительные крики да таинственные звоны, которые я слышала и по ночам, не пытаясь даже выяснить их происхождение. Казалось, будто кто-то позвякивает серебряной ложечкой о стакан, готовясь к торжественной речи. Поднимись мы еще немного выше, и не стало бы слышно ни звука.

— Это все, что у меня есть, — сказал Яр. — И ты.

Блестящая, с пенистыми краями линия Океаноса окружала нас со всех сторон. С южной стороны горизонт терялся в мареве, зато на севере высилась громада неподвижных серебристых облаков. Она была не похожа на легко бегущие облака Тайнарона и напоминала скорее металлическую статую с человеческими очертаниями.

— Будет буря? — спросила я.

— Это не буря, — ответил Яр. — Много хуже: это зима. Правда, еще нескоро достигнет она наших мест. Но горе тем, кто не успеет уснуть к тому часу, когда она вступит в свои права!

Мне стало зябко даже в солнечном свете. В молчании смотрели мы на величественные очертания льдов и снегов. Мне показалось, что облако не меняет формы и не приближается к Тайнарону.

— Может быть, на этот раз она не придет, — сказала я Яру робко, со слабой надеждой. — Может, она останется там, на севере.

— Какое дитя, — сказал Яр в сторону, точно здесь, на площадке, был с нами кто-то третий. Затем он снова повернулся ко мне. — Но я хотел показать тебе не только приближающуюся зиму. Видишь?

Он махнул в сторону северной части города, где прямо под нависающей зимой столпилось много домов разной формы и величины. Моему воспаленному взору их очертания представились шаткими и неверными. Мне показалось даже, что некоторые из них пришли в движение.

— Что там происходит? — спросила я.

— Изменения, — ответил Яр.

Так оно и было. Над равниной распространились клубы дыма — и спустя мгновение там, где только что высились зубчатые башни и извивались жилые кварталы, остались одни лишь руины. Однако взрывов слышно не было.

— Этой части города больше нет, — тихо сказал Яр.

— Это, верно, было землетрясение? — спросила я в страхе, хотя никаких толчков я не почувствовала.

— Нет, там просто сносят прежний Тайнарон, — ответил Яр.

Яр поднял палец и указал на точку чуть ближе. И там я увидела прах и разрушение, но едва ли не в ту же минуту вместо разрушенных зданий на том же месте стали пробиваться иной формы сводчатые выставочные комплексы, до поры до времени уходящие в никуда лестничные пролеты, одинокие спиралевидные башни и колонные залы, цепочкой разбегающиеся по пустынному берегу.

— Но... — начала я.

— Ш-ш, — сказал Яр. — Взгляни еще вон туда.

Я взглянула. Там, где только что был прямой, как стрела, бульвар, переплетались теперь узкие тропки. Их хитросплетения распространялись все дальше прямо на моих глазах.

— И так происходит постоянно и всегда, — проговорил Яр. — Ты, верно, думала, что Тайнарон — место, но это не так. Тайнарон — это событие, границ которого не установить. Если бы кто-то и взялся составить карту Тайнарона, из этого не вышло бы никакой пользы — лишь пустая трата времени и сил. Теперь ты понимаешь?

Конечно, я понимала, что Тайнарон живет своей жизнью, что он, равно как и его обитатели, — постоянно меняющееся живое существо. Понимала я и то, что никогда больше не попробую тех пахнущих дымом хлебцев, о которых так мечтала утром. Но сколько еще оставалось за пределами моего понимания!

— Я хочу пить, — сказала я Яру, снова затосковав о дайме с пышной пеной.

День на штемпеле почтового конверта
Письмо двадцать восьмое

Когда я сегодня открыла дверь, на пороге стоял Носорог, мрачный и прямой, как гора. Это был приятель Яра, но видела я его раньше разве что мельком.

— Заходи, — пригласила я, но он покачивался, не двигаясь с места, и я не могла понять, что ему нужно.

— Ты давно видел Яра? — спросила я наконец, поскольку сама не встречала его уже много дней.

— Он меня сюда и прислал, — сказал Носорог и снова замолчал.

— Ну и как он? — спросила я уже нетерпеливо.

— Он мне велел сюда пойти и спросить, не надо ли для вас чего сделать, — проговорил Носорог и качнулся еще сильнее.

Я подумала, что в нем больше центнера весу.

— Спасибо, мне ничего не надо, — удивилась я. — А где же сам Яр?

— Я думал, вы знаете, — сказал Носорог и застыл без движения.

— Ничего я не знаю. — Мной овладело нехорошее предчувствие. — Что с ним случилось?

Мне хотелось встряхнуть неподвижного Носорога, но он был слишком большой. И тут я поняла.

— Так он уснул, — сказала я, ощутив глубокую обиду: ничего себе вежливость — впасть в зимнюю спячку и даже не сказать мне спокойной ночи!

— Он уже в усыпальном коконе, — сказал Носорог, став еще больше.

Это совершенно выбило меня из колеи. Только из жалости к Носорогу я сдержалась и не крикнула: "Подлец! Чертов упрямец! Как он мог?"

Носорог ушел, а я так и осталась стоять в дверях. Никогда больше я не увижу Яра, того прежнего Яра, который был моим терпеливым проводником в этом чужом городе. Если он когда-нибудь вернется и снова предстанет передо мной — как знать, кем и каким он окажется, как

знать, когда это случится? Ведь все здесь происходит в свое время и в определенный момент, неведомый для остальных.

Я знала, что никогда больше не обернусь к нему, но он, точно в насмешку, вдруг возник передо мной там, где только что стоял Носорог, встал там и начал расти, как могут расти лишь умершие.

И я увидела, что никогда не знала его, да никогда и не старалась узнать. А он, увеличиваясь, становился все тоньше и прозрачнее, и наконец его силуэт растворился во мраке лестничного пролета, утратив и очертания, и видимость.

Но глаза — глаза остались, остался взгляд, такой же черный и пристальный, как и раньше, столь же непостижимый. Я вглядывалась в их черноту, и понемногу они начали мерцать, как двойные звезды, точно планеты, которым светит солнце, где есть моря и горизонты, дороги, долины и водопады, где есть леса, в которых можно жить и петь.

Тогда я закрыла дверь и пошла к себе, и тоска моя начала понемногу утихать. На смену ей приходило понимание того, что, даже прожив с Яром от начала до конца не одну, а две или три жизни, я все же не научилась бы видеть его. Его контур, однажды очерченный мной, очевидный и названный, теперь растаял, выпустив на свободу огромного незнакомца, который оказался Яром в гораздо большей степени, чем знакомое мне существо, маленькое и ограниченное.

Так проводила я Яра в последний путь, в городе, называемом Тайнароном, в день, обозначенный на штемпеле почтового конверта.

Похоронный звон
Письмо двадцать девятое

Что это за гул! Он разносится над всем Тайнароном, перелетает из квартала в квартал, звенит в оконных стеклах, отдается и в моей груди. Прижав палец к поверхности стола, я чувствую медный звон. Ощущаю его ступнями и пятками, и пол, и вся тайнаронская земля дрожат и раскачиваются в такт звуку.

Государь умер, и теперь во всех церквях, соборах и храмах города, во всем их великом множестве, звонят погребальные колокола. Они бушуют с утра до вечера, точно воздавая ушедшему за то внимание, которого никто не уделял ему при жизни.

— Что случилось с государем? — спросила я у Носорога. В новостях не было сказано ничего о причинах смерти.

— С государем-то? Помер он, — ответил Носорог, поднимая на меня медленный взгляд. — Уж и пора ему пришла. Старый он был.

— Не слишком ли вовремя она пришла? — допытывалась я.

Ибо я видела в глубине дворца то, что видела: тонкий силуэт государя, съежившегося на простом стуле в середине комнаты, — ни адъютантов, ни одного даже самого жалкого солдата из охраны рядом. Поверх мантии его накрывало, точно еще одна мантия, ощущение быстро надвигающегося конца — неестественного конца.

— Не слишком ли внезапно?

— Не внезапней, чем все остальное, — пробормотал Носорог еще бестолковее, чем обычно.

Нерасторопный, неповоротливый бычище! Как только Яру пришло в голову, что Носорог сможет заменить мне его?

— Я хочу знать, что случилось, — сказала я.

— Власти меняются, — проговорил Носорог.

— Ну да, понятно, — устало ответила я. Это я действительно понимала, но мне хотелось знать, к чему эта смена власти приведет и какого правителя Тайнарон получит взамен. Но, взглянув на Носорога, я поняла, что продолжать бесполезно. Это интересовало его меньше, чем что бы то ни было.

Но тут он взглянул на меня искоса, и в его черных, лишенных зрачков глазах мелькнуло что-то вроде удивления. Да умел ли Носорог вообще удивляться? На секунду мне показалось, что я ошибалась в нем, что под глупостью его кроются совсем другие качества, которые он, Бог весть почему, прячет от других. Я попыталась было разглядеть эту искру интереса снова, но взгляд его снова погас. Верно, это впечатление объяснялось лишь игрой света или же собственным моим состоянием.

— Ты пойдешь куда-нибудь в церковь на отпевание? Какую веру ты вообще исповедуешь? — спросила я его, решив сменить неблагодарную тему.

— Ко всем в свое время, — ответил он. — Ясное дело.

— Ко всем в свое время? Быть такого не может! — растерялась я: это его "ясное дело" было уж чересчур.

— Это почему же? — спросил он, жуя что-то своими выдающимися челюстями. — Все должно быть по справедливости. Нынче я в храм высшего знания хожу. А в следующем месяце в другой перейду, а как называется, сейчас и не вспомню.

— Но если храм, в который ты ходишь сейчас, владеет высшим знанием, зачем переходить в другой?

Он не ответил, сосредоточившись на пережевывании и глотании чего-то вязкого и клейкого, время от времени склеивавшего его челюсти. Похоронный звон все не стихал — вдалеке и в вышине, внизу и совсем неподалеку.

— Ты узнаешь колокола своей церкви? — спросила я.

— Это, наверное, те, что часто-часто бьют, — ответил Носорог. — А может, вот те, что вначале глухо ударят, а потом два раза тоненько прозвенят. Не-ет, небось те, что с востока слышно, они медленней других звонят: три раза да один, три да один, — сказал он.

Но напрасно я вслушивалась, пытаясь отличить голоса одних колоколов от других, — все они сливались в сплошной гул. Ох уж эти тайнаронцы! Никогда мне не научиться понимать их. Я устала гостить здесь. Очень устала.

Носорог ушел, а погребальные колокола всё звонили. Знаешь, не стану скрывать — сегодня меня мучает тоска по дому. Ты ведь слышишь? Я больна этой тоской. Но Океанос уже застывает на зиму, и до весны от пристани не отчалит ни один корабль.

Высокие деревья в моем дворе сегодня вздрагивают от прикосновений сильного ветра. И в мою комнату заглядывает косой луч осени. Я

смотрю на книги и картины, с любовью выбранные вещи и вспоминаю их покой и тайную радость. Как раз в это время года, накануне зимы, давным-давно, ты пришел ко мне.

Ты вошел в мою комнату, когда занималось утро, и я не ведала, бодрствую или сплю. Я не тронулась с места, но ты — ты беззвучно прижал сильные, обветренные соленые губы к моей шее, туда, где пульсирует жилка, а потом они прижались к виску, к горячим векам, пока наконец не нашли ощупью мои губы и не коснулись их.

И тогда я узнала твой вкус, вкус твоей жажды, и ответила тебе, ответила, не сдержав стона.

Усыпальный кокон
Письмо тридцатое

Как долго искала я когда-то дом! Передо мной распахивались холодные меблированные комнаты, облетали расторгнутые договора, обрушивались сносимые дома, непроходимыми дорогами извивались бесконечные очереди в агентства по сдаче и найму.

Все это позади. В нынешней моей комнате есть все, что нужно, и даже больше: с моего балкона видны белые шпили и золотые купола Тайнарона, опоясанные облаками горы и глубокие синие воды Океаноса.

И все же я начала готовить себе новое жилище — на всякий случай. Он уже почти готов, мой небольшой усыпальный кокон, наконец-то я завершу эту работу. Он пахнет землей, тростником и водорослями, ведь я сама собрала все для него необходимое на берегу, где однажды чудом избежала верной гибели. Я сделала все своими руками и теперь испытываю удовлетворение, заглядывая внутрь. Он подходит мне по размеру, точно любимая одежда, которая нигде не тесна. Он невелик снаружи, но просторен изнутри — именно таким и должно быть хорошее жилище.

В нем темно. Когда я оглядываю его сквозь единственное отверстие, которое, когда станет нужно, закрою изнутри, меня охватывает непреодолимое любопытство. Не думаю, что мне будет там тесно, ведь он просторен, точно ночь.

Почта будет приходить еще какое-то время, так мне говорили, но город уже сейчас кажется мертвым. Все больше и больше существ погружается в зимний сон, а некоторые — подобно Яру, а вскорости, вероятно, и мне — заснут на куда более долгий срок. Я говорю "заснут", но то, что нас ждет, есть не отдых, но метаморфоза. Удастся ли мне это? Тяжкая ли это работа? Принесет она боль, или наслаждение, или же полное избавление от всех чувств?

Кто-то изменяется незаметно и мало-помалу, кто-то — быстро и полностью, однако изменяются все, и напрасно спрашивать, чья участь лучше.

В моей комнате царит аромат речной дельты. Я хотела еще о чем-то рассказать тебе, но запах ила затмевает мой разум. Я вспомню об этом снова, весной, и она забрезжит вскоре, совсем скоро, семнадцатая весна, и кругом засверкают капли, и я встану, и мы увидимся снова...

Мерете Маццарелла

Почему я плохо говорю по-фински

Фрагменты книги "Линии между звездами"

Перевод со шведского Марии Людковской

Кто такой финский швед?

Несколько лет назад мне довелось услышать рассуждения одного еврейского писателя о том, кто такой еврей. Он рассказал, что нашел только одно разумное определение: еврей — это человек, который значительную часть своего времени тратит на размышления о том, кто такой еврей. На мой взгляд, это определение вполне подошло бы и для финских шведов: следовательно, финский швед — это человек, который значительную часть своего времени тратит на размышления о том, кто такой финский швед.

Если найдутся такие люди — в основном, наверное, молодые, — которые по происхождению могли бы считаться финскими шведами, однако не очень охотно относят себя к их числу, то, возможно, они просто предпочитают размышлять о чем-то другом.

Образ типичного еврея, как известно, двояк: с одной стороны, это черненький еврей из гетто, смиренно склонившийся над своей Торой, с другой — высокий, сильный израильский солдат, совсем не обязательно смуглый и темноволосый. Традиционный образ финского шведа тоже двояк: во-первых, это деревенский житель, земледелец, рыбак, который твердо стоит на своей земле или на своем валуне — кому что досталось в наследство от шведских предков; во-вторых, это швед-интеллектуал — буржуазный, высокообразованный, чаще всего двуязычный житель Гельсингфорса или Обу[1]. Эти два стереотипа сформировались во второй половине XIX века, когда шведское население Финляндии стало осознавать себя как языковое и культурное меньшинство, и за этими стереотипами стоят две разные идеологии.

Филолог и политик Аксель Улоф Фрейденталь считал, что в пределах Финляндии существуют две национальные общности — финская и шведская. Он отдавал предпочтение шведскому крестьянству, в связи с чем подчеркивал не только роль языка, близости к Швеции и остальной Скандинавии, но и значение земли, корней, общины.

В первую очередь он хотел освободить выражение "местный патриотизм" от негативных коннотаций.

Историк литературы и искусств Карл Густав Эстландер ратовал за то, чтобы шведоязычное население Финляндии в своей гордости за шведские культурные традиции и правовое наследие не останавливалось на Швеции, но было открытым всей Европе. Национальная общность не должна строиться на общности языка и происхождения, потому что если на фундаменте языка и происхождения возводить барьер,

1. Шведское название города Хельсинки — Гельсингфорс, а Турку — Обу. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

© Merete Mazzarella, 2002
© Мария Людковская. Перевод, 2009

то все, что находится по "нашу" сторону, даже самое грубое и примитивное, а priori будет лучше, чем все чужое. Куда конструктивнее, по мнению Эстландера, рассматривать шведоязычное и финноязычное население как единую нацию — благодаря исторической общности судеб, благодаря тому, что "плывут они на одном корабле, прошли одни и те же шторма и двигаются к одной неведомой цели".

Главное — не затрагивать национальный вопрос, не взывать к кровным узам: "Когда взывают к кровным узам, эта самая кровь закипает, а потом проливается".

По крайней мере с этим высказыванием Эстландера трудно поспорить. История XX века, в том числе конца XX века — взять хотя бы геноцид в Руанде и распад Югославии, — как нельзя лучше подтверждает его правоту.

Актуально ли сегодня противопоставление шведов-интеллектуалов и шведов-крестьян?

Конечно, актуально. Но к этому мы еще вернемся.

Итак, финские шведы — это меньшинство, но меньшинство привилегированное. Во многих странах выражение "привилегированное меньшинство" звучит парадоксально: к примеру, в США меньшинство — это всегда угнетенная или уязвимая группа населения. "Как получилось, что права финских шведов так хорошо защищены конституцией?" — спросили однажды у финско-шведского писателя и депутата риксдага Класа Андерсона иностранные парламентарии, гостившие в Финляндии.

"Потому что мы сами ее и написали", — ответил Андерсон.

Это, конечно, шутка, но в этой шутке — немалая доля правды.

Если найдутся такие — в основном, наверное, молодые люди, — которые по своему происхождению могли бы считаться финскими шведами, однако не очень охотно относят себя к их числу, то, возможно, им просто кажется, что принадлежать к меньшинству, вынужденному отстаивать свои права, куда достойнее.

Ну, а я?

Я, конечно же, могла бы объяснить, что я не типичная финская шведка, однако нет ничего типичнее для финского шведа, чем объяснять, что он не типичный финский швед. Почти все мои знакомые финские шведы уверяют, что родились не совсем в той области, говорят не совсем на том диалекте, ходили не в ту школу или состояли не в том студенческом землячестве, и яхта у них не совсем такая, как у финских шведов, или — что, разумеется, еще хуже! — вовсе нет яхты.

Отчасти это объясняется тем, что среди финских шведов существует глубоко укоренившееся представление о некой истинной финско-шведскости, которая царит там, где нас нет. С другой стороны, в глубине души никто не хочет считать себя "типичным": мы отчаянно ищем общности с другими людьми, но в то же время отстаиваем свою индивидуальность, свое "я".

А "я" сегодня вполне может быть странным.

Сегодня даже считается довольно изысканным ощущать себя посторонним, иметь неопределенное, странное "я".

Со мной дело обстоит вот как.

Я выросла в буржуазной семье, но буржуазной не на финско-шведский манер. У нас никогда не пели застольных песен, мы не проводили лето в шхерах, у нас не было яхты.

Мы даже День святой Люсии[1] не праздновали.

Я получила высшее образование, но по-фински говорю плохо. Когда я сообщаю знакомым, что плохо говорю по-фински, они думают, что я скромничаю. Мне это очень даже на руку: мой финский гораздо хуже, чем они могут себе представить.

У меня нет финско-шведской родословной. Когда, поступив в

1. Шведский праздник, отмечается 13 декабря традиционным застольем и сопровождается особой процессией.

университет, я пришла записываться в Нюландское землячество, элегантный молодой человек посмотрел на мою фамилию, несколько раз повторил, ни к кому не обращаясь: "Шрек? Шрек?", а потом спросил: "А как девичья фамилия вашей матери"?

"Клеманн", — ответила я, и молодой человек сдался, так и не разобравшись, каково мое происхождение.

Интересно, что, если бы я тогда, сорок лет назад, сказала "Маццарелла"? Наверное, он бы подумал, как мой отец: звучит так, словно я вышла замуж за итальянскую шарманку.

Отец ходил в финскую школу, и все его родственники по отцовской линии ассимилировались. Об одной моей кузине не без гордости рассказывали, что во время войны, когда ей было года три-четыре, ее отправили в Швецию[1], а через несколько лет она вернулась, не выучив ни слова по-шведски. Когда ее спросили, как она обходилась без шведского, она ответила: "Я научила их говорить по-фински". А вот моя мать датчанка. Шведский стал нашим семейным языком, в основном, из прагматических соображений: так было проще матери. Язык был для нас средством общения, а не вопросом идеологии. И еще в детстве я узнала, что понять друг друга можно и без языка. Из своей первой зарубежной миссии, в копенгагенском представительстве в начале 1940-х[2], отец привез такую историю.

К нему в канцелярию, держась за руки, пришли двое влюбленных, и девушка, очень симпатичная датчанка, указав на своего кавалера, сказала: "По-моему, он хочет на мне жениться, но я не уверена, потому что он говорит только по-фински".

Отец живо заинтересовался делом и спросил у юноши — тот оказался моряком, — так ли это.

Юноша кивнул: да, он познакомился с девушкой в прошлую субботу и действительно очень хочет на ней жениться.

Тогда отец спросил девушку, как она к этому относится.

Девушка тоже закивала — и очень энергично.

Уладив с помощью отца бумаги и пригласив его же свидетелем на свадьбу, молодые супруги шагнули в жизнь, так и не найдя языка для общения, но по-прежнему держась за руки.

В нашей семье их иногда вспоминали и гадали, как сложилась их жизнь. В дни, когда отец сердился на мать, он намекал, что им-то уж, наверное, повезло больше, чем ему.

Вообще, это, конечно, громко сказано, что шведский был нашим семейным языком: нашим семейным языком был некий гибрид разных скандинавских языков. В раннем детстве я над этим не задумывалась, так как настоящего шведского почти и не слышала, но как же я стала стесняться, когда пошла в столичную школу. Больше всего я смущалась, если мать заговаривала на шведском в присутствии моих одноклассников — вернее, на том языке, который считала шведским. А поскольку отец в той же мере не одобрял ее финский, то матери приходилось нелегко. Не помню, чтобы в моем детстве когда-либо рассуждали о финских шведах, зато часто говорили об отчизне. Мы читали Топелиуса, и никто не сомневался, что мы, — как и дети в сказке "Звезда и береза", которых во время войны отправили в Россию, — уехав, будем скучать по дому и, помня о звезде, последуем за птицами, указывающими нам путь. Я была очень тронута, когда много лет спустя в романе Ханса Руина "Домой летом" прочла о том, как его отец Вольдемар, который провел первые годы жизни в России и был, так же как и мы, приучен любить Финляндию, потом, в одиннадцать лет, один совершил пу-

1. В годы Второй мировой войны около 70 тысяч финских детей были эвакуированы в Швецию. О так называемых детях войны см. также эссе Кристины Роткирх, опубликованное в этом номере.
2. Отец Мерете Маццареллы был послом Финляндии во многих странах.

тешествие на родину предков. "Да, о чем мы только не мечтаем! — восклицает его сын Ханс и продолжает: — Но перед лицом действительности мы уязвимы. В Гельсингфорсе мальчика поселили в семью, где никто особо не обращал на него внимания и где все было не так, как дома. В банный день в одной из комнат ставили деревянную бадью, и он залезал в ту же воду, где только что плескались другие дети. Чувство дискомфорта перерастало в панику, и скоро родители стали получать душераздирающие письма, в которых мальчик умолял забрать его домой. Мол, пусть мама не пугается, если в одно прекрасное утро, проснувшись, найдет его на полу у своей постели. Он хотел бежать и пешком проделать весь путь до дома".

Но все-таки — как же так получилось, что мой финский хромает?

Оправданий у меня нет, но, возможно, найдутся объяснения.

Нередко случалось, что если днем у отца что-то не ладилось на работе, то, едва переступив порог и сев за обеденный стол, он восклицал: "Это форменное безобразие, что мои дети не говорят по-фински! Мы немедленно приступаем к занятиям. Немедленно". И он указывал на разные предметы и спрашивал: "А вы знаете, как по-фински масло? А хлеб? А суп?"

Мать молчала, и даже слуги — китайцы или турки — понимали, что отец не в духе, и старались не попадаться ему на глаза.

Но как только настроение улучшалось, отец забывал про обеденные экзерсисы.

В более спокойные дни он доставал иногда школьные учебники финского, которые раздобыл, наивно надеясь, что с их помощью мы с братом сможем догнать сверстников в Гельсингфорсе. Я помню серые обложки, серые буквы и серые картинки. Помню рассказы о сапожнике по фамилии Тоссавайнен, который каждую субботу садился на велосипед и отправлялся в сауну, о жителях Хёльмёля, известных своей ограниченностью[1], о сумасшедшем Алексисе Киви[2] и о маленьком шведоязычном Пелле, которому предстояло прожить все лето в финской семье и питаться ряпушкой. Это был чужой, малопривлекательный мир, потому что я ненавидела как рыбу, так и сауну. А что малыша Пелле наказали, я, как мне кажется, догадалась сразу — иначе зачем ему ехать в Ювяскюля на поезде третьим классом?

Но если я не выучила финский в детстве, что мне мешало выучить его позже? Ведь в Финляндию приезжают толпы иностранцев, которые овладевают финским всего за какой-нибудь год.

(А потом возвращаются домой и переводят "Калевалу" на свой родной язык.

Я с самого детства представляла себе, что все иностранцы, которые выучивают финский, возвращаются домой и переводят "Калевалу" на родной язык.)

Дело в том, что я, разумеется, пыталась, только ни разу не почувствовала отдачи. Когда я говорю по-фински, мне кажется, что мой собеседник вовсе не радуется: "Ах, как хорошо, что она говорит по-фински!", а думает: "Могла бы и получше".

Потому что финский — не какой угодно язык, а государственный, язык, который я вроде как должна знать.

Пытаясь говорить по-фински, я краснею, чувствую неуверенность в себе, мой голос дрожит, жесты делаются робкими. Я не могу претендовать на авторитет. Моя личность оказывается под угрозой.

Поэтому я стараюсь говорить по-фински как можно реже.

Да нет, это, конечно, не оправдание, но как объяснение — любопытно, потому что, возможно, это также

1. Хёльмёля (букв.: Деревня дураков) — выдуманная деревня, про жителей которой ходит много анекдотов.
2. Финский писатель Алексис Киви (1834—1872) перед смертью страдал душевным расстройством.

объясняет, почему многие финны, наоборот, не очень любят говорить по-шведски. Вместо того чтобы гордиться своими знаниями шведского, им стыдно, что они владеют им недостаточно хорошо. А те, кто вовсе не говорит по-шведски, проявляют нередко эдакое агрессивное упрямство. Ведь шведский — тоже не абы какой язык, а государственный, язык, который они вроде как должны знать. На мой взгляд, это чувство стыда — вполне здравый и весомый аргумент, чтобы отменить обязательный шведский в финских школах. Если бы шведский в финских школах стал предметом факультативным, не было бы ни стыда, ни агрессии. Обратившись в какое-то ведомство по вопросу, который непременно следует рассмотреть по-шведски, мне будет гораздо приятнее подождать, пока позовут кого-то, кто владеет шведским, нежели иметь дело с раздраженным служащим, который по-шведски не говорит, хотя знает, что говорить должен.

Но вообще-то...

Я ни разу в жизни не испытывала враждебного к себе отношения из-за того, что я финская шведка. Да, конечно, я видела надписи в общественных туалетах вроде: "Финским шведам место в Швеции" или даже такое: "Хороший финский швед — мертвый финский швед". Но лично ко мне враждебно никто не относился. Никто не раздражался на меня за то, что я плохо говорю по-фински. Хотя нет, однажды это все же случилось, но при особых обстоятельствах.

Как-то холодным зимним вечером, часов в одиннадцать, я возвращалась домой. Прямо у моего подъезда на тротуаре лежал мужчина, из раны на его затылке хлестала кровь. Я поднялась к себе, вызвала "скорую", с грехом пополам — по-фински — объяснив, что произошло. Потом спустилась — заверить пострадавшего, что врач в пути, но тот уже встал и довольно шаткой походкой удалялся прочь. Я умоляла его не уходить, но он либо не понимал меня, либо плевать хотел на мои просьбы. Потом я уже подумала, что надо было просто двинуть ему как следует, потому что, когда приехала "скорая", он уже скрылся из виду, а водитель посмотрел на меня и в сердцах выкрикнул: "Вы бы сначала хоть финский выучили!"

Ну а кроме этого, мне никто никогда не грубил, никогда. Ведь дело в том, что многие финны с удовольствием говорят по-шведски и даже обижаются, когда финские шведы машинально переходят на финский, будучи уверены, что их финский лучше, чем шведский их собеседника. Лично я никогда не перехожу на финский, если меня, конечно, вообще понимают. Лично я доставила удовольствие многим финнам: наконец-то они повстречали финского шведа, который говорит по-фински хуже, чем они по-шведски. Некоторые уверяли меня, что впервые общаются с финским шведом по-шведски, и добавляли: "И ведь ничего, получилось". С искренним удивлением.

Язык связан с властью — нередко с борьбой за власть. Один латыш рассказывал мне историю, произошедшую в Риге вскоре после обретения Латвией независимости, когда русским пришлось сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы получить латвийское гражданство: один русский крайне неохотно прошел соответствующий курс и, сдав экзамен, в тот же день пошел в ближайший продуктовый магазин и заговорил с продавцом по-латышски. Когда продавец перешел на русский, тот воскликнул: "Ну уж нет, я столько лет слушал ваш корявый русский, теперь ваша очередь слушать мой корявый латышский".

История эта куда хитрее, чем кажется: ведь речь идет о новом понимании власти.

Может быть, финнам и финским шведам стоит почаще говорить друг с другом на своем родном языке?

Почему бы нам не пожелать друг другу обрести уверенность в себе, осознать и оценить собственную неповторимость?

Как я уже говорила, я решила быть финской шведкой.

Когда же я это решила?

Мне кажется, это произошло, когда я начала читать лекции по финско-шведской литературе, то есть, думаю, что именно финско-шведская литература научила меня тому, кто такой финский швед. Сегодня легко забывается, что национальный характер как финноязычных, так и шведоязычных граждан Финляндии впервые был описан по-шведски. Решающим событием, как утверждают, послужило то, что Юхан Людвиг Рунеберг — будущий национальный поэт Финляндии — в студенческие годы испытывал денежные затруднения и искал места домашнего учителя. Знакомый прежде лишь с побережьем, он попал в глубь страны, в Финляндию больших лесов и озер, и не только был очарован, но и преисполнился решимости описать свои чувства. В сочинении под названием "О природе финляндской, о нравах и образе жизни народа во внутренности края"[1] Рунеберг объясняет, что каждому ландшафту соответствует определенный тип темперамента: "Ум, настроенный к спокойным поэтически-религиозным созерцаниям, предпочтет внутренние районы страны. Кипящий жизнью, смелый, предприимчивый дух, вероятно, полюбит более берега морские; а человек расчетливый, заводчик, хозяин изберет прибрежные равнины".

Хоть Рунеберг и не произносит этого вслух, но очевидно, что на берегах морских и на прибрежных равнинах обитает шведоязычное население, а во внутренних районах страны — финноязычное. В дальнейшем Рунеберг обращает внимание на внутренние районы страны, предлагая именно их считать национальным ландшафтом.

Расстояние между жителем Саариярви и Рунебергом — студентом и интеллектуалом — сегодня может показаться таким же огромным, как между антропологом XX века и аборигеном какой-нибудь далекой страны, но сам Рунеберг наверняка не испытывал ничего, кроме любви к финнам. Вот он описывает зимний вечер в избе. Потолка не видно из-за дыма, в печи горит огонь, на стенах — лучины, иногда сквозь дымовое окно в потолке проглянет звезда. "Женщины сидят за прялками или работают кто за кадкой с тестом, кто за горшком; мужчины делают корзины, сани, лыжи и тому подобное; нищие и нахлебники лежат перед огнем, а постоянная статья домашней работы, щепание лучины, исполняется каким-нибудь старичком, который спокойно и ловко делит тоненькие дранки на еще более тонкие. В эту пору толпа ребятишек обыкновенно валяется на печи, где они очень хорошо уживаются и только кричат взапуски со сверчками. Над длинным корытом возле двери лошадь лакомится сечкой, наслаждаясь теплом и обществом, между тем как петух, если он еще не занял ночлега в кругу своего семейства, навещает своих подруг по всем углам комнаты, и везде бывает как дома".

В финской традиции описания народного быта домочадцы молча, но люто ненавидят друг друга всю долгую зиму, Рунеберг же описывает безупречную гармонию — счастливы даже лошадь с петухом. А на случай, если читатель буржуазный забеспокоится: а как там у них с уборкой? — у Рунеберга готов ответ: "Черный пол уже не кажется грязным, потому что на нем не видно ни тени прежней чистоты".

Но Рунеберг хочет докопаться до финского национального характера. Типичный финн — крестьянин из Саариярви — "ленив, бесстрастен и скуп на слова". Кроме того, мы узнаем, что "нрав у него кроткий, терпеливый и уступчивый".

Он обладает также особым, удивительно чистосердечным мужест-

1. Здесь и далее перевод Якова Грота. Цит. по: Й. Л. Рунеберг. Избранное. — СПб., 2004. Со шведского название статьи буквально переводится немного иначе: "Несколько слов о природе, нравах и образе жизни в приходе Саариярви".

вом. Рунеберг рассказывает о юноше, который приехал в приморский город и нанялся на корабль поваренком. Почти сразу он оставил свое место у горшков и даже в самые страшные шторма, как белка, ловко и бесстрашно лазил по мачте. Однако в первом же походе утонул — не в море, нет, а на тихом лондонском рейде.

"Но таков финн, — подводит итог Рунеберг. — Если опасность хоть сколько-нибудь скрыта, то вырывай она сердце из груди его — он не тронется для обороны. Но явись она во всей своей грозной наготе, и у него, более нежели у кого-либо, станет присутствия духа и сил для избежания или отражения ее".

Уже здесь угадываются контуры Свена Дувы, простого парня, недотепы, ставшего героем, — истолковав приказ к отступлению на свой лад, он сражается до конца. Кто из моих соотечественников старшего поколения не цитировал слова, прозвучавшие над убитым: "...верно, Свен был парнем-то простым / с куда неважной головой — да с сердцем золотым"[1].

Но кто из моих соотечественников старшего поколения не цитировал также другие слова: "В глубине лесов, у Сариярви, / жил да был на геймате холодном / старый Паво"[2]. Если финн не сражается с русским, то сражается со скаредной природой. Бог, в которого крестьянин Паво верит, несмотря ни на что, в конце концов вознаграждает его настоящим урожаем, но Рунеберга интересуют не пшеничные хлеба, а осенние заморозки, хлеб из коры, изнурительное рытье канав. Финны беднее других народов, потому что в глазах Рунеберга бедность — это моральное качество.

"Ступай, надменный чужевер, / Ты звону злата рад! / Наш бедный край угрюм и сер, / Но нам узоры гор и шхер — / Отрада, слаще всех отрад"[1], — распевали мы в те годы, даже когда благодаря "Nokia" катались как сыр в масле, а на чужестранцев — беженцев и иммигрантов, которые просились к нам, — поглядывали косо, словно искренне недоумевая, чем же мы можем помочь развивающимся странам, ведь нам и самим впору просить помощи у Красного Креста.

Когда наш президент вскоре после присоединения Финляндии к ЕС выступал в Европарламенте в защиту финского земледелия, он просил присутствующих принять во внимание тот факт, что, когда в Страсбурге цветут вишни, в Финляндии еще ходят на лыжах.

Последователем Рунеберга был конечно же Топелиус — другой певец финской народной души. В 1875 году впервые вышла его "Книга о нашей стране", долго служившая финским школьникам книгой для чтения. В ней есть эпизод, где главный герой, финн Матти, противопоставляется не только шведу, но и русскому:

"У хозяина было три работника. Русский — Иван, швед — Эрик и финн — Матти. Однажды летним утром послал он их очистить каменистый пригорок под пашню, назначив каждому по отрезку земли. Иван копал с веселыми песнями и управился к полудню. Эрик работал, попеременно смеясь и хмурясь, но закончил после полудня. Матти же мрачно взглянул на хозяина, надолго задумался, но управился-таки к позднему вечеру.

Когда день подошел к концу, пришел хозяин — проверить, как они выполнили свое задание. 'Иван работал проворнее других, — сказал он, — но Иван оставил много камней. Эрик очистил землю от мелких камней, крупные же оставил. Матти выкорчевал крупные камни, но оста-

1. Ю. Л. Рунеберг. Свен Дува. Перевод Андрея Щеглова. Цит. по: http:// www.vekperevoda.com/1950/ascheglov.htm.
2. Й. Л. Рунеберг. Паво. Перевод Владимира Головина. Цит. по: Поэты Финляндии и Эстляндии. — СПб., 1898.

1. Строки из стихотворения Рунеберга "Наш край", ставшего национальным гимном Финляндии. Перевод Александра Блока. Цит. по: Й. Л. Рунеберг. Избранное. — СПб., 2004.

вил мелкие. У каждого из вас есть одно достоинство и один недостаток. В следующий раз я пошлю Ивана боронить мою пашню, Эрика — копать канавы на моем лугу, а Матти — дробить камни, в том его призвание'".

Конечно, не оценивать открыто труд подчиненных — очень педагогично со стороны работодателя. Но заметим, что этот работодатель, подобно многим другим, взваливает самое тяжкое бремя на лучшего работника.

О самом Матти Топелиус отзывается с ласковой иронией:

"По нраву своему Матти несуетлив. Он суров и необщителен, но, посидев с добрыми друзьями, оттаивает и просыпается от зимней спячки. Его хмурые черты разглаживаются, он становится весел, даже остроумен на свой лад. И не скажешь о столь серьезном человеке, что он может так шутить и забавляться, однако ему доставляет неимоверное удовольствие подтрунивать над собственными и чужими сумасбродствами. И хотя обычно он немногословен и тих, тут он может ляпнуть такое, что стерпит не всякое ухо. Это и есть один из его недостатков: Матти молчит, когда надо говорить, и говорит, когда лучше помолчать.

Матти настолько честен, что даже слово 'вор' ему пришлось позаимствовать из другого языка[1]. Матти не волнуется понапрасну. Не моргнув глазом он преодолеет бурный поток, с пяти шагов нападет на медведя и затушит пламя над пороховым погребом. На войне искусство спасаться бегством — не для него. Он никогда не испытывает страха до и во время опасности, зато будет крайне осторожен, когда опасность миновала. Всем известно, как он медлителен и неповоротлив. Встретив знакомого, Матти снимает шляпу, только когда тот уже прошел мимо. И все же случается, что после долгих раздумий Матти вдруг начинает страшно суетиться. Долго думать, а потом все делать в спешке — его привычка. <...> Ни для кого не секрет также, что Матти упрям как осел; его упрямство — обратная сторона его упорства. Он непременно воплотит все, что однажды втемяшилось ему в голову. На том он будет стоять, на том он стоит; если же ему что-то не нравится, разубеждать его — напрасный труд. Один из его братьев, долговязый детина, утопился в ведре с водой; это было непросто, но он хотел утонуть — и утонул"[1].

<...>

Мне нравится, что в Швеции действительность описана до малейшей детали.

По-шведски.

В скобяном магазинчике "Järncity" в Упсале я нашла небольшой каталог гвоздей, который внимательно изучила и потом твердила про себя как прекраснейшую поэзию: анкерный, ершеный, кровельный с уплотнительной шайбой, шиферный, толевый и дюкерт.

Мне нравится слушать разговоры моих ближних в кафе и в метро, в автобусе и в поезде. Когда я раньше приезжала в Швецию, я с непривычки прислушивалась просто потому, что беседы велись по-шведски: наверное, это кто-то из моих знакомых, — машинально думала я. Сейчас я слушаю, чтобы насладиться богатством разговорной речи: сленга, профессионального жаргона, бесконечных социолектов.

Сегодня проблема шведского языка в Финляндии заключается, во-первых, в том, что его уже не хватает для описания внешней действительности, а во-вторых — в бедности разговорной речи. Если финско-шведские писатели редко пишут реалистическую прозу, повествующую о современности, то объясняется это видимо тем, что современность в Финляндии почти не существует по-шведски. Особенно трудно фин-

1. В финском языке два слова "вор" — *voro* и *varas*. Считается, что *voro* — заимствование из русского.

1. Перевод мой. — *М. Л.*

ско-шведским авторам дается диалог. Еще в 1960-е годы писатель Ральф Нурдгрен рассказывал, как в одном романе он хотел передать разговор пьянчужек за кружкой пива и обнаружил, что сделать это по-шведски практически невозможно. И дело не в том, что он не нашел ни одного финско-шведского пьянчужки, а в том, что финско-шведские пьянчужки при встрече с другими пьянчужками разговаривали на финском.

И вообще, культура пьянчужек как таковая была финской.

В конце 1980-х я читала лекции о финско-шведской литературе в Йельском университете, в США. Когда я описывала дилемму финско-шведского диалога в прозе, один из моих слушателей, исследователь творчества Кафки Петер Демец, оживился: он рассказал, что Кафка, принадлежавший к немецкому меньшинству в Праге, столкнулся с той же проблемой и поэтому вместо диалога прибегал к косвенной речи.

Я, конечно же, испытала некоторое облегчение. От проблем все равно никуда не денешься, а столкнуться с той же проблемой, что и Кафка, — даже приятно.

Кроме того, вдруг бы Кафка стал реалистом, если бы принадлежал к чешскому большинству?

С финско-шведской точки зрения шведский язык в самой Швеции манипулирует человеком. Вместо обычного "Курение запрещено" шведы пишут: "Спасибо за то, что вы не курите", или еще противнее, с намеком на групповое давление: "У нас не курят".

Невольно с грустью вспомнишь старое доброе: "Запрещается, под опасением денежного штрафа".

Однажды я написала в одно шведское ведомство, месяц прождала ответа — впустую — и написала снова. В результате мне пришло письмо, которое начиналось словами: "Сожалеем, что вам показалось, что вы не получили ответа".

Я восприняла этот ответ как скрытую агрессию.

А еще я получила "предписание". Шведов, наверное, таким не удивишь, но сама я с налоговыми службами не сталкивалась ни разу. Вот что там говорилось: "В соответствии с положениями, принятыми в главе 2, параграфе 34 Закона 'О порядке декларирования доходов физическими лицами' Вам предписывается подать налоговую декларацию.

Получивший предписание обязан подать налоговую декларацию. Сказанное имеет силу даже в том случае, если получивший предписание сам не считает себя обязанным подавать налоговую декларацию".

Здесь может показаться, будто агрессия уже не скрытая, а явная, но на самом деле авторы всего лишь упростили канцелярскую прозу — и избавились одним махом как от невнятности, так и от вежливости. Невольно с грустью вспомнишь стиль, дошедший до нас благодаря судье Карлу-Эрику Русену. Рассматривалось дело об установлении отцовства, по окончании которого ответчик Андерсон заявил: "В гробу я видел ваш апелляционный суд и всех, кто там сидит. Плевать мне на решение суда". В протоколе эта реплика была записана так: "После прочтения решения Королевского апелляционного суда Андерсону последний заявил, будто видел Королевский апелляционный суд и всех его членов в гробу и что ему плевать на решение Королевского апелляционного суда".

Немного о шведских шведах. "Здрасьте, я просто хотела спросить кое-что. У меня тут ребенку — ему год и два — слегка нездоровится".

У мальчика, о котором идет речь, как выяснилось, были судороги, но именно так принято выражаться, если твой малыш проглотил таблетки, клей, краску или еще что-нибудь из несметного числа средств, которые держат в каждом доме, но обычно все же — подальше от детей. Об этом пишет скандинавист Хокан Ландквист в своей диссертации 2001 года "Совет и раскаяние. Этика и речевые стратегии при обращении в

справочную службу Информационного токсикологического центра Швеции (ИТЦ)".

Что же это за речевые стратегии?

Звонящий, по мнению Ландквиста, стремится во что бы то ни стало произвести впечатление компетентного, здравомыслящего человека, который не станет понапрасну беспокоить ИТЦ и никогда не оставляет ребенка без присмотра. Родители стараются приуменьшить опасность: "Мне кажется, моя дочь глотнула са-амую малость средства для посудомоечной машины", и, хотя их об этом не просят, объясняют: "Мы тут просто переезжаем". Или: "Мы были на кухне и готовили ужин к приходу гостей".

Диспетчер должен не задеть самооценку звонящего и одновременно, при необходимости, убедить его обратиться в больницу. Но он ни за что не употребит слово "волноваться", предпочитая ему более интеллигентное слово "беспокоиться"; кроме того, опасные вещества не называют "опасными", к ним просто "следует относиться с некоторой осторожностью"; а если кого-то надо любой ценой отправить в больницу, то говорят: "Подумайте, может вам лучше поехать в больницу?"

По крайней мере, финскому шведу становится ясно: в Швеции не принято обнаруживать свое волнение — лучше уж пусть тебя подозревают в отравлении.

По крайней мере, финскому шведу будет почти приятно увидеть женщину, которая возбужденно настаивает на том, что ее двухлетнее чадо, стоило ей отвернуться, выдуло поллитра моющего средства. Правда, с другой стороны, ей никто не поверит.

Шведское общество насквозь дидактично, и шведы убежденно экспортируют свои взгляды. Однажды в конце 1980-х в Сан-Франциско я наблюдала за тем, как две шведки обучали местное население, как бороться со СПИДом. Помню только, они говорили, что не следует оставлять презервативы в бардачке автомобиля. "Слава богу, что у меня нет автомобиля", — подумала я. В Швеции даже полиэтиленовые сумки и пакеты с кефиром снабжены всякой полезной информацией о животных и растениях, нравах и обычаях. В окне похоронного бюро лежит раскрытая брошюра, призванная информировать вас о похоронном этикете: "'Соболезнование' — это общепринятый термин, который означает участливое отношение к чьему-либо горю".

В том же окне стоит премиленькая игрушечная церковь, игрушечный священник и игрушечное похоронное шествие. Правда, игрушечного гроба там нет. Похоже, смерть сегодня отменили даже в похоронных бюро, равно как и в газетных некрологах, где изображение креста над текстом постепенно вытесняют цветочки, плюшевые мишки и котята (скоро, наверное, появятся и первые мобильные телефоны), а на похоронах многие просят, чтобы на гроб вместо трех горстей земли бросали цветы.

В шведском обществе предусмотрено все. На эскалаторах в метро написано не только "Вверх" и "Вниз", но и "Не вверх" и "Не вниз". На следующий день после гибели парома "Эстония" в теленовостях подробно рассказывали о том, что происходит с человеческим организмом при переохлаждении. Получился очень подробный репортаж с отличной графикой. За всем этим прочитывалась мысль, что знание, информация — это хорошо. И убежденность, что можно предсказать даже непредсказуемое.

Хотя бы и задним числом.

В глазах финских шведов шведские шведы потрясающе осторожны. В Болгарии у моих родителей был шведский коллега, иногда навещавший нас на даче: когда они с семьей вылезали из своего надежного "вольво", у каждого на голове красовался шлем. Шведские вечерние газеты постоянно предупреждают о притаившихся дома опасностях: телевизоры воспламеняются, стиральные маши-

ны — взрываются. Финские газеты предупреждают скорее об опасностях, поджидающих наших соотечественников за рубежом: в Таллине или Санкт-Петербурге вас могут ограбить, а в Африке — съесть крокодилы.

Выходит, по сравнению с финнами, у шведов вдвое больше оснований отправиться за границу.

Несколько лет назад шведские газеты много писали о мальчике, страдающем электромагнитной аллергией. Мать добивалась, чтобы ему разрешили не ходить в школу. Власти расценивали ее поведение как настырное и докучное, но какой-то социальный работник тут же нашел объяснение: женщина оказалась "финской шведкой".

(А еще незадолго до этого она развелась с инженером-электриком.)

Нам, финским шведам, кажется, что мы резче — или, как сказали бы шведы, "однозначнее", юмор наш грубее. В моей последней книге "И лето повернулось вокруг своей оси" есть история о пожилой даме, которая сообщает, что за год перебывала на двадцати восьми похоронах и раз сто навещала знакомых в больницах, и на похоронах было куда веселее, потому что там она хотя бы видела здоровых людей. Финские шведы, как правило, искренне смеются над этой историей, а шведы испытывают неловкость.

Интересно, потому ли, что я "финская шведка", многие представляют меня толстой и рыжеволосой?..

Возможно, оказавшись в Швеции, мы просто не хотим обманывать ожиданий и выставляем себя резкими, то есть ведем себя резче, чем обычно. Возможно, оказавшись в Швеции, мы испытываем то, что переводчица Камилла Фростель в одном письме ко мне назвала свободой, которая позволяет оставаться "немного маргиналом", которая означает, что "необязательно тратить свои силы на условности, иерархии и больные места других. И необязательно так уж заботиться о своем престиже".

Свобода эта не нова. Я вспоминаю историка Альму Сёдеръельм, которая в конце 1920-х годов стала первой женщиной-профессором в Финляндии. В начале десятилетия она жила в Стокгольме и общалась с Морицем Стиллером, Яльмаром Бергманом и принцем Евгением[1]. Все финские шведы старшего поколения знают историю о том, как один знакомый спросил ее: мол, правду ли говорят, что она любовница принца Вильгельма, на что Сёдеръельм отвечала: "Когда речь идет об особах королевской крови, принято говорить 'фаворитка'". Еще Альма Сёдеръельм писала очерки для газеты "Дагенс нюхетер" под рубрикой "Взгляд со стороны". Здесь она часто представала в роли эксперта по любовным вопросам. Один из очерков назывался "Что такое мужской вкус?" (где она среди прочего заметила, что финские шведы со свойственной им прямолинейностью говорят о "мужицком вкусе"), другой — "Какие женские качества провоцируют мужскую неверность?" Но больше всего она любила порассуждать о том, какие шведы унылые. В стокгольмских театрах все дамы похожи друг на друга: "уложенные волнами волосы, локоны на лбу и мелкие завитушки возле ушей, и у всех, от принцессы до юных девиц, неизменная серебряная сумочка". На улицах нет ничего светлого, радостного, веселого. Шведы "шагают. Они маршируют. Однородная, серая, равнодушная масса". Искусство застольной беседы им не знакомо, поэтому, "дабы скрасить свои званые вечера, они приглашают рассказчиков анекдотов, подобно тому, как прежде нанимали плакальщиц".

В редакции поощряли ее злословие — до тех пор, пока она не прошлась по организаторам одного приема, где дамам не подали спирт-

1. Мориц Стиллер (1883—1928) — шведский кинорежиссер, актер и сценарист. Яльмар Бергман (1883—1931) — шведский писатель. Принц Евгений (1865—1947) — младший сын шведского короля Оскара II (1829—1907) и королевы Софии, художник.

ное. Ужин устраивал сам главный редактор, и после этого случая карьере Альмы Сёдеръельм в "Дагенс нюхетер" пришел конец.

Альма Сёдеръельм была финско-шведской аристократкой, но совершенно необязательно быть аристократом, чтобы утверждать абсолютное превосходство финской действительности. Когда одна моя приятельница переехала в Швецию и посетовала матери, оставшейся в Эстерботтене[1], что ее рабочий день начинается в восемь, мать спокойно ответила: "Да, но ведь *на самом деле* это же девять"[2].

Что же заставило меня стать финской шведкой?

Что привлекает меня в шведоязычной Финляндии?

Когда я начала читать лекции по финско-шведской литературе, мне было двадцать семь лет и я не имела абсолютно никакого опыта ни преподавания, ни научной работы. Я очень волновалась, но почти сразу поняла (с огромным облегчением), что финско-шведская литература — в отличие от шведской или, еще хуже, скандинавской — предмет в принципе обозримый, и в этой области вполне можно стать специалистом.

А тогда, в начале 1970-х, современная финско-шведская литература казалась обозримой в самом буквальном смысле слова. В Эстерботтене были пишущие братья Огрен, на Аландских островах — пишущие братья и сестры Салминен. Когда я читала лекцию о том, как шестидесятник Кристер Чильман совершил символическое отцеубийство модерниста Раббе Энкеля, дочь Чильмана и внучка Энкеля присутствовали в аудитории, — приходясь друг другу кузинами, обе к тому же были моими студентками.

Кроме того, по бабушкиной линии внучка Энкеля состояла в родстве с Векселем[1] и Рунебергом.

Мне нравится, что финско-шведская среда предлагает некий контекст. Однажды вечером — нас собралась небольшая компания — мы сидели и разговаривали о Толстом и все как один заявили, что обожаем старый витиеватый перевод "Войны и мира", сделанный Яльмаром Далем, — тот, где диалоги и письма оставлены по-французски.

"Правда же Даль был финским шведом? — спросил кто-то. — О нем что-нибудь известно?"

И, конечно же, оказалось, что известно: одна из собеседниц в ранней юности, лет сорок тому назад, жила по соседству с Далем в Борго, в пятидесяти километрах от Гельсингфорса.

"Он провел там свои последние годы... Яльмар и его жена Рут — она была сильно моложе его — обожали гостей, но из-за своей ужасающей непрактичности не могли угостить ничем, кроме кофе со сдобной булочкой, ну и водкой. Яльмар сам любил выпить, а выпив, просил Рут спеть. Она всегда пела 'Лучшие строки о вечной любви / Автор, увы, не успел записать'[2], а дойдя до 'братской могилы во Фландрии', всегда начинала плакать. Яльмар обнимал ее со словами: 'Мое любимое дитя, мое милое любимое дитя', а Рут все плакала и плакала, так что гостю оставалось просто уйти домой. Они ужасно любили друг друга".

Роман "Война и мир" предстал для меня в совершенно новом свете: возвращаясь к любви Наташи и князя Андрея, я всегда буду видеть перед собой Яльмара и Рут.

Я часто размышляю о том, что люди, с которыми я сегодня дружу, — это те, кто придет меня хоронить.

Если только я не приду хоронить их.

1. Финские шведы живут главным образом в четырех регионах Финляндии: на западном (Эстерботтен) и южном (Нюланд и Обуланд) побережьях, а также на Аландских островах.
2. Разница во времени между Финляндией и Швецией составляет один час.

1. Юсеф Юлиус Вексель (1838–1907) — финский поэт и драматург.
2. Песня о парижском студенте, погибшем в Первую мировую войну. Автор текста (1916) — Туре Нерман, музыки (1939) — Лилле Брур Сёдерлинд.

В похоронах плохо то, что, в отличие от юбилеев, нельзя нанести ответный визит. А вообще, по-моему, финские шведы умирают медленнее остальных. Да-да, финские шведы и вправду живут дольше финнов и по статистике здоровье у них лучше, но я не о том. Финских шведов помнят дольше. Когда собираются два или три финских шведа, нередко случается, что кто-то из них неожиданно спросит: "А вы помните NN?", а другой воскликнет: "Ну конечно!"

Хотя NN, быть может, уже много лет как умер и никогда не был их общим знакомым.

Финские шведы хранят историю друг друга.

Мне нравится финско-шведская среда, потому что я — многостаночник, а финско-шведская среда дает гораздо больше возможностей быть многостаночником, чем другая, более широкая культура. Если какой-то финский швед напишет достойную статью о садовых удобрениях, то рано или поздно ему предложат написать о театре. Все мы, как известно, рано или поздно достигаем своего уровня некомпетентности, но, возможно, с финскими шведами это происходит быстрее, чем с остальными.

Шведы полагают, что финские шведы вращаются в более тесных кругах, чем они сами. Финские шведы тоже иногда думают, что вращаются в более тесных кругах, чем шведы. Но финско-шведская среда совсем необязательно тесное пространство, она вполне может быть — и тут я снова процитирую Камиллу Фростель — "большим домом, где, начиная с подвала и кончая чердаком, полно самых всяческих комнатушек и каморок, а окна и двери вечно распахнуты настежь". (Слово "каморка" — это превосходное определение, потому что, несмотря на размеры, она таит в себе множество любопытнейших возможностей.) К тому же, насколько я могу судить, шведы тоже нередко вращаются в тесном кругу и знакомы с людьми, которые занимаются тем же делом: врачи общаются с врачами, литературоведы — с литературоведами. Но именно потому, что финско-шведских литературоведов и врачей так мало, они вынуждены искать общения поверх барьеров — языковых и профессиональных. Кроме того, все финские шведы отлично понимают, что их мало; почти все финские шведы сознательно стараются расширить свой горизонт. Представителям культуры большинства проще успокоиться на том, что находится непосредственно у них под носом.

Мне нравится, что теснота и надежность существования взаимосвязаны. Эта связь плодотворна: в ней, пожалуй, одна из причин того, что наша культура столь живуча. Мне нравится, что финско-шведская культура постоянно обсуждается — в первую очередь, разумеется, финскими шведами. И никому не возбраняется иметь собственное мнение. В 1960-е годы, например, Раббе Энкель говорил о четырехкратном одиночестве финско-шведского писателя. Это "личное" одиночество, оторванность от Швеции, оторванность от финской Финляндии и то одиночество, на которое его "обрекают незаинтересованность, холодность, несамостоятельность и общее чувство собственной ничтожности". Лично мне все это казалось занудством. Кроме того, сегодня я с раздражением отмечаю, что для Энкеля финско-шведский писатель — всегда мужчина. Я не мечтаю, как Лейф Хёккерстедт[1] о том, что все мы станем "восточными шведами", — пусть я плохо говорю по-фински, но я все равно чувствую себя финкой. Я также не очень понимаю, когда Тумас Русенберг[2] противопоставляет шведов-интеллектуалов и шведов-крестьян, полагая, будто это противопоставление современности и традиции: "Швед-интеллектуал

1. Лейф Хёккерстедт — преподаватель шведского языка в Гельсингфорсском университете, автор книги "Фальшивые финны и восточные шведы — рассуждения о финско-шведской ментальности".
2. Тумас Русенберг — социолог, журналист.

в таком контексте — кочевник, язык для него — всего лишь средство общения, а самоидентификация — багаж, который он всегда носит с собой. Для сельского жителя, наоборот, отсутствие корней — проблема очевидная, так как без языка нарушается связь с пространством и традицией, связь, которая считается необходимым условием существования каждого человека".

То, о чем говорит Русенберг, — это отношение шведских крестьян к своей особости. Я бы сказала, что почвенничество и интеллектуальность — это разные стратегии, к которым может прибегнуть один и тот же человек. Люди, выросшие в деревне, всегда перемещались — уходили в море, эмигрировали. Сегодня они не менее мобильны, чем жители столицы, и для многих эстерботнийцев Гельсингфорс — это просто место, где делают пересадку на рейс в Калифорнию или в Австралию. К тому же в последнее время провинциальная шведская Финляндия — как шведский Эстерботтен, так и не менее шведский западный Нюланд — активно принимает беженцев и благодаря этому открыта для внешнего мира.

Одна из наиболее показательных историй о финско-шведской культуре — та, что случилось с беженцами из Сомали в шведском Эстерботтене. Когда подошло время декларировать доходы, налоговое ведомство выслало им все необходимые формуляры и брошюры на финском. Сомалийцы позвонили в налоговое ведомство и решительно заявили: "Пришлите нам бумаги на шведском. Мы — *финско-шведские сомалийцы*".

С другой стороны, финско-шведские жители больших городов согласятся со стариком Фрейденталем — да, "small is beautiful"[1], потому что сегодня финско-шведский городок — это скорее уютное место, нежели тесное пространство. Даже самые непоседливые из нас — наверное, *в первую очередь* самые непоседливые из нас — знают, что невозможно постоянно жить в поиске новых ощущений, не зная никаких обязательств. Или точнее: мы знаем, так жить невозможно, не испытав невыносимую легкость бытия. Американский литературовед Джордж Стайнер говорил, что корни есть только у деревьев, а людям даны ноги, чтобы они могли перемещаться. У финских шведов есть и корни, и ноги.

Я люблю финско-шведскую жизнь, потому что язык — это инструмент моего труда, а будучи финской шведкой, я не могу не размышлять о языках. Я люблю "Песню о родном языке" Й. Ф. Хагфорса:

> Как ласкает слух звонкая песня на
> любимом родном языке,
> Закаляет сталь духа и сердцу
> утешенье приносит в беде!
> В пору детства она нас качала в
> своих добрых и сильных руках
> И однажды у края могилы силы
> даст побороть в себе страх.
> Песня эта дана нам в наследство,
> сквозь века ее голос нас вел,
> Разливаясь от берега к берегу в
> краю тысячи тысяч озер![1]

Только люблю я ее за то, что в ней говорится не о каком-то конкретном родном языке, а о родном языке вообще: Хагфорс предполагал, что когда песню переведут на финский, то в "краю тысячи тысяч озер" ее будут распевать представители обеих языковых групп.

Финские шведы не бывают языковыми фундаменталистами, ведь им известно, что одну и ту же действительность можно описать по-разному. Известно им и другое — более того, известно по собственному опыту: язык и культура взаимосвязаны. Мне кажется, я понимаю датчан, которые настаивают, будто бы их слово *hygge* — вовсе не то же самое, что немецкое *Gemütlichkeit*, английское *cosiness* или даже норвежское *kos*[2].

1. Маленькое — красиво (*англ.*).

1. Перевод Аркадия Гриднева. Эта песня, впервые исполненная в 1898 году, считается гимном финских шведов.
2. Все эти слова означают "уют".

Мне кажется, я понимаю даже Кафку, писавшего в дневнике, будто немецкий язык мешает ему по-настоящему любить свою мать. Еврейская мать — никакая не *Mutter*, потому что это слово подспудно христианское: "Еврейская мать, которую называют *Mutter*, вызывает смех и отчуждение".

Как и в детстве, я до сих пор думаю, что объясниться можно и без языка — было б желание высказаться. Меня восхищает письмо художницы Эллен Теслеф своему другу, английскому актеру и режиссеру Гордону Крэгу. Крэг усомнился в возможностях женщины-художника и в ответ получил: "Your letter amuse mich: 'woman als Künstler' wie shocking? Was — was meinen Sie — bitte, ich verstehe nichts. Ein Künstler ist doch tout simplement ein Gott — e basta?"[1].

Правда же, кажется, словно бумага горит под ее пером?

В этом году финско-шведские ученики начальной школы в преддверии Шведского дня[2] писали сочинение, что типично для финских шведов, и многие отметили: "Для финских шведов типично двуязычие". Я обожаю бесчисленные возможности и стратегии, скрытые в двуязычии.

В семьях, где двуязычие культивировалось многими поколениями, сыновья обычно учились в финской школе, так как им предстояло выйти в свет и сделать карьеру, девушки же ходили в шведскую, так как им предстояло сидеть дома и возиться с детьми.

Шведский для нас родной еще и потому, что это — язык матери.

Но при необходимости допускались исключения. Например, один мой двуязычный друг рассказывал: "Мой отец и трое из его четырех братьев ходили в финскую школу, а дядя Роберт считался немощным и ходил в шведскую".

Как-то раз я оказалась в библиотеке в одном финноязычном городке и познакомилась с тамошним библиотекарем. Она так здорово говорила по-шведски, что я даже не сразу поняла, что она финка. Я спросила ее, как это получилось, и вот что она ответила: "Я выросла в финноязычной среде, но мне очень хотелось, чтобы мои дети были билингвы, и я вышла замуж за финского шведа. Пока дети подрастали, муж очень редко бывал дома, так что мне пришлось самой выучить шведский, и теперь я говорю с детьми по-шведски".

Одна из моих студенток рассказала мне, чем порой оборачивается двуязычие на практике.

Ее финноязычная мать и шведоязычный отец друг с другом говорили по-шведски, дети между собой общались по-фински, к отцу обращались по-шведски, к матери — по-фински. Но когда семья собиралась вместе — например, за ужином — то тут, прежде чем открыть рот, надо было хорошенько подумать. Ведь если ты в первую очередь обращался к отцу, то следовало говорить по-шведски, но обращаться только к отцу — все равно, что игнорировать мать, и наоборот. Ложась спать, моя знакомая следила за тем, чтобы сказать "спокойной ночи" на обоих языках, и еще меняла очередность — если сегодня начинала с финского, то на следующий день надо было начать со шведского.

Как неудобно — покажется со стороны, но в то же время понимаешь и другое: такое двуязычие наверняка призвано научить нас чему-то важному о языке и общении.

А может, оно призвано научить нас, что общение невозможно без чуткости.

1. Смесь английского, немецкого, французского и итальянского языков: "Ваше письмо меня позабавило: 'женщина-художник' — Вас это шокирует? Что, что Вы хотите сказать, умоляю Вас, я не понимаю. Художник — это просто-напросто Бог — и точка?"
2. Шведский день — праздник финских шведов, отмечается в Финляндии 6 ноября.

Магдалена Сластушинская

Жизнь продолжается: кино по-фински

В 2007 году Финляндия праздновала столетие со дня начала съемок первого фильма. За сто лет кинематография стала культурным достоянием страны, закрепляющим стереотипы и формирующим национальную идентичность граждан.

Давайте представим себе ситуацию, что мы опоздали к началу фильма и начали смотреть картину после того, как прошли титры, где указана страна-производитель. По каким признакам мы узнáем, что смотрим именно финский фильм, а не шведский, датский или французский? В этом нам помогут такие специфические структурные особенности, как:

– история страны и литература как источник сюжетов;

– фольклорная музыка и музыка, написанная финскими композиторами;

– пейзажи Финляндии;

– узнаваемые черты национального характера;

– признанные в финском обществе ценности;

– финский юмор.

Кроме того, можно, например, определять финское кино исходя из того, что режиссеры этих фильмов – сами финны. Все это вполне очевидно. Но до какой степени образ Финляндии сформирован киноиндустрией? Естественно, всегда трудно обобщать, тем более когда дело касается произведений искусства. Все же рискнем предположить, что кинематографический образ родной страны в большой мере сформирован отдельными талантливыми художниками. О деятельности последних и пойдет речь ниже. Попробуем проследить этапы развития финской кинематографии по принятой хронологии – десятилетиям.

1900-е годы

28 июня 1896 года, ровно через шесть месяцев после парижской премьеры "движущихся картинок", в Хельсинки состоялся первый публичный кинопоказ, организованный группой "Синематограф Люмьер". В начале XX века в Финляндии появляются "живые картинки" собственного производства, снимаются документальные зарисовки, к этому времени принято относить зарождение жанра неигрового кино. В 1906 году открывается первая финская киностудия "Аполло студио" ("Apollo Studio"). Через год она выпускает первый игровой фильм "Тайные самогонщики".

1910–20-е годы

На второе десятилетие XX века приходится становление документалистики. С 1907 по 1917 годы "Аполло студио" выпустила триста фильмов, причем в основном кинохроники и короткометражные документальные ленты. К сожалению, из всего этого богатства практически ничего не сохранилось.

В 1919 году режиссер Эркки Кару (1887–1935) основал киностудию "Суоми фильми" ("Suomi Filmi"), с появлением которой финские фильмы стали выходить в свет регулярно. В 20-е годы кинокомпании стабильно развивались и экспериментиро-

© Магдалена Сластушинская, 2009

вали наравне со своими зарубежными коллегами. Во второй половине 20-х в страну пришло звуковое кино, что вынудило продюсеров вложить немалые средства в новое оборудование. Однако уже в конце десятилетия из-за начавшейся экономической депрессии киноиндустрия испытывала финансовые затруднения, замедлившие ее развитие.

Для производства фильмов требовались сюжеты; финны находили их всюду — в Ветхом Завете и газетных колонках, в поэзии и прозе. В 20-е годы появились первые экранизации произведений национальной литературы: "Сапожники Нумми" по роману Алексиса Киви, чей день рождения отмечается как день финской литературы, и "Анна Лийса" — по классической пьесе Минны Кант.

1930-е годы

В 30-е годы в Финляндии начинает формироваться концепция национального кино. Именно тогда отражению финской идентичности средствами кино стали уделять особое внимание. Эта тенденция — результат структурных изменений в киноиндустрии: появления киностудий-монополистов.

В течение первых двух десятилетий XX века в Финляндии существовало огромное количество студий-"однодневок". Даже самые стабильные из них работали не дольше трех-четырех лет, поэтому многие производители задумывались в первую очередь о рентабельности фильмов и уже потом — об их качестве.

В 1920-е годы основанная Эркки Кару киностудия "Суоми фильми" доминировала в сфере кинопроизводства. Компания занималась продюсированием, организацией проката внутри страны и за ее пределами, причем делала это настолько успешно, что намного обогнала своих конкурентов.

В конце 20-х "Суоми фильми" претерпела экономический кризис, что привело к образованию в 1933 году нового мощного концерна "Суомен филмитеоллисуус" ("Suomen Filmiteollisuus"), более известного по логотипу "СФ" ("SF"), раннее принадлежавшему "Суоми фильми". Впервые в Финляндии действовали две одинаково сильные кинокомпании, которые определили основные направления развития кинематографии в стране. В условиях борьбы между ними идея "национального финского кино" как особенного стиля, существующего в мировом киноискусстве, приобрела особый вес и значение.

Впрочем, в 1930-е годы подъем национального кинематографа происходил не только в Финляндии, но и во всем мире. Появление звукового кино, экономический спад и обострение политической конфронтации в мире — все это повлияло на политику национального кинопроизводства. Страны Европы ограждали внутренний рынок от иностранной кинопродукции: увеличивали налоги и квоты на иностранные фильмы, вводили ограничения на импорт, а в некоторых случаях — даже полный запрет на прокат фильмов из определенных стран.

Интересно, что в Финляндии подъем киноиндустрии тесно связан с изменением налогового законодательства. Правительство, увидевшее в кинематографии потенциальное оружие внутренней и внешней пропаганды, снизило налоговые сборы на производство документальных фильмов, а художественные фильмы вовсе не подлежали налогообложению.

Разумеется, идея национального кино появилась не в начале 30-х, а в конце десятилетия — но именно с 1933 по 1939 годы, по мнению одного из крупнейших историков кинематографии Кари Ууситало, она проявила себя наиболее ярко.

Один из лучших фильмов довоенного периода — "Юха" (1937) выдающегося режиссера Нюрки Тапиоваары, который погиб на советско-финской войне. Сюжет фильма заимствован из одноименного хрестоматийного романа Юхани Ахо (1861—1921). Действие разворачивается в Восточной Финляндии XVIII

века: простосердечный крестьянин Юха воспитывает сиротку Марью, которая впоследствии становится его женой. Однако карельский торговец Шемейкка соблазняет Марью и подговаривает бежать вместе с ним...

"Юха" — ключ к финской душе, этот роман бьет все рекорды по количеству экранизаций в Финляндии. До Тапиоваары, в 1919 году, в эпоху немого кино, им заинтересовался режиссер Мориц Стиллер; тогда съемки национального хита проходили в Швеции. Экранизация Тапиоваары, над которой он работал совместно с сыновьями писателя, считается классической, она ближе всего к оригиналу, однако фильм не пользовался особой популярностью.

Первый финский звуковой фильм "В костюме Адама и (чуть-чуть) Евы" (режиссер Яаакко Корхонен) появился в 1931 году. Изначально фильм был немым, но позднее на изображение наложили музыку. Несмотря на то, что диалоги в этой картине так и остались в форме субтитров, начало новому этапу в становлении кино Финляндии было положено. В фильме "Скажи по-фински!" (1931) впервые звук и изображение были записаны на одну ленту. Первым игровым фильмом со звучащими диалогами стала "Невеста лесоруба" (1931) режиссера Э. Кару.

В целом в 1930-е годы финское кино процветало. В этот период снималось около двадцати документальных и художественных фильмов в год — внушительная цифра даже по меркам сегодняшнего дня.

Одним из наиболее заметных режиссеров 30-х годов, чьи фильмы до сих пор вызывают интерес, является Теуво Тулио (р. 1912). Стоит выделить его картину "Силья, усопшая в юности" (1937), сюжет которой основан на романе нобелевского лауреата Франса Силланпяя. Главной героине романа — одинокой, доброй и мягкой девушке из знатной, но обедневшей семьи — все труднее ладить с окружающим миром.

Режиссер снял серию мелодрам, много экспериментируя с визуальным рядом. К сожалению, первые три фильма Теуво Тулио (включая "Усопшую") не сохранились — они сгорели в хельсинкском пожаре 1959 года. Поздние его работы были весьма негативно восприняты и буквально осмеяны и критикой, и зрителями, что вынудило режиссера оставить кинематограф.

В 1933 году "Суоми фильми" стала "высшей школой" финского фильма, что в первую очередь связано с именем режиссера Ристо Орко, пригласившего в кинокомпанию специалистов и актеров из Франции и Швеции. Излюбленным жанром "Суоми фильми" в 30-е годы были легкие комедии. Один из ярчайших образцов — "Слуга Силталы" (режиссер Ристо Орко; 1934). Это фильм о высшем сословии, о том, как оно прожигает жизнь. Лента пользовалась бешеным успехом — ее посмотрели более одного миллиона человек.

Другой заметной работой Ристо Орко стал фильм "Активисты", который появился в 1939 году, за несколько месяцев до начала Зимней войны. В картине хорошо переданы общественные настроения того времени.

В 1938 году Ристо Орко экранизировал мюзикл "Невеста егеря" по сценарию Сэма Сихво. Мюзикл стал воплощением нацистских и антисемитских идей соавтора сценария Илмари Унхо (1906—1961), бывшего секретаря местного отделения фашистской партии.

В том же году еще один заметный режиссер, Тойво Сяркка, выпустил картину "Февральский манифест"[1], пронизанную антироссийскими настроениями, такого же духа, как и "Активисты" Ристо Орко. Основное различие между этими двумя картинами — в том, что действие "Февральского манифеста" перенесено в довоенные времена.

1. "Невеста", "Активисты" и "Февральский манифест" были "временно" запрещены к показу сразу после окончания войны. Запрет был снят только в 1986 г.

1940-е годы

К концу четвертого десятилетия напряжение в экономике и политике спало. Официальная политика страны в это время: ориентация на Скандинавские страны, союз с Германией, коалиция социал-демократической партии с политическим "центром", стратегия национальной унификации – вполне соответствовала целям кинокомпаний. Причем все эти процессы происходили в условиях надвигающейся Второй мировой войны. Годы войны приостановили развитие киноиндустрии.

Идея объединения финнов как нации посредством кино заметно ослабела уже к концу 1930-х. Концепция национального кино не исчезла, но изменилась. Уже во время войны националистические акценты стали смягчаться. С другой стороны, ревностное внимание к патриотизму перестало восприниматься однозначно. Неясным было само понимание патриотизма, даже две крупнейшие конкурирующие кинокомпании "Суоми фильми" и "СФ" расходились в трактовках этого понятия.

Картины "Суоми фильми" затрагивали общечеловеческие проблемы и пропагандировали толерантное отношение к представителям разных наций, хотя встречались и исключения, например, откровенный антисемитизм в вышеупомянутой картине "Невеста егеря". В противоположность своему конкуренту, кинокомпания "СФ" ориентировалась только на отечественного зрителя и вела атаку на фильмы иностранного производства. Одним словом, в военные годы "национальное кино" стало политическим термином, понимание которого менялось в зависимости от обстоятельств.

Искусно сделана лента военных лет – "Вальс бродяги" (1941) одного из самых плодовитых финских режиссеров Тойво Сяркkя[1]. Сценарий "Вальса" написал популярный финский писатель Мика Валтари, чьи книги переведены более чем на тридцать языков. В этой картине режиссер изображает представителей элиты, противопоставляя их жизнь существованию простых людей.

Во время Второй мировой войны Тойво Сяркkя жил в Стокгольме. По возвращении на родину он продолжил успешно снимать. Его картины "Поэт и перелетная птичка" о национальном поэте Йохане Рунеберге (1940) и "Красивый парк Кайвопуисто" (1941) стали классикой.

С укреплением финского патриотизма появился новый кинематографический жанр – военный фарс. Начало этому направлению положил фильм "Черная овца режима" (режиссер Тойво Сяркkя; 1938). Вероятно, одной из причин популярности военных фарсов была относительная простота сюжетов, что не требовало от создателей фильмов особой сноровки. Рекордное количество военных фарсов было снято в 50-е годы, потом эта волна сошла на нет и вновь набрала силу только в 1980-х.

Жанр комедии поделили между собой монополисты – "Суомен филмитеоллисуус" и "Суоми фильми". "СФ" выпускала народные фарсы, героями которых зачастую были соперничающие друг с другом клоуны. В "Суоми фильми" эстет Валентин Ваала снимал интеллектуальные городские комедии.

В сентябре 1944-го Финляндия заключила перемирие с СССР. Немецкие войска оставили страну, которая незадолго до падения Берлина объявила войну Гитлеру. Из-за отсутствия пленки производство фильмов в Хельсинки полностью прекратилось. "Суомен филмитеоллисуус" сдала на некоторое время в аренду свои студии успешно развивавшимся шведским кинокомпаниям.

В конце 1945 года Голливуд привез в Финляндию свои фильмы, которые заполнили репертуар кинотеатров на шестьдесят процентов. Одновременно возобновилось производство отечественных картин, расходы на которые почти полно-

1. Большинство сценариев к своим фильмам написал он сам.

стью окупались внутри страны, — по количеству кинотеатров и их посещаемости Финляндия не уступала Франции[1].

После войны Финляндия все еще оставалась аграрной страной, больше половины населения проживало в сельской местности. Неудивительно, что особым успехом пользовались национальные романтические комедии, действие которых происходило в деревнях. Сценарии основывались в основном на популярных литературных произведениях.

1950-е годы

В 1950-х в Финляндии, как и во всем мире, киноиндустрия переживала кризис. Причем здесь он был скорее творческим, чем производственным.

В 1956 году в Финляндию пришло телевидение, началась борьба за зрителя. Кинопродюсеры, большинство из которых были уже немолодыми людьми, не поспевали за временем и занялись римейками фарсов 20—30-х годов и фильмов, основанных на классических литературных произведениях. В результате Финляндия получила по две — а в некоторых случаях и по три — экранизации одних и тех же романов.

До конца десятилетия развитие кинематографии по-прежнему определяли две уже упоминавшиеся компании, к которым в начале 50-х примкнула третья — "Феннада фильм" ("Fennada Film").

Компании были заинтересованы в количестве снимаемых фильмов, что не преминуло сказаться на качестве. В 1955 году количество произведенных фильмов достигло небывалого уровня: было снято оставшееся по сегодняшний день рекордным число — тридцать киноленг. До 1955 года это число варьировалось от пяти до двадцати трех фильмов в год, после 1955-го производство документальных и художественных фильмов заметно сократилось и, например, в 1965-м составило десять фильмов, а в 1975-м — только двенадцать[1].

Значительное число картин начала 50-х было снято в жанре музыкальной комедии, первым таким фильмом считается "На рынке в Рованиеми" (1951) — совместная работа сценариста Рейно Хелисмаа (1913—1965), режиссера Тойво Сяркя и актера Эсы Пакаринена (1911—1989). Той же команде принадлежит тринадцатисерийный фильм "Пекка — Деревянная башка" (1953—1960) о путешествии мультипликационного персонажа из Лапландии на Суэцкий канал.

Стоит отметить завоевавшие народную любовь картины "Хета Нискавуори", "Здесь, под Северной звездой" и "Аксели и Элина", снятые по сюжетам популярных романов Вяйнё Линны режиссером Эдвином Лайном.

Вехой в истории финского кино стало открытие в 1957 году Государственного киноархива, где с тех пор хранятся все фильмы, произведенные в Финляндии и импортированные в страну.

В 1956 году вышел первый цветной полнометражный художественный фильм — очередная киноверсия романа "Юха" от режиссера Тойво Сяркя. Эта экранизация считается самой скучной из всех имеющихся, историки кино называют ее обычной "цветной открыткой". Однако, несмотря на нелестные отзывы критиков, фильм принес его создателям большую прибыль.

Заметным явлением стал фильм Эдвина Лайне "Неизвестный солдат" (1955), снятый по роману Вяйнё Линны. Сейчас этот роман входит в обязательную школьную программу, а в конце 1954 года только что вышедшая в свет книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Автор описал события 1940—1941 годов (причем описание войны

1. Жорж Садуль. Всеобщая история кино. Т. 6. — М.: Искусство, 1958.

1. Приведена статистика только по игровым фильмам.

впервые было лишено пропагандистского пафоса) и дал собственную трактовку одного из самых болезненных периодов в истории страны, поставив под сомнение мужество и отвагу финских солдат. Главные герои "Неизвестного солдата", молодые финские мужчины, мечтают только об одном — вернуться с фронта домой. Линна исследует причины, которые заставляют их воевать.

В течение первых месяцев после публикации было продано более полумиллиона экземпляров книги, и тираж постоянно приходилось допечатывать. Обсуждение участия Финляндии в войне с Советским Союзом вылилось на страницы прессы. В самый разгар споров режиссер Эдвин Лайне и снял свою картину. В кинотеатрах "Неизвестного солдата" посмотрели почти три миллиона человек. С тех пор ежегодно финны по традиции смотрят этот фильм в День независимости, 6 декабря. По результатам голосования, проведенного национальной газетой "Хельсингин саномат", "Неизвестный солдат" признан лучшим отечественным фильмом всех времен.

1960-е годы

В конце 1950-х годов назрела необходимость государственных субсидий. Первая система поддержки была учреждена в начале 60-х в форме государственных премий, поощрявших кино высокого качества. Это создало внутреннюю конкуренцию и благотворно сказалось на развитии кинематографа.

Преодолению кризиса пятидесятых способствовала также полная отмена налогов на кинодеятельность (1958). Но именно тогда стало ясно, что сохранить киноиндустрию в том виде, в каком она существовала до 60-х годов, невозможно. Ситуацию усугубила забастовка актеров, начавшаяся в 1963 году и продолжавшаяся вплоть до лета 1965 года. Одновременно режиссер Тойво Сяркка, с 1935 года возглавлявший "Суомен филмитеоллисуус", решил продать права на демонстрацию двухсот фильмов телевидению. Это решение оказалось фатальным, так как три года спустя дополнительные налоги на продажу прав национальному телевидению разорили компанию окончательно. Закрытие гиганта "СФ" символизировало закат старого профессионального студийного кино и открывало возможности новому направлению, искавшему правду на улицах. На долю "СФ" приходилась треть всех фильмов, произведенных на территории Финляндии с 1933 по 1965 годы.

Таким образом, из трех кинокомпаний-гигантов к середине 60-х осталось только две — "Суоми фильми" и "Феннада фильм" (детище 50-х). Их производство также заметно сократилось, и на экране все чаще стали появляться картины, созданные маленькими киностудиями, группами режиссеров и продюсеров. Например, в 1964 году популярный актер-комик и режиссер Пертти "Спеде" Пасанен открыл свою киностудию. К тому же времени относится активная деятельность кинокомпании "Филминуар" ("Filminoir"), которая принадлежала режиссерам Ристо Ярве и Яакко Паккасвирте.

В борьбе за появившиеся государственные премии режиссеры стремились использовать нетрадиционные творческие ходы и художественные методы. Ориентиром им служила европейская традиция, опирающаяся на личности режиссеров и актеров, вдохновением, — возникшая во Франции в конце 50-х "новая волна", представители которой призывали порвать с условностями и искать новые эстетические формы, приближенные к реальности. "Кино — материал вполне гибкий и эластичный, подвижный и восприимчивый, нельзя ограничивать его художественным воспроизведением литературных текстов", — писал в 1962 году Эйно Руутсало, финский апологет идеи искусства ради искусства.

60-е годы ознаменовались в истории страны большим потоком мигрантов из провинции в крупные города, что сразу же отразилось на ки-

нопроизводстве. Старомодные романтические фильмы больше не интересовали зрителя, а их герой — ударник аграрного хозяйства — вышел из моды. Требовалось нечто новое, реформистское и шокирующее. В то же время сексуальная революция прорывалась во все сферы человеческой жизни. Спрос определял предложение: в Финляндии начали снимать эротические фильмы. Самыми заметными режиссерами этого направления были Микко Нисканен и Мати Кассила, их работы "Под твоей кожей" и "Голубая неделя" в то время наделали много шума.

Однако лучшим режиссером Финляндии современники признавали Ристо Ярву (1934–1977) за талантливое изображение социальных и политических проблем. Его фильмы "Дневник рабочего" (1967), "Бензин в венах" (1970), "Война одного человека" (1973) выдержаны в стилистике "новой волны". Например, лента "Игры наудачу" (1965) повествует о жизни журналиста глянцевого журнала, Юсси, который живет в одной квартире со своей девушкой и сестрой. Он знакомится на съемках с фотомоделью Телле, которая только что вернулась из Парижа; она не может найти жилье в Хельсинки, и Юсси приглашает ее пожить вместе с ним. Так начинаются их отношения. Фильм построен на "философских диалогах о жизни" во французском стиле. Однако эти картины не принесли Ристо Ярве большую прибыль, и он занялся уже хорошо забытым к тому времени жанром "финской комедии", одна из ярчайших его работ в этом направлении — "Человек, который не мог сказать 'нет'" (1975).

1970-е годы

Событием, повлиявшим не только на все восьмое десятилетие истории финского кинематографа, но и на дальнейшую его судьбу, стало учреждение Кинофонда Финляндии. "Положение" о создании фонда было подписано в 1969 году представителями государственной власти и авторитетными кинематографистами, которые видели его основную функцию в поддержке кино в Финляндии. Кинофонд не производит фильмов, но принимает решение о выдаче государственных грантов кинематографистам и выплатах за повторное использование кассет, а также регулирует права телевизионного показа. Кинофонд помог многим, особенно молодым режиссерам, несмотря на то, что его начальный бюджет был очень невелик. Декларировалось, что Кинофонд будет способствовать открытию новых талантов[1].

В это десятилетие преобладают картины на социальные темы, снятые небольшими кинокомпаниями. "Последний дым" (режиссер Эдвин Лайн; 1977) стал последним игровым фильмом, сошедшим с конвейера киностудии "Суоми фильми", которая сменила направление деятельности и стала заниматься в основном продюсированием кино.

Главным событием 70-х стала знаменитая картина "Год зайца" (1977). Лидер финской "новой волны", режиссер Ристо Ярва, снял ее по роману плодовитого писателя Арто Паасилинны. По словам издателя, книги Паасилинны стали "таким же элементом финской осени, как опадающие листья берез".

Сюжет оригинален: хельсинкский журналист Ватанен нечаянно наезжает на зайца. Пожалев несчастного перепуганного зверька, он подбирает его и вместе с ним пешком отправляется в увлекательное путешествие по Финляндии, решив покончить со всем, что до того дня составляло его жизнь, — и обретает подлинную свободу.

1. Интересно, что молодой комик и режиссер Пертти "Спеде" Пасанен (р. 1930), о котором мы упоминали выше, не получил от Кинофонда ни одной финской марки, тем не менее он стал широко известен в своей стране в 70-е годы благодаря фильму "Ууно Турхапуро". Снятые Спеде забавные комедии для семейного просмотра не отличались большой артистичностью и красотой постановок, но именно они вернули зрителей в кинотеатры.

1980-е годы

Смена поколений в финском кинематографе началась в 80-е годы прошлого века. За десятилетие было снято около тридцати фильмов, многие из которых, к сожалению, оказались последними в творчестве их создателей. Известные на весь мир братья Мика и Аки Каурисмяки стали классиками финского кино, обновив его эстетические приемы; но наряду с ними творили и другие, реже упоминаемые режиссеры, такие, как Пяйви Хартцель, Матти Ияс, Маркку Лехмускаллио, Клас Улссон, Олли Сойнио и Лаури Тёрхёнен.

Финский кинематограф обратился к теме "потерянного поколения". Первый фильм на эту тему снял Тапио Суоминен (р. 1946).

Фильм Тапио Суоминена рассказывал о проблемах молодого поколения средствами, понятными широкой аудитории. Картина имела большой успех как у зрителей, так и у критиков. В 1980 году казалось, что с именем Соуминена будет в дальнейшем ассоциироваться все десятилетие.

На 80-е приходится становление таких режиссеров, как Пирьо Хонкасало (р. 1947) и Пекка Лехто (р. 1948). С их ленты "Горящая голова" (1980) в киноискусстве Финляндии началась эра постмодерна, главными представителями которой стали Мика (р. 1955) и Аки (р. 1957) Каурисмяки, дебютировавшие гангстерским фильмом "Никчемные" (1982) – критика сравнила его с дыханием свежего ветра.

В этот период популярность приобрели экранизации народных сказок ("Король без сердца" (1982), "Песси и Иллюзия" (1984), "Снежная королева" (1987), поэтические ленты Маркку Лехмускаллио о противостоянии человека и природы ("Танец ворона", 1980; "Лыжник", 1982; "Инуксук", 1988) и фильм ужасов Олли Сойнио "Соната лунного света" (1988). Но самыми прибыльными фильмами 80-х стали три военные картины: "Совьетисайзд" (режиссер Рауни Моллберг; 1985), продолжение "Ууно Турхапуро" (режиссер Пертти "Спеде" Пасанен; 1984) и римейк "Неизвестного солдата" – "Зимняя война" (режиссер Пекка Парика; 1989).

Последняя посвящена финским солдатам, оборонявшим линию Маннергейма в войне с СССР. Автором сценария стал мастер исторических романов и лауреат престижной литературной премии "Финляндия" (1997) Антти Тури, который провел большую работу над архивными документами с тем, чтобы представить читателю как можно более точную версию произошедшего. Режиссер Пекка Парикка снял эпическую ленту о событиях Второй мировой войны 1939–1941 годов. Фильм вышел в Финляндии и Швеции в 1989-м, к пятидесятилетию Зимней войны. Он стал самым кассовым финским фильмом года у себя на родине и был удостоен семи премий финской киноакадемии "Юсси".

Характерными приметами начала 80-х стали упование на государственную поддержку и недостаток финансирования. Финских зрителей национальное кино интересовало мало, к тому же здесь, как и в мировом кинопрокате, по-прежнему лидировали американские блокбастеры.

1990-е годы

В 90-е производство художественных фильмов в Финляндии сократилось до десяти-двенадцати премьер в год. В то же время возросла роль телевидения. Кинематограф четко разделился на "популярный" и "авторский".

Безусловными лидерами авторского кино стали братья Аки и Мика Каурисмяки, очень быстро за ними закрепилась репутация "молодых, подающих надежды талантов Финляндии, которые могут сказать новое слово в финском киноискусстве". Теперь уже каждый финн знал фамилию Каурисмяки (вне зависимости от того, нравились ему фильмы братьев или нет), затем пришло и мировое признание.

Историк кинематографии, исследователь творчества братьев Каурисмяки Роджер Конн пишет: "В настоящее время все кино Финляндии – это Аки Каурисмяки"[1]. Их фильмы, среди которых "Преступление и наказание" (1983), "Хельсинки–Неаполь: всю ночь напролет" (1987), "Девушка со спичечной фабрики" (1990), "Ленинградские ковбои едут в Америку" и "Жизнь богемы" (1992) получили высокую оценку иностранных критиков и были удостоены наград международных кинофестивалей.

Стоит отметить очередную попытку экранизировать хрестоматийный роман "Юха". Фильм с одноименным названием вышел в 1999 году и сразу же стал сенсацией на Берлинском фестивале. Аки Каурисмяки снял немую (!) черно-белую стилизацию, а действие романа перенес в современность.

2000-е годы

Современное финское кино стремительно развивается. Выпуск фильмов увеличивается, крепнет профессионализм, проявляется оригинальность в выборе тем и стилей. В настоящее время в Финляндии ежегодно выпускается в среднем 8 полнометражных игровых лент, большое количество телевизионных, короткометражных, документальных и мультипликационных фильмов.

Национальный комитет по кинематографии, созданный в 1969 году, каждый год представляет Финляндию на крупных кинофестивалях, организует фестивали и в самой Финляндии, оказывает содействие в поиске зарубежного зрителя.

К последним достижениям следует отнести фильм "Собачий педикюр" (2004) одного из лучших современных режиссеров Марку Пёлёнена. Фильм снят по одноименному произведению современного философа-юмориста Вейкко Хуовинена, известного своим ироническим взглядом на финское общество. Его герои – финны со странностями, живущие, как правило, на востоке Финляндии, откуда родом сам писатель.

Главный герой картины Мерцси – неисправимый идеалист – живет своим долгом. Однажды Мерцси приезжает в дом к своему другу Кусманену и находит записку: разрешение остричь когти его псу. Мерцси воспринимает шутку друга всерьез, причем относится к заданию настолько серьезно, что не справляется с ним: собака кусает его за руку. И все же Мерцси не отчаивается. Встретив лечившего его во время войны доктора, герой весело машет ему забинтованной рукой, словно хочет сказать: "Жизнь может укусить тебя, но, несмотря ни на что, она продолжается".

1. R. Connah. K/K, A Couple of Finns and Some Donald Ducks. – Helsinki: VAPK, 1991.

Кристина Роткирх

Катастрофа и выживание в Муми-мире

Перевод с английского Аркадия Гриднева

В сказках Туве Янссон о муми-троллях особую роль играет стихия воды. Прежде всего, вода – это опасность: она несет с собой бедствие или указывает на его приближение. Но вода может и спасти, как это случилось в комиксе "Муми-тролль и конец света". И еще вода – это неиссякаемый источник наслаждения: нырять с открытыми глазами – одно из самых любимых развлечений муми-тролля, о чем мы узнаем из сказки "Комета прилетает"[1].

В книге "Опасное лето" огромная волна захлестывает долину – эта катастрофа разрушает привычный уклад в доме Муми-троллей. Похожий на башню Муми-дом медленно погружается в воду. Семейство муми-троллей забирается на чердак и через дырку в полу любуется затопленной кухней, в глубине которой кофейный сервиз кружится вместе с караваями белого хлеба. Муми-мама озадачена только тем, что гостиная оказалась под водой как раз, когда дом полон гостей. Она поворачивается к своим новым знакомым и смущенно объясняет: "Наша семья просто обожает плавать"[2].

Таким образом, уже в ранних книгах обозначаются два основных вопроса муми-философии: во-первых, вопрос выживания как такового и, во-вторых, вопрос, возможно, даже более важный, – ка́к выжить.

Когда самая первая книга "Маленькие тролли и большое наводнение" (1945) готовилась к переизданию в 1991 году, Туве Янссон написала короткое предисловие:

> Была военная зима 1939 года. Всякая работа застопорилась, казалось совершенно невозможным даже пытаться рисовать картинки. Возможно, покажется естественным и понятным, что мне внезапно захотелось написать что-нибудь, начинавшееся словами: "Жили-были..."[1]

Сама Туве Янссон была против переиздания, поскольку считала свою первую книгу не слишком удачной. Однако и в самой первой работе уже присутствовали многие основополагающие качества будущих сказок. Поражает детальная проработка основных персонажей: Муми-тролля, Муми-мамы, Сниффа и, наконец, Муми-папы. Муми-мир был сотворен во всем своем великолепии в подарок детям послевоенной Финляндии.

В основу сюжета положена история скитаний Муми-мамы и Муми-тролля в поисках "уютного и теплого местечка"[2], а в конце концов даже и Муми-папы. Самое суровое испытание выпадает на долю матери и сына в самом начале повествования, когда они оказываются посреди холодных и темных вод бездонной топи. На Муми-троллей, которые пересекают болото на листе кувшинки, нападает Большой Змей. Они пытаются уйти от преследования,

© Kristina Rotkirch, 2009
© Tigertext
© Аркадий Гриднев. Перевод, 2009

1 Названия всех переведенных на русский язык сказок и цитаты из них приводятся по изданию: Т. Янссон. Все о муми-троллях. – СПб.: Азбука, 2002. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Перевод Л. Брауде, Е. Паклиной.

1. Перевод Л. Брауде.

2. Там же; перевод Л. Брауде.

но Змей настигает их. При виде его злых глаз и жадной пасти Муми-тролль закрывает лицо лапками, кричит: "Мама!" – и замирает... Но Большому Змею не удается съесть маленьких троллей – их спасает девочка с голубыми волосами.

Впереди еще много приключений, но уже не таких зловещих, и книга заканчивается приходом главных героев в Муми-дол. Муми-папа нашелся, построил Муми-дом, а семейство выросло, усыновив первого из многочисленных постояльцев – маленького Сниффа. Основа будущего повествования заложена.

Таким образом, работа над книгой "Маленькие тролли и большое наводнение" была начата в 1939-м, в ту самую зиму, когда Финляндия отстаивала свою независимость в неравной схватке с Советским Союзом. Однако Туве Янссон была вынуждена прервать работу и смогла закончить книгу только в 1945-м, когда финны, понеся огромные потери, проиграли уже две войны. То, что их родина, в отличие от, например, стран Балтии, избежала оккупации и сохранила независимость, казалось чудом. В том же 1945 году Туве Янссон начала писать продолжение истории Муми-троллей. Следующая книга, "Комета прилетает", увидела свет в 1946-м.

По просьбе своего близкого друга Атоса Виртанена, главного редактора еженедельника "Ню тид" ("Новое время"), посвященного новостям политики и культуры, Туве Янссон нарисовала свой самый первый комикс "Муми-тролль и конец света", который печатался в "Ню тид" в 1947–1948 годах и представлял собой свободную адаптацию книги "Комета прилетает".

Очевидно, что в двух первых книгах о Муми-троллях нашел свое отражение опыт военного времени. Однако позиция Туве Янссон, когда ее героям грозит смертельная опасность, значительно различается в каждой из книг. Прежде всего, это вопрос времени. В более поздней книге "Комета прилетает", равно как и в комиксе, нарисованном по мотивам этой сказки, напряжение возрастает по мере того, как комета приближается к Земле, и достигает кульминации в самом конце, когда комета задевает планету своим хвостом. К этому моменту последнее потерянное существо уже найдено и все члены семьи, морально и материально готовые к развязке, собрались вместе.

Напротив, чудовище, выныривающее из темных вод самой первой книги "Маленькие тролли и большое наводнение", являет собой угрозу настолько близкую и реальную, что лишь немедленная реакция на нее позволяет семейству муми-троллей спастись и продолжить путь – уже к менее опасным приключениям. Спасение кажется совершенно чудесным, поскольку на помощь героям приходит излучающая свет девочка, прекрасная и крошечная, как цветок.

Должно быть, это единственный случай, когда Туве Янссон пользуется сказочным приемом и противопоставляет силы зла и добра. Поскольку повесть о "Маленьких троллях и большом наводнении" была написана первой, неудивительно, что в этой книге сказочный мотив используется вполне традиционно. Однако не следует забывать и о том, в каких чрезвычайных обстоятельствах находилась Туве Янссон, когда начала писать свою первую сказку. В 1939 году Финляндия, страна с четырехмиллионным населением, была атакована Советским Союзом. Понятно, что подобная угроза воспринималась на уровне почти метафизическом.

Сообразно масштабу этой угрозы ведет себя и Муми-мама. Только в книге "Маленькие тролли и большое наводнение" она, воплощение спокойствия и безопасности, почти теряет контроль над собой. Она плачет, суетится и нервничает, особенно после того, как ей удается напасть на след Муми-папы.

В этой связи представляется немаловажным вспомнить о судьбах финских детей, так или иначе разлученных со своими родителями в годы войны. Дети лишились отцов –

одни погибли на фронте, другие возвратились с войны физически или душевно искалеченными. Потеря Карелии означала, что 400 000 человек — в то время десятая часть населения Финляндии — были вынуждены покинуть свои дома и отправиться на поиски крова. И по сей день любой финн помнит фотографии той поры, запечатлевшие беженцев, которые бредут пешком на запад за своими повозками и домашним скотом. Скитания в поисках нового дома, "уютного и теплого местечка", тогда стали уделом многих.

Дети разлучались с родителями и по другой причине. В годы войны около 70 000 финских детей были отправлены за границу, главным образом в Швецию, на попечение радушных семей, которые открыли для них двери своих домов. Большинство уехало без матерей, мало кто знал шведский язык. В конце войны некоторые из этих детей вернулись, но только встречать их было уже некому. Другие позабыли финский язык и привязались к своим шведским родителям. В пору своего взросления я нередко слышала разговоры о семейных драмах послевоенных лет. Однако прошло не одно десятилетие, прежде чем мы смогли понять, что совершили трагическую ошибку, когда во имя спасения детей решили разлучить их с родителями.

В своих сказках Туве Янссон не пишет о "детях войны". Но читая ее первые книги, трудно не думать об этом эпизоде истории Финляндии. И столь же трудно поверить, что она могла писать свои книги, не думая об этом.

В повести "Комета прилетает" Муми-тролль отправляется вместе со Сниффом в экспедицию, чтобы собрать сведения о комете. По дороге они встречают Снусмумрика и Снорков (в комиксе "Муми-тролль и конец света" события и действующие лица несколько отличаются от сюжета и персонажей книги) и в конце концов узнают, что комета стремительно приближается к Земле. После этого главной заботой маленьких героев становится не избавление от опасности, но возвращение домой.

Вместе они отправляются в обратный путь, а комета с каждым днем становится все больше и краснее. Само собой, это несколько поспешное отступление не лишено как приятных моментов, вроде вечера на открытой танцплощадке, так и драматичных, как, например, схватка Муми-тролля с кровожадным кустом. Персонажи пересекают дно высохшего моря, и автор рисует нам жуткую и одновременно завораживающую картину, сравнимую с "Бесплодной землей" Элиота. На этом зловещем фоне герои повествования встречают беженцев из Мумидола, которые уверены, что комета упадет именно туда:

> На морском дне было полным-полно беженцев. Мелкий народец, малявки всякого рода, семейства мышей, мышиные тролли и лесные зверюшки. И все они бежали из Долины Муми-троллей. Почти все шли пешком, некоторые, самые перепуганные, бежали, но семейные раздобыли телеги или даже коляски, а кое-кто прихватил с собой весь дом. Все они бросали испуганные взгляды на небо, и почти ни у кого не было времени поздороваться[1].

В работах, посвященных "детям войны", основной причиной отправки финских детей за границу считается эвакуация — то есть бегство от опасности. Но Муми-тролль с друзьями двигаются в направлении прямо противоположном — навстречу опасности, в покинутую всеми долину:

> И вдруг он увидел Долину Муми-троллей и свой голубой Муми-дом, спокойный, привычный, такой же, как до их путешествия.
>
> А в доме его мама преспокойно пекла имбирное печенье с корицей.
>
> — Наконец-то мы дома! Мы дома! — закричал Муми-тролль. — Я знал, что все будет хорошо!

1. Здесь и далее перевод Л. Брауде, Е. Паклиной.

В послевоенные годы выступить с публичной критикой правительства, эвакуировавшего детей из зоны военных действий, было невозможно, и я не думаю, что Туве Янссон имела это в виду. Однако обращаясь к теме семейного воссоединения, она утверждает, что необходимым условием выживания являются именно родственные узы. В этом смысле Туве Янссон опередила психологов: им десятилетия спустя пришлось иметь дело с травмами, которые "дети войны" получили вследствие эвакуационной политики финского правительства.

Английский историк В. Р. Мид характеризует послевоенную Финляндию как нацию энергичных инженеров и ученых, самоотверженно работающих на благо своей страны. Он также упоминает несколько финских художников — главным образом, дизайнеров, но не только, — которые, несмотря ни на что, сумели удивить мир оригинальностью своего стиля.

Туве Янссон конечно же из их числа. Поразительная легкость и свобода ее творчества, возможно, объясняется тем, что она выросла в семье художника и сама получила начальное художественное образование. Она принадлежала к шведоязычному меньшинству Финляндии и писала по-шведски, однако никогда не ставила свое творчество в зависимость от национальной самоидентификации.

Профессор Глин Джонс однажды спросил Туве Янссон, хотела ли бы она, чтобы книги о муми-троллях воспринимались как своеобразный портрет финско-шведского сообщества. "Почему бы и нет? — спросила она в ответ. — Я ведь и описала семью финских шведов. Их жизнь проходит в изоляции, неизбежной для любого меньшинства. Но в этом нет никакого пафоса. Они любят друг друга, своих соседей и место, где им довелось жить. Конечно, им присущи вполне узнаваемые финско-шведские черты, но из-за этого Мумитролли не становятся ни лучше, ни хуже — они просто немного другие".

Эта финско-шведская семья, в частности, ведет несколько богемный образ жизни, но по сути своей буржуазна и мало чем отличается от остальных представителей среднего класса. Как отметила Туве Янссон, семейство Муми-троллей вполне довольно собой и своей жизнью. Их "Муми-философию" нередко называют типичной для финско-шведского сообщества, имея в виду либеральные взгляды и скорее осторожную, чем агрессивную или активную жизненную позицию (временами не лишенную некоторой покорности). И сами финские шведы — и дети, и взрослые — зачастую склонны отождествлять себя с муми-троллями.

И все же характерные финско-шведские элементы в книгах о мумитроллях выделить не так-то просто. Догадаться, что перед нами финские шведы, можно только по характерным диалектизмам, которые не всегда понятны даже шведским читателям. А сама Туве Янссон из всех финско-шведских черт упоминает только одну — свойственное всякому меньшинству чувство изоляции. В условиях изоляции особое значение приобретают семейные связи, личные отношения и национальная принадлежность. Финские шведы известны своей поразительной способностью находить родных и знакомых при первой же встрече — как тут не вспомнить, что Снусмумрик и малышка Мю в конце концов оказались близкими родственниками!

Действительно, обсуждать различия во взглядах и поведении двух языковых групп Финляндии нелегко. Я думаю, однако, большинство согласится с тем, что шведоязычной традиции в целом свойственно некоторое легкомыслие. К примеру, все знают, что эстрадное кабаре в Финляндии довольно долго было явлением исключительно шведоязычным. Кстати, лучшее кабаре можно было увидеть на сцене хельсинкского "Лилла театерн" — того самого, где сказки о Муми-троллях были впервые удачно поставлены на театральной сцене.

Однако Муми-дол считают своим не только шведоязычные фин-

ны, но все жители Финляндии. И все мы — и финны, и шведы — подозреваем, что иностранцам понятно далеко не все...

Взять хотя бы славную победу Снусмумрика над парковым сторожем в самый разгар "Безумного лета". Принято считать, что написано это о неповиновении властям гораздо более могущественным и зловещим. Такая интерпретация, конечно, имеет право на существование, особенно если вспомнить, что сама Туве Янссон в тридцатые годы рисовала политические карикатуры.

Но для всех финнов, которым в детстве не раз доводилось спасаться бегством от паркового смотрителя, преследующего их и осыпающего бранью только за то, что они осмелились забраться на дерево, победа Снусмумрика — своего рода реванш. И конечно же напоминание о том, что власти зачастую далеко не так могущественны, как кажется...

Кроме того, я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из иностранных читателей способен по-настоящему оценить алкогольную политику короля, который распорядился поставить на всех перекрестках бочки с вином, о чем пишет в своих мемуарах Муми-папа, или совместное распитие алкогольных напитков в комиксе "Мумитролль и конец света". Дело в том, что в Финляндии, несмотря на успешную антиалкогольную политику государства, алкоголизм по-прежнему остается острой социальной проблемой.

Весь муми-мир вполне можно рассматривать как проект умеренной реформы общества, регулируемого относительно строгими нормами поведения и морали. В этом мире религиозные принципы не актуальны, лютеранская этика труда забыта, повседневная жизнь непринужденна и проникнута творчеством, а веселье и шалости доставляют нескрываемое удовольствие. А ведь финских детей тогда воспитывали совсем иначе! Из книг о Муми-троллях мы узнаем, что жить надо открыто и смело, что дружба и любовь не противоречат свободе, что счастье возможно и доступно каждому.

Известный финский архитектор Рейма Пиетиля, брат той самой Туу-тикки (Тууликки Пиетиля — близкой подруги Туве Янссон), сказал однажды, что Финляндия, холодная страна на окраине Европы, постепенно преобразуется в "зону умеренного климата". Если это правда, то Туве Янссон — один из архитекторов новой Финляндии. В любом случае, благодаря таким, как она, финская нация смогла выжить в годы тяжелых испытаний. Туве Янссон описала нечто совершенно удивительное — иной образ жизни, притягательный и ненавязчивый.

"Продвигать чтение – забота государства"

Интервью с главным редактором финского литературного журнала "Парнассо" Ярмо Папинниеми

Запись и перевод беседы Магдалены Сластушинской

"Парнассо" основан в 1951 году при поддержке Государственного фонда культуры, в нем публикуются новинки национальной и зарубежной литературы. "Парнассо" взрастил не одно поколение читателей, сформировал вкус к финской литературе и считается самым влиятельным в стране.

В наши дни на страницах журнала печатается поэзия, художественная проза, детская литература и публицистика (обзоры, эссе, интервью).

Магдалена Сластушинская. Известно, что представителям всех видов искусств правительство Финляндии выплачивает заработную плату, а какими еще методами государство поддерживает национальную литературу?

Ярмо Папинниеми. Около 500 деятелей искусств получают гранты на общую сумму в 15 000 евро. Большинство из них – писатели и люди, имеющие то или иное отношение к литературе. Кроме того, ежегодно государство раздает более трех миллионов евро авторам художественной литературы (так называемые библиотечные стипендии).

Крупнейшей организацией, которая поддерживает финскую словесность и культуру чтения в Финляндии, является Фонд литературы Финляндии (Suomen Kirjasäätiö). Этот Фонд учрежден Министерством образования (Opetusministeriö) и Обществом книгоиздателей Финляндии (Suomen Kustannusyhdistys) в 1983 году. Фонд способствует продвижению национальной литературы, в том числе и за рубежом.

Финансовую поддержку писателям оказывают и частные фонды. Самые крупные из них – Фонд культуры Финляндии (Suomen Kultturirahasto) и Шведский фонд культуры (Svenska Kulturfonden).

На мой взгляд, особенно важно, что в Финляндии культуру чтения поддерживает государство. Частные фонды в этом не заинтересованы. Продвигать чтение как бренд – это и есть забота государства.

М. С. На какие средства существует журнал "Парнассо"?

Я. П. "Парнассо" очень популярен, в настоящее время тираж составляет 7000 экземпляров – никогда за всю историю существования журнала не было таких высоких тиражей. Для нас это значительная цифра, ведь не надо забывать, что население всей страны – чуть больше пяти с половиной миллионов жителей. Большинство читателей получают "Парнассо" по подписке, часть экземпляров уходит в розницу. Тем

не менее нужно признать, что журнал существует за счет медиагруппы "Yhtyneet Kuvalehdet", к которой принадлежит. За последние годы мы провели большую работу по оптимизации расходов, однако убытки все равно достаточно ощутимы. Я благодарен издателю за то, что нам не пришлось отказаться от полноцветной обложки, ведь это лицо журнала, надежда, что в газетном киоске читатель узнает "Парнассо" среди других и купит.

М. С. Как известно, европейские писатели получали Нобелевскую премию по литературе чаще, чем представители других стран. А среди них, в свою очередь, подавляющее большинство – авторы из стран Северной Европы. Влияют ли результаты литературных премий на продажи книг в Финляндии?

Я. П. Можно с уверенностью сказать, что произведения нобелевских лауреатов в Финляндии никогда не вызывают такого ажиотажа, как и книги победителей национальных премий по литературе.

Число ежегодных литературных премий в Финляндии перевалило уже за несколько десятков, но можно смело заявить, что они представляют интерес только для тех, кто их раздает. Ну и тех, кто их получает. И все же не стоит умалять их значениие. Признание творческих заслуг может придать писателю сил и веру в себя. А, как известно, творческим личностям это необходимо для вдохновения.

В 1987 году Фондом литературы Финляндии, о котором я уже рассказывал, была учреждена самая престижная в стране премия – за лучшее художественное произведение – "Финляндия" (Finlandia). С 1989 года премия "Финляндия" вручается также в номинации "Автор лучшего публицистического произведения" (Tieto – Finlandia), а с 1997 года – за детскую литературу (Finlandia Junior).

Лауреаты этой премии получают приличное денежное вознаграждение, призовой фонд в настоящее время составляет 30 000 евро. Кроме того, вокруг премии сосредоточено внимание финской прессы. Писатель, признанный лучшим, тут же становится знаменит. А разве не об этом мечтает любой литератор? Представители книжного бизнеса Финляндии делают ставки на лауреатов национальной премии, книга-победитель сразу вызывает массовый интерес. Поскольку премия ориентируется на самую покупаемую литературу, то в наши дни ее присуждают только за лучший роман. А ведь раньше на нее претендовали и новеллы, и эссе, и поэзия.

Вторая по значению финская премия носит имя любимого всеми финнами национального поэта Рунеберга и вручается ежегодно в день его рождения – 5 февраля. Но до популярности "Финляндии" ей далеко.

В прошлом году, впервые за всю историю, лауреатом обеих премий стал один и тот же автор – тридцатилетняя финско-эстонская писательница Софи Оксанен (Sofi Oksanen). Ее роман "Очищение" ("Puhdistus") выиграл и другие награды.

Между прочим, списки номинантов обеих премий иногда привлекают больше внимания, чем результаты. Так, в прошлом году (2008) в них не включили популярного и значимого писателя Яри Терво (Jari Tervo). Правда, нужно сказать, что воротилы книжного бизнеса вообще не обращают внимания на номинантов. Хотя издатели с пиететом относятся

к малотиражным писателям, если, конечно, последние попадут в списки номинантов, но это вряд ли.

Среди прочих литературных наград стоит выделить ежегодную премию имени другого национального поэта Эйно Лейно (решения выносятся Обществом Эйно Лейно), а также премию имени финского писателя Алексиса Киви (вручается раз в три года).

Есть еще одна государственная премия, она присуждается одновременно писателю и переводчику. В этом году ее получил Даниэль Кац (Daniel Katz), писатель-юморист еврейского происхождения, за книгу "Любовь берберского льва и другие истории" ("Berberilejijonan rakkaus ja muita tarinoita"), а также Юхани Линдхольм (Juhani Lindholm) за перевод книги шведского исследователя советской литературы Бенгта Янгфельдта (Bengt Jangfeldt) о Владимире Маяковском.

М. С. В последний мой приезд в Финляндию я прочла статью о том, что жители Хельсинки по полгода ожидают книжных новинок в библиотеках города. В России другие традиции, нам это непонятно, но очень интересно. Расскажите, почему так происходит?

Я. П. Скорее всего, речь шла об авторах, получивших национальные премии по литературе. Я уже говорил, что включение в списки номинантов не дает никаких преимуществ, на них вообще не обращают внимания издатели. Правда, у наших журналистов есть такая манера — выбрать любимчика-писателя и затеять всяческие обсуждения, критиковать его или, наоборот, нахваливать. Вот тогда кто-то, может, и обращается к его произведениям, записывается на его книги в библиотеках.

Беспроигрышная тема здесь — это секс. Например, прошлой осенью везде обсуждали только роман эпатажной писательницы Анны-Леены Хяркенен (Anna-Leena Härkönen), в котором говорится о женщине, чей муж не удовлетворяет ее в постели.

Короче говоря, о каких книгах узнают, а о каких нет, решают газеты и телевидение. Вся нация зависит от мнения двух-трех наиболее влиятельных журналистов. А они ни на какие премии не ориентируются, что Вы!

М. С. Давайте поговорим о современном литературном процессе в Финляндии.

Я. П. В настоящее время финны из всех жанров литературы предпочитают остросюжетные детективы, причем их популярность с годами не уменьшается. Люди предпочитают развлекательную литературу. Это факт. Но вместе с тем особенность финских читателей в том, что время от времени они сходят с ума по какой-нибудь художественной книге, написанной хорошим языком и с большим вкусом. Остается только удивляться: как это все сочетается? Так случилось, например, в 2002 году с романом одного из наиболее оригинальных современных финских авторов Кари Хотакайнена "Улица окопная"[1] ("Jouksuhaudantie"), когда все кинулись читать и обсуждать эту книгу. Еще один пример — роман "Очищение" Софи Оксанен.

Финны любят писать и читать про меланхолию. Она присутствовала в финской литературе во все времена, наряду с "подтруниванием", иронией над самими собой: "Вот, нам, финнам, хорошо в одиночестве

1. Русский перевод вышел в 2004 году в издательстве "Азбука-классика".

и тишине, мы настолько простые и честные, что можем даже показаться глупыми...” Складывается впечатление, что все написанное как бы обращено на себя, направлено на внутренний мир. Финские писатели любят размышлять. Поэтому так важны описания ближайшего окружения, отношений между мужчиной и женщиной и тому подобное. Часто затрагиваются темы, важные для всей нации, — воспоминания об исторических событиях, жизнеописания национальных героев.

М. С. Многие современные писатели жалуются на творческий кризис, на ощущение собственной ненужности, на невостребованность писательской профессии и отсутствие прежнего интереса к литературе. Вы разделяете эти настроения?

Я. П. Прежде всего на нехватку денег — вот на что жалуются финские писатели. Книжный рынок настолько узок, что на продажах книг могут зарабатывать на жизнь лишь избранные авторы. Все остальные сидят на грантах, зависят от них, да и выделяемых государственных денег на всех не хватает.

Общество ориентируется на одни и те же фигуры. Многие достигли славы вообще не за счет творчества, а какими-то другими путями. Кажется, пресса совершенно не интересуется ни качественной литературой, ни новыми идеями, а озабочена только тем, как дать обществу то, что оно хочет слышать и видеть. А хотят всегда одного и то же, только сказанного по-новому.

В Финляндии литературным процессом заправляют всего три с половиной издательства, в которых решения о заключении контрактов с авторами принимают несколько человек, все зависит от их личных пристрастий. Писательская братия зависит от этих нескольких человек, что создает большие проблемы. Поэтому писатели вынуждены привлекать общественное внимание иными способами.

Роман Шатц
Из Финляндии с любовью

Главы из книги

Перевод с английского Алины Михайловской

Мой дом – мой koti[1]

Мне повезло, я живу в уютной старой квартире в центре Хельсинки. Квартира съемная, и арендная плата огромна, но мне нравится место, и я понимаю, что денег на покупку этой квартиры у меня никогда не будет. Когда мои финские друзья узнали, что я снимаю жилье, они начали мне сочувствовать. Аренда означает, что ты неудачник, ты беден и, наконец, глуп: "Как! Ты снимаешь жилье?! Но это безумие! Хозяин квартиры становится все богаче и богаче, а у тебя никакой выгоды! Почему ты не купишь квартиру?"

Ну да, а еще богаче становятся молочные компании – всякий раз, когда я покупаю пакет молока. Значит ли это, что я идиот, раз не завожу собственную корову?

Собственный дом, по мнению финнов, – важнейший показатель статуса человека в обществе. Финны готовы десятилетиями есть черствый хлеб и дешевые консервы из тунца, лишь бы выплатить закладные по ипотеке. Они готовы забыть о ресторанах, отдыхе за границей, увлечениях и вообще обо всем, на что приходится тратить деньги, пока не сбудется их мечта, то есть пока они не обзаведутся собственным жильем, даже если это будет клетушка в двадцать квадратных метров.

Когда вы входите в финский дом, не забудьте снять обувь и начинайте восхищаться. Не надо докучать хозяевам комплиментами в адрес их очаровательных детишек, хорошей работы или крутой машины. Единственное, перед чем они не смогут устоять, – похвала их дому.

Свой собственный дом – это лучшее, что можно иметь! Мой приятель несколько лет назад купил красивый старый дом, с сауной, большим садом и длинной подъездной дорожкой среди берез. Он был счастливейшим человеком на земле. Тратил все свое свободное время на этот дом, ремонтировал, чинил, красил стены, украшал его, возился в саду.

© Roman Schatz, 2006
© Алина Михайловская. Перевод, 2009

1. Koti – дом (*фин.*). (*Прим. перев.*)

В первую зиму он понял, что длинная подъездная дорожка имеет один большой недостаток: когда шел снег, ему приходилось вставать в пять утра и разгребать дорожку, чтобы успеть на работу вовремя.

На вторую зиму отопительные трубы замерзли и лопнули. Несколько недель мой друг провел без тепла и горячей воды. Рождественские каникулы и все его сбережения были потрачены на починку труб, а его жене пришлось отправиться в отпуск на Карибы без него.

На третью зиму жена начала жаловаться: "Мы нигде не бываем вместе, ты все время занят". Она подала на развод и захотела в качестве компенсации половину стоимости дома. Наличными.

Многие финны считают, что собственный дом — хорошее вложение денег на будущее и хорошее наследство детям. Однако мы знаем, каковы налоги в этой стране. Когда вы сыграете в ящик, вашим детям, скорее всего, придется продать жилье, чтобы оплатить налог на наследство.

Североамериканские индейцы, мудрость которых хорошо известна, всегда удивлялись отношению белого человека к покупке и продаже земельных участков и недвижимости. Как может человек, живущий менее ста лет, владеть чем-либо, что просуществует гораздо дольше его?

Не будем забывать: никто ничем не владеет, даже собственным телом. Все мы лишь временные постояльцы на этой планете.

Переварить трудно, но для здоровья полезно

В России есть Сибирь. В США есть Аляска. В Европе есть Финляндия.

Поначалу Финляндия покажется вам милой, дорогой маленькой страной. Нормальной страной. Ну, разве что краски и свет несколько необычны. Во всяком случае в летний период. Зимой, по правде говоря, никакого света здесь нет вообще.

Но есть и еще одно отличие. Вам понадобится время, чтобы его заметить: это люди.

Они не смотрят вам в глаза. Никогда не здороваются с незнакомцами. Ненавидят разговоры. Не перебивают вас, как будто и не слушают вас вовсе. В ответ на ваш комплимент по поводу их одежды они расскажут, как дешево купили эти тряпки. Улыбнитесь прохожему, и вас сочтут религиозным фанатиком, или наркоманом, или геем, или уличным торговцем, собирающимся впарить им какой-нибудь восточный ковер, а, скорее всего, и тем, и другим, и третьим одновременно.

Вы мне не верите? Ну, попробуйте зайти в какой-нибудь универсальный магазин и покатайтесь на лифте. Улыбайтесь, болтайте, заглядывайте людям в глаза. У них непременно усилится сердцебиение и появится испарина.

Финны могут пригласить вас в загородный дом, якобы в сауну. На самом деле это значит — раздеться догола и напиться с ними и их друзьями.

Порой трудно определить, нравитесь вы им или они вас ненавидят.

Секрет прост: финское понятие о вежливости не такое, как в других странах. Во всем мире считается вежливым общаться. В Финляндии считается вежливым оставить человека в покое.

Ну зачем кого-то беспокоить шутками утром в понедельник?? Людям и так тяжело.

Зачем спрашивать друга, как там его дети? Если с ними что-то не так, он сам расскажет, на то он и друг.

Зачем в пустом трамвае подсаживаться и заводить беседу, неужели человек не может ехать по делам в тишине и спокойствии???

К чему неожиданные визиты? Вы хотели кого-то обрадовать своим звонком в дверь? Лучше бы вы за три дня позвонили по телефону и договорились о предстоящей встрече.

Учтите, если вы приехали из страны с населением в сто миллионов, то, скорее всего, говорите в десять раз больше, чем финны. И вы привыкли стоять ближе к людям. Не надо. Отойдите на 70 сантиметров, и они будут чувствовать себя свободнее.

Как много мудрости в финской пословице: "Жизнь так изменчива, что лучше начать с десерта".

Они терпят невзгоды, живут в ужасном климате, в окружении врагов. Их язык неспособно выучить ни одно живое существо, кроме них самих. И все-таки они любят свою страну! Особенно они любят ее ненавидеть. Но будьте осторожны, если вас спросят: "Не правда ли, здесь ужасно?" — не отвечайте: "Да!"

Все должны думать, что вы влюблены в Финляндию.

И возможно, что так оно и произойдет. Со мной так и было.

Знаете, финны, они... они... ну, скажем, они не такие, как все. Они здравомыслящие (если вы понимаете, что я имею в виду). Вроде их черного хлеба с дыркой посередине: переварить трудно, но для здоровья полезно.

А еще они бесконечно благодарны, когда кто-нибудь о них рассказывает. Вот давайте этим и займемся...

Ночь с ноября по февраль

Зима — то время года, когда мы, иностранцы, начинаем подозревать, что переезд в Финляндию все-таки был ошибкой. Мы мечтаем вернуться домой: в Турцию, Индию, Австралию, на Ямайку и даже в Германию. Мы жалеем финнов: им-то деваться некуда. Куда им возвращаться? В Оулу, Рованиеми, Ивало?!

Однако жалеть их не надо. И не стоит мечтать о глобальном потеплении здесь, по соседству с полярным кругом. Непосвященному финская зима может казаться бедствием, на самом же деле это благословение божье, которое позволяет этому обществу существовать. Неофициальная статистика доказывает, что половина валового национального продукта Финляндии создается, так или иначе, благодаря зиме. Вот примеры.

Финская фармацевтическая промышленность обанкротилась бы, если бы не синдром "арктической депрессии" и не необходимость производить маленькие розовые пилюли, которые население поглощает с

великим энтузиазмом. Не будь зимы, половина финских специалистов в области психиатрии работала бы водителями такси, потому что у людей стало бы намного меньше причин кончать жизнь самоубийством.

Снег дает работу сотням тысяч финских дворников. Да и снегоуборочная техника нужна, а значит, тяжелая промышленность важнее, чем все финские вооруженные силы со всеми их танками.

Энергетики любят финскую зиму: в то время как весь мир отказывается от использования ядерной энергии, здесь можно спокойно строить новую АЭС. Здесь можно назначать любые цены: если люди хотят выжить, им придется заплатить за свет и тепло в квартирах.

В Финляндии легко избавиться от клещей, блох и бездомных алкоголиков, доставляющих немало забот департаменту социального обеспечения: достаточно оставить их на улице посреди льда и снега.

Очевидно, что национальная экономика не смогла бы существовать, не будь зимы. Но, помимо экономической выгоды, зима также предоставляет массу развлечений, которых лишены люди в более теплом климате. Например, совместное ожидание в очереди перед рестораном в тридцатиградусный мороз сплачивает людей и повышает потребление алкоголя до астрономического уровня.

Отдельная забава — забирать зимой ребенка из детского сада. Почти все сорванцы одеты в одинаковые комбинезоны, и не исключено — дома вы обнаружите, что забрали из садика совершенно чужого отпрыска.

Несомненно, наибольшее развлечение зимой — это отыскивать свою машину, похороненную под снегом. Для начала вам придется найти какую-нибудь лопату, потом вы начнете с остервенением копать. И когда вы уже почти закончите, появится снегоочистительная машина и навалит сугроб в метр высотой между вами и дорогой.

Финская зима — удивительная и мощная сила. Она безжалостно задает ритм всей тутошней жизни и определяет человеческое существование вплоть до мельчайших деталей. Даже допросы в полиции здесь не такие, как в остальном мире, ибо начинаются фразой: "Где вы были в ночь с ноября по февраль?"

Большой брат

Большинство людей имеют вредные привычки, склонны рисковать в погоне за счастьем и вообще зачастую ведут неправильный образ жизни. Человек, если его предоставить самому себе, существо абсолютно безответственное — он не знает, что для него полезно, а что нет. Вот почему правительство Финляндии, министерство здравоохранения и общественная мораль стараются управлять жизнью граждан.

Если вы решили стать лучше, отринуть все вредное, опасное и аморальное, вы приехали в нужное место — Финляндия позаботится о вас, как любящая мать.

Зайдите в финский супермаркет и попытайтесь купить молочные продукты, содержащие жир. Вы не найдете ни одного: все обезжиренное, без сахара, политически корректное, хорошо сбалансированное, антиаллергенное и обогащенное полезными бактериями.

Их жевательная резинка содержит ксилит и используется в медицинских целях, а не для удовольствия. В Финляндии есть напиток под названием "Веселье", который не содержит ничего, кроме красителей, ароматизаторов и воды. Вот каков их дух! Даже арктическому лютеранину позволено немного повеселиться.

Загадочный народ эти финны. Они воевали против русских (и готовы повоевать еще раз, если потребуется), но ужасно боятся холестерина.

Велосипедисты обязаны носить шлем. Фары машины при езде должны быть всегда включены. Импортируя машины, финны переделывают их таким образом, что выключить фары при работающем моторе невозможно. Финны строят замечательные дороги, шириной со взлетную полосу аэродрома, и при этом ездят по ним с ограничением скорости до 50 км/ч.

По закону об общественном порядке любое "неподобающее поведение на публике" приравнивается к преступлению. Распевание песен по дороге домой из ближайшего кабачка, ссора с женой на парковке, распитие пива в парке, ношение баллончика с краской (или еще чего-нибудь, чем можно провести цветную линию на серой бетонной стене) — все это противозаконно. Будь это не так, мы бы жили в полнейшей анархии!

Достижения Финляндии во всем, что касается здоровья, безопасности и общественного порядка непревзойденны! Но есть еще простор для фантазии... Как насчет шлемов для пешеходов? Почему бы не ввести воздушные подушки для кресел-качалок? Почему бы не носить на одежде отражатели всегда, даже днем? И почему в конце концов разрешают заниматься сексом по телефону без презервативов?!

Многое еще можно сделать. Я бы предложил ежедневно тестировать граждан на наличие в крови следов наркотиков, никотина и неподобающих мыслей. Регулярное посещение гимнастического зала нужно сделать обязательным требованием при устройстве на работу. Также хорошо бы ввести комендантский час. Мы станем меньше мусорить, шуметь и нарушать всеобщую гармонию, которая всем нам чертовски необходима!

Финны знают, что делают. У них есть специальный термин "holhousyhteiskunta", означающий "общество, в котором государство принимает решения за нас". Государство хочет, чтобы мы были в безопасности, вели себя подобающим образом и умирали абсолютно здоровыми!

Однажды вы их поймете

Полагаю, прожив почти двадцать лет в Финляндии, я могу считаться ветераном. Люди спрашивают у меня совета, как здесь выжить. Чему же я научился за долгие годы моей ссылки? Какой совет могу я дать? Как можно уменьшить противоречия между нашей культурой и культурой этой, любезно принимающей нас, страны? Как сократить разрыв, сгладить углы между нами и местным населением? Для всех, кто любит ответы по пунктам, предлагаю десять советов, о которых не следует забывать.

1. Научитесь есть мороженое зимой. Научитесь говорить на вдохе. Когда перечисляете что-то по пальцам, начинайте с мизинца.

2. Будьте уверены в себе, но никогда не хвастайтесь. Финны терпеть не могут развязности. Эти ребята недоверчивы, и, если вы станете слишком вольно себя вести, они возненавидят вас лютой ненавистью.

3. Имитируйте огромный интерес к спорту. Запомните пару-тройку имен (лучше всего хоккеистов и легкоатлетов). Это поможет вам в общении с финскими мужчинами.

4. Никогда не гордитесь чем-либо публично. Преуменьшайте все. Скрывайте размер своих доходов, не говорите о цене собственности. Убедитесь, что вашим финским друзьям не из-за чего вам завидовать. Если ваши дела идут хорошо, намекните на смертельное заболевание, банкротство или серьезные проблемы в личной жизни.

5. Попробуйте развить в себе любовь к природе. Вам все равно придется проводить немало времени за городом, так почему бы ее не полюбить?

6. Никогда не говорите ничего плохого об их стране. Несмотря на пол, возраст, образование, политические и религиозные взгляды, в глубине души любой финн ярый националист.

7. Вообще не говорите про деньги. Даже не думайте о них.

8. Не будьте циничны. Не смейтесь, когда вам рассказывают, что финские помидоры выращиваются без использования химических удобрений, что в правительстве нет коррумпированных чиновников и что жены финнов верны им.

9. Никогда не недооценивайте финнов. Они могут казаться, но лишь казаться, робкими и рассеянными, однако на самом деле они практичны, жестки и готовы на все, чтобы выжить.

10. Дайте им все, что они захотят. Пейте с ними, ходите в их сауны, прыгайте в их озера, ешьте их еду, учите их язык, спите с ними.

Однажды вы их поймете.

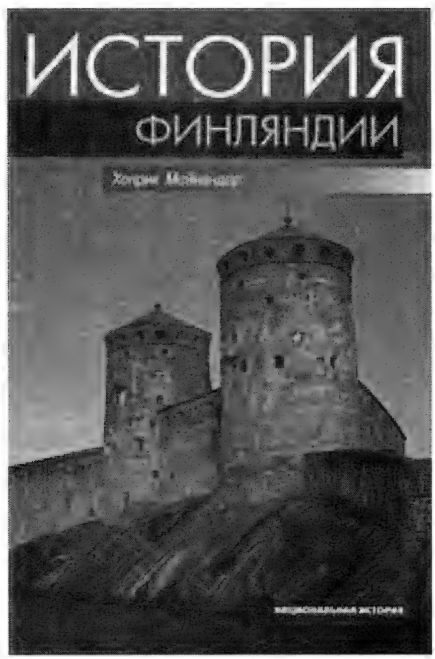
Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Хотя СССР вот уже почти двадцать лет как распался, но пространство над сценой московского Концертного зала имени Чайковского и по сей день украшает барельеф с изображением Государственного герба бывшей социалистической империи. В Советский Союз, как известно, входило 15 союзных республик — соответственно, и в венок, украшающий герб, было вплетено 15 ленточек. Однако, если хорошо вглядеться именно в этот барельеф над сценой, то ленточек мы насчитаем не 15, а 16. Дело в том, что к моменту открытия зала, в 1940 году, республик стало именно 16: автономная (в составе РСФСР) Карельская республика была повышена в статусе до союзной; кроме того, ее переименовали в Карело-Финскую. Если вспомнить, что речь идет о первом годе Второй мировой войны, то этот шаг властей вполне понятен: по пакту Молотова–Риббентропа Советский Союз получил санкцию на расширение своих западных границ; соответственно, в сентябре 1939-го Германия и СССР поделили между собой Польшу, а в декабре Сталин начал войну с Финляндией. И Карело-Финской Карельская республика стала именно потому, что должна была включить в себя Финляндию — если не целиком, то по меньшей мере стратегически важные части ее территории. Впрочем, сталинские планы вскоре забуксовали: если польская кампания была завершена быстро, то бои в зимней Финляндии затянулись надолго и закончились далеко не так, как было задумано. Финляндии (в отличие от Польши) удалось сохранить свою независимость, а Карело-Финская республика "финской" осталась лишь номинально (хотя название и статус союзной оставались за ней — скорее по инерции — вплоть до 1956 года).

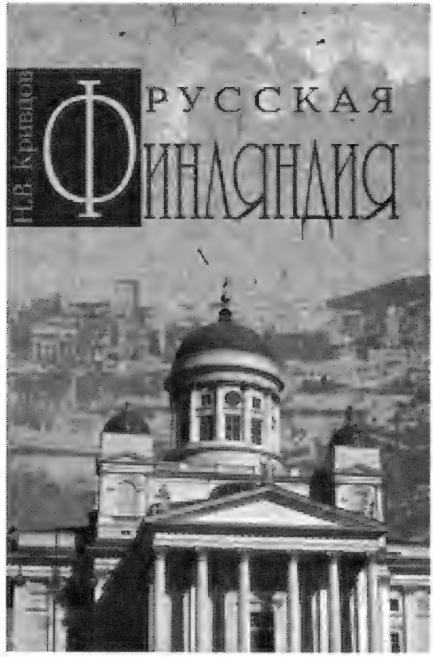
Сталинская стратегия расширения границ страны за счет Финляндии и Польши имеет свое объяснение в историческом контексте: здесь реализовалось стремление к восстановлению прежних границ Российской империи, в состав которой эти страны до революции входили на правах автономий. И если о сложной и конфликтной истории польско-российских отношений многое сказано и написано, то об отношениях России и Финляндии известно гораздо меньше. Тем ценнее выход русского перевода книги профессо-



ра Хельсинкского университета **Хенрика Мейнандера** *История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты* / Перев. со шведского **Зинаиды Линден**. – М.: Весь Мир, 2008. – 248 с. (Национальная история).

В своем фундаментальном труде Мейнандер прослеживает историю страны (а точнее, ее территории) еще с доцивилизационных времен, когда (около 24 тысяч лет назад) наступил период глобального потепления и начали таять гигантские ледники, оставляя после себя десятки тысяч озер, сформировавших характерный рельеф региона. Из-за сурового климата массовое заселение этих мест началось значительно позже, чем в Южной Европе: первый крупный этап распространения культуры Мейнандер относит к середине VIII века. В течение двух следующих столетий берега Финского залива использовались шведскими викингами как "перевалочные пункты" при походах на славянские – новгородские и киевские – земли. Впоследствии, после возникновения шведского государства, финские территории вошли в его состав, причем сам топоним "Финляндия" был впервые официально упомянут только в 1419 году.

Формировавшиеся веками геополитические "расклады" обусловили положение Финляндии как территории "промежуточной" между двумя структурами имперского типа. Вплоть до начала XIX века Финляндия оставалась "под Швецией", в 1809-м была присоединена к России и оставалась в ее составе вплоть до прихода к власти большевиков в 1917 году. Нетрудно усмотреть здесь исторические параллели с судьбами других государств, получивших независимость в конце Первой мировой войны: Польши, пережившей несколько разделов между тремя соседними державами, и более близких соседей Финляндии, прибалтийских стран, до обретения независимости – западных окраин Российской империи. Однако случай Финляндии оказывается особым: если практически во всех бывших "национальных окраинах" отношение к России остается (что исторически объяснимо) безусловно негативным, то у финнов дело обстоит несколько иначе.



Действительно, невозможно представить, чтобы в современной Польше или Эстонии стоял памятник российскому императору – а вот памятник Александру II до сих пор украшает Сенатскую площадь финской столицы. Трудно сказать, является ли причиной такого отношения некая специфическая толерантность, присущая финскому национальному характеру, либо здесь вступают в силу иные факторы. Тем же, кто хочет более основательно разобраться в этом вопросе, можно порекомендовать книгу **Н. В. Кривцова** *Русская Финляндия*. – М.: Вече, 2009. – 288 с. (Русские за границей).

Безусловно, многое можно объяснить тесными культурными связями России и Финляндии – в частности, тем, что до революции 1917 года Финляндия привлекала (как место отдыха) петербургскую интеллигенцию и многие творческие деятели – Репин и Рерих, Брюсов и Анненский, Леонид Андреев и Владимир Соловьев – оставили здесь тот или иной след. Однако ведь уже в недавнем прошлом Россия сражалась с

Финляндией в упомянутой выше тяжелой и кровопролитной "Зимней" (как ее называют финны) войне 1939–1940 годов. Используемые в книге Кривцова исторические реминисценции позволяют предположить, что в Финляндии отделяют политику России от политики СССР и негативно относятся лишь к последней. Но и здесь налицо парадокс: ведь именно большевики предоставили Финляндии независимость, которой при царской России страна была лишена.

Особый интерес в контексте данных размышлений представляет фигура Карла Густава Маннергейма. В книге Кривцова ему посвящена отдельная глава: *Русский генерал – президент Финляндии.* Биография его действительно уникальна. Почти тридцать лет он прослужил в российской армии: участвовал в русско-японской войне (на которую ушел в 1904 году добровольцем), с 1909 года командовал полком в Польше (где встретил Первую мировую, сражаясь с австро-венгерскими войсками, а впоследствии получил орден Святого Георгия и чин генерал-лейтенанта), – но сразу после обретения Финляндией независимости уехал на родину и стал воевать уже против Советской России (при этом договориться о сотрудничестве с белым движением не получилось, поскольку Колчак и другие генералы настаивали на восстановлении единой и неделимой России в прежних границах, то есть фактически выступали против независимости Финляндии). В тридцатые годы маршал Финляндии Маннергейм в качестве председателя Совета обороны *руководил строительством мощной фортификационной линии на Карельском перешейке, которая вошла в военную историю под названием "линии Маннергейма"*; а в 1939-м, перед самым началом Зимней войны, он стал Верховным главнокомандующим. В июне 1941 года, после нападения Гитлера на СССР, Финляндия вступила в войну на стороне Германии, и к осени финны овладели Выборгом.

Кривцов пишет, что Маннергейм хотел участвовать и во взятии Ленинграда (*считая это важным делом в освобождении России от большевизма*); однако *ввиду упорного сопротивления советских войск он предпочитал, чтобы основную тяжесть в операции по захвату Ленинграда взяли на себя гитлеровцы. Финляндские войска участвовали в блокаде Ленинграда, но по городу не стреляли* (и именно поэтому правая сторона Невского проспекта, которую должны были обстреливать финны, оказалась при артобстреле "менее опасна", чем левая, которую обстреливали немцы и на которой со времен блокады сохранилась знаменитая надпись). Тем не менее военные заслуги Маннергейма были отмечены Гитлером, который в июне 1942 года сам приехал поздравить маршала с семидесятипятилетием. *Маннергейм принимал фюрера в своем штабном вагоне – в подарок он получил портрет Гитлера с автографом и немецкий крест.*

Впрочем, через два года, уже после очевидного перелома в ходе войны, Финляндия стала искать возможность заключения сепаратного мира с СССР. И вывести страну из войны, по общему мнению, мог только Маннергейм. В августе 1944 года парламент специальным законом утвердил его президентом Финляндии. *Сталин не раз говорил, что только огромная (во всех отношениях) фигура 77-летнего маршала Маннергейма <...> спасла его родину от оккупации. Однако бывший кавалергард продолжал держать ухо востро: главные статьи мирного договора с Советским Союзом он написал по-русски самостоятельно.*

"Огромная" фигура Маннергейма действительно выламывается из тех привычных систем координат, в которые обычно пытаются поместить публичных исторических деятелей ("свой – чужой", "друг – враг", "прогрессивный – реакционный"). Например, генерал Власов в нашем общественном сознании воспринимается как безусловный "предатель"; однако что в этой связи сказать о Маннергейме, многие шаги которого можно оценить как "предательские", но при этом его жизненный путь, взятый в целом, воспринимается как путь личности, хранившей

верность неким глубинным идеалам? *Маннергейм всегда отличал Россию и СССР, даже в письмах подчеркивал, что не воюет против русских, а именно против красного СССР, а Финляндия воюет за свою независимость. Он считал, что принес присягу царю и России и присяга все еще была в силе.*

Говоря о спасении Маннергеймом Финляндии от оккупации, Сталин имел в виду, конечно же, оккупацию немецкую. Однако не менее (а возможно, и более) важным является то, что страна смогла избежать оккупации советской. Мейнандер пишет, что *советская оккупация была бы слишком рискованной и дорогостоящей. В те времена Кремль направлял свою энергию на превращение восточной части Центральной Европы в постоянную буферную зону на границе с западными державами.* И именно отказ от оккупации стал, похоже, главной причиной того, что в Финляндии (в отличие от Прибалтики и Польши) сохранилось позитивное отношение к России (что же касается Советского Союза, то с ним как с государством у Финляндии сложились отношения, традиционно именовавшиеся "добрососедскими").

Благодаря невключению в зону советского влияния послевоенная Финляндия также не стала и жертвой экспериментов по радикальному "социалистическому" преобразованию экономики, а выбрала путь развития, более ориентированный на шведскую модель "государства всеобщего благосостояния". И к XXI веку, несмотря на все сложности (так, в начале 90-х годов страна пережила сильнейший экономический спад, сопровождавшийся банковским кризисом и ростом безработицы почти до 20 %), Финляндия стала занимать по показателям социально-экономического развития одно из ведущих мест в мире. Подробный анализ этого феномена можно найти в книге *Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран* (под ред. **Карла Дж. Дальмана**, **Йормы Роутти**, **Пекки Юля-Анттила**; перевод с английского **Н. Заборина**, **И. Шахмуратовой**; Всемирный банк. – М.: Весь Мир, 2009. – 170 с.).

Экономика знаний, в отличие от экономики "сырьевой", основана не на эксплуатации дешевых природных ресурсов, а на развитии информационно-коммуникационных технологий. Характерен подробно разбираемый в книге пример известной фирмы "Нокиа", которая до 1967 года была предприятием по измельчению древесины, затем объединилась с кабельным и резиновым заводами, в 80-е годы приобрела несколько фирм в сфере потребительской электроники, а в начале 90-х, столкнувшись с кризисом, сосредоточила свои усилия на сфере мобильной связи. Постепенно "Нокиа" превратилась в крупнейший мировой концерн, доля которого на глобальном рынке мобильных услуг к 2004 году составляла около 30 %. Что ж, *другим странам* действительно было бы полезно проанализировать подобные *элементы успеха* и извлечь из этого свои *уроки*.

Финская литература на страницах "ИЛ"

1960

Ларни Мартти — *Госпожа советница.* Роман-памфлет. Перевод с финского В. Богачева [8—9]

1963

Ларни Мартти — *Три финских писателя младшего поколения.* Статья [9]

1964

Линна Вяйнё — *Два писателя* (Эва-Лийса Маннер и Вейо Мери) [8]

1966

Лайтинен Кай — *Год интересный, хотя и не богатый.* (Письмо из Финляндии) [8]

1967

Ларни Мартти — *Сократ в Хельсинки.* (Почти рождественский рассказ.) Перевод с финского В. Богачева [12]

1968

Ларни Мартти — *Раздумья о реализме* [1]

1974

Маннеркорпи Юха — *Мартышка.* Рассказ. Перевод с финского В. Смирнова [2]

Мери Вейо — *Серебряное крыло.* Рассказ. Перевод с финского В. Смирнова [2]

Олли — *Гипсолизоб. В аптеке. Почему не идет рождественский дед?* Рассказы. Перевод с финского Б. Рейхмана [2]

1977

Хаанпяя Пентти — *Рассказы.* Перевод с финского и предисловие Ю. Александрова [4]

1978

Ларни Мартти — *Рассказы.* Перевод с финского Ю. Александрова [7]

1979

Чильман Кристер — *Милейший принц.* Роман. Перевод со шведского Л. Горлиной. Послесловие Е. Долматовского [9—10]

1981

Оксанен Ауликки — *Стихи о Кампучии.* Перевод с финского и вступление Н. Добронравова [8]

1983

Баргум Юхан — *Темная комната.* Роман. Перевод со шведского И. Новицкой [3]

Оянен Симо — *На небо с гарантией.* Забавная сатира в эпизодах и сценах. Перевод с финского Ю. Воронина [10]

1985

Сааритса Пентти — *Стихи разных лет.* Перевод с финского Павла Грушко [2]

1987

Рассказы финских писателей. Керсти Бергрот. Мартти Ларни. Ориго. Серп. Перевод с финского Таиры Джафаровой [3]

1988

Вихавайнен Тимо — *Что читает Финляндия.* Перевод с финского О. Басинской [11]

1990

Хуовинен Вейкко — *Рассказы.* Перевод с финского Ю. Воронина [7]

1991

Баргум Юхан — *Новеллы.* Перевод со шведского Ирины Новицкой [8]

1992

Лейно Эйно — *Синий крест.* Стихи. Перевод с финского Владислава Ходасевича [3]

2003

Сеппяля Юха — *На черном острове.* Рассказ. Перевод с финского Ольги Андриановой [7]

Штефан Мостер
Stefan Moster
[р. 1964]. Немецкий переводчик, писатель и литературовед. Живет в Финляндии.

Перевел на немецкий язык произведения Ханну Райттилы, Кари Хотакайнена, Петри Тамминена, Миркки Реколы и других финских писателей. Автор романа *Невозможность игры в четыре руки* [*Die Unmoglichkeit des vierhändigen Spiels*, 2009].
Статья *Финская литература сегодня* написана специально для *ИЛ*.

Элина Хирвонен
Elina Hirvonen
Писатель, журналист, режиссер-документалист.

Дебютный роман *Если бы он не забыл* публикуется по изданию *Että hän muistaisi saman* [Avain, 2005].

Кари Хотакайнен
Kari Hotakainen
[р. 1957]. Прозаик, поэт, драматург, сценарист, публицист. Лауреат премии *Финляндия* [2002], литературной премии Совета Северных стран [2004], премии Союза театральных деятелей Северных стран [2006].

Автор романов *Улица Окопная* [*Juoksuhaudantie*, 2002; рус. перев. 2004], *Исаакиевский собор* [*Iisakin kirkko*, 2004], *Человеческая доля* [*Ihmisen osa*, 2009] и др., нескольких сборников стихов, сборников эссе, книг для детей.
Премьера спектакля *Красная волчанка* состоялась в сентябре 2005 года в театре *КОМ* [Хельсинки].
Пьеса печатается по изданию *Punahukka* [WSOY, 2005].

Ханну Райттила
Hannu Raittila
[р. 1956]. Прозаик, критик, сценарист. Лауреат премии имени Калеви Янтти [1994], премии фонда *Ольви* [1998], премии *Финляндия* [2001] и др.

Автор романов *У меня всего хватает* [*Ei minulta mitään puutu*, 1998], *Canal Grande* [2001], *Атлантис* [*Atlantis*, 2003], пьес *Ленинградская ночь* [*Leningradin yö*, 1991], *Президентский вагон* [*Presidentinvaunu*, 1990], нескольких сборников рассказов.
Публикуемая повесть взята из сборника *Аэростат "Финляндия"* [*Ilmalaiva Finlandia*. WSOY, 1994].

Ээва Тикка
Eeva Tikka
Поэт, прозаик. Прежде чем целиком посвятить себя литературе, преподавала биологию и географию.

Автор романов *Лапландский волк* [*Tunturisusi*, 1975], *Красный бык* [*Punainen härkä*, 1977], *Всадник, скачущий к солнцу* [*Aurinkoratsastus*, 1986], *Возвращение мальчика* [*Pojan paluu*, 1993], *Немая птица* [*Mykkä lintu*, 2004] и др., нескольких сборников стихов.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Тихая страсть* [*Hidas intohimo*. Gummerus, 2007].

Юрки Вайнонен
Jyrki Vainonen
[р. 1963]. Писатель, переводчик, преподаватель литературного мастерства. Лауреат премии *Переводческий медведь* за лучший поэтический перевод 1995 года [1996].

Автор сборников рассказов *Костяной сад* [*Luutarha*, 2001], *Сквозь стекло* [*Lasin läpi*, 2007] и др., а также романов *Немой бог* [*Mykkä jumala*, 2003] и *Наследство* [*Perintö*, 2005].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Путешественник-исследователь и другие истории* [*Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita*. Loki-Kirjat, 1999].

Петри Тамминен
Petri Tamminen
[р. 1966]. Писатель, журналист.

Автор сборников мини-новелл *Жизни* [*Elämiä*, 1994], *Тоскующий мужчина* [*Miehen ikävä*, 1997], романов *Не та позиция* [*Väärä asenne*, 2000], *Дядюшкины уроки* [*Enon opetukset*, 2006], *Что такое счастье* [*Mitä onni on*, 2008].

На русском языке произведения Тамминена публиковались ранее в переводах Льва Рубинштейна в русско-финской антологии *Семь братьев* [1996].
Текст публикуется по изданию *Piiloutujan taa* [Helsinki: Otava, 2002].

Сюзанна Рингель
Susanne Ringell
Финско-шведская писательница, драматург, театральная актриса. Лауреат премии *При Европа* [2004].

Автор ряда сборников малой прозы, в том числе *Восемь тел* [*Atta kroppar*, 1998], *От смущенья Адель потолстела* [*Av blygsel blev Adele fet*, 2000], нескольких сборников стихов, пьес *Эдельвейс* [*Edelweiss*, 1989], *Весталка* [*Vestalen*, 1994], *После полудня* [*Eftermiddag*, 2002], *А еще о нищих и бродягах* [*Och om bettlare och vagman*, 2003], *Дуэт со смертью* [*Simma nack*, 2009, рус. перев. 2009] и др.
Текст публикуется по изданию *Отличная "гавана"* [*En god Havanna – besläktat.* Helsingfors: Söderströms, 2006].

Сергей Завьялов
[р. 1958]. Поэт. Филолог-классик. С 2004 года живет в Хельсинки. Член ПЕН-центров Финляндии и России.

Автор поэтических книг *Оды и эподы* [1994], *Мелика* [1998], *Мелика. Книги I–II* [2003], статей о русской, греческой, финно-угорской культуре XX века. В его переводе вышла книга литовского поэта Эугениюса Алишанки *Божья кость* [2002], оды Горация [альманах *Древний мир и мы*, 1997, 2003]. В *ИЛ* опубликована его статья *Сожжение всех слов от A до Z* и перевод стихов французского поэта И. Миньо [2007, № 8].

Юрки Киискинен
Jyrki Kiiskinen
[р. 1963]. Поэт, переводчик шведскоязычной и англоязычной поэзии. Главный редактор [1991–1994] журнала *Юная сила* [*Nuori voima*] – знамени поколения 1990-х, в 1996–2000 – главный редактор журнала *Книги из Финляндии* [*Books from Finland*]. Лауреат премии Эйно Лейно [1993] и премии Радио и телевидения *Танцующий медведь* [2000].

Автор составивших эпоху в современной поэзии поэтических книг *Карта глаза* [*Silmän* kartta, 1992], *Пока живу* [*Kun elän*, 1999] и *Туда и обратно* [*Menopaluu*, 2006], романов *Болотный человек* [*Suomies*, 1994], *Полярная ночь* [*Kaamos*, 1997], *Если я любви не имею* [*Jos minulla ei olisi rakkautta*, 2003], книг для детей и др.
Стихи взяты из сборника *Туда и обратно* [*Menopaluu*. Тамми, 2006].

Йоуни Инкала
Jouni Inkala
[р. 1966]. Поэт, эссеист, переводчик.

Автор поэтических сборников *Где проходит край* [*Tässä sen reuna*, 1992], *Среди святых* [*Pyhien seura*, 1996], *Тому, кто останется* [*Sille joka jää*, 1998], *Ненаписанное* [*Kirjoittamaton*, 2002] и др
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Что людям знать необходимо* [*Minkä tietäminen on ihmiselle välttämätöntä*. WSOY, 2008].

Миркка Рекола
Mirkka Rekola
[р. 1931]. Поэт, эссеист.

Автор почти двух десятков книг стихов, в том числе *Огонь в воде* [*Vedessä palaa*, 1954], *Часы* [*Tunnit*, 1957], *Пусть день станет всем* [*Anna päivän olla kaikki*, 1968], *Последний год ветра* [*Tuulen viime vuosi*, 1974], *Место встречи – год* [*Kohtaamispaikka vuosi*, 1977], *Обнимая дерево* [*Puun syleilemällä*, 1983], *Читающий с тобой* [*Kuka lukee kanssasi*, 1990], *Небесная вахта* [*Taivas päivystää*, 1996], *Вода – память земли* [*Vesi on maailman muisti*, 2007].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Олли Хейкконен
Olli Heikkonen
[р. 1965]. Поэт.

Автор трех стихотворных сборников. Стихи Хейкконена публиковались в поэтических антологиях и журналах и переведены на многие иностранные языки. Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Хелена Синерво
Helena Sinervo
Поэт, пианистка. Лауреат премии *Финляндия* [за роман *В доме поэта*, 2004].

Одна из самых ярких звезд современной финской поэзии, ее стихи переведены на два десятка языков. Начинала свою творческую деятельность как профессиональная пианистка, но вскоре отдала предпочтение литературе. Начиная с 1994 года опубликовала восемь стихотворных сборников, много критических статей, эссе и четыре сборника стихотворных переводов.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Генри Парланд
Henry Parland
[1908–1930]. Финско-шведский поэт и прозаик.

Автор романа *Вдребезги* [*Sönder*, издан посмертно в 2005; рус. перев. 2007], а также стихотворений на шведском и русском языках, вошедших в прижизненный сборник *Идеалореализация* [*Idealrealisation*, 1929] и др.
Стихи публикуются по изданию *Гамлет это сказал лучше. Собрание стихотворений* [*Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter.* Helsingfors: Söderströms, 1964]

Леена Крун
Leena Krohn
Прозаик, поэт, эссеист. По образованию биолог. Лауреат премии *Финляндия* [1992].

Автор романов *Донья Кихот и остальные* [*Donna Quijote ja muita kaupunkilaisia*, 1983], *Умбра* [*Umbra*, 1990], *Математические существа или разделенные сны* [*Matemaattisia olioita tai jaettuja unia*, 1992], *Смерть, о которой вы мечтали* [*Unelmakuolema*, 2004], *Улей* [*Mehiläispaviljonki*, 2006] и др., многих сборников стихов и эссе, книг для детей. На русском языке напечатаны повести для детей *В одежде человека* и *Сфинкс или робот* [М.: Самокат, 2007].
Текст публикуется по изданию *Tainaron* [Teos, 1985].

Мерете Маццарелла
Merete Mazzarella
Финско-шведский писатель и публицист. Профессор Хельсинкского университета.

Постоянный колумнист ряда финских и шведских газет. Автор публицистических книг *Фредрика Шарлотта, урожденная Тенгстрём, жена национального поэта* [*Fredrika Charlotta f Tengström, en nationalskalds hustru*, 2007], *Когда мы играли в "Звезду Африки". Книга о внуках* [*När vi spelade Afrikas stjärna. En bok om barnbarn*, 2008] и др.
Текст публикуется по изданию *Линии между звездами* [*Linjer mellan stjärnor* Helsingfors: Söderströms, 2002].

Магдалена Сластушинская
Кандидат филологических наук, преподаватель,

Автор статей *Художественные особенности киноискусства Финляндии* [Ломоносов-2004, секция *Журналистика*, 2004], *Государственная поддержка аудиовизуальной продукции в Финляндии* [Вестник Московского университета, 2007, 4, серия *Журналистика*)], *Финское общество в фильмах Аки и Мики Каурисмяки* [*Медиаальманах*, 2007, 5], *Государственная поддержка финского кинопроизводства как инструмент усиления национальной идентичности* [IV Северные Чтения. *СМИ Северных стран в условиях глобализации*, 2008].
В *ИЛ* публикуется впервые

Кристина Роткирх
Kristina Rotkirch
Финско-шведский писатель, переводчик, литературный критик. Исследо-

Автор ряда литературоведческих статей о современных писателях. Перевела на шведский произведения Л. Улицкой, Б. Акунина, в настоящее время готовится к печати ее перевод книги Е. Гришковца *Реки*. Составитель антологии русской новеллы в шведских переводах *Погребение ангела* [*Att begrava en angel*, 2008], автор

ватель французской и русской литератур.

книги интервью с русскими писателями *Одиннадцать бесед о современной русской прозе* [шведское издание – 2008, русское издание – 2009].
Статья *Catastrophe and Survival in the World of Moomins* написана специально для *ИЛ*.

Роман Шатц
Roman Schatz
[р. 1960]. Немецкий телеведущий, актёр и писатель. Живет в Хельсинки.

Создатель популярного финского юмористического телешоу. Автор беллетризованной автобиографии *Полюби мну* [*Rakasta Minut*, 2006].
Текст публикуется по двуязычному изданию *Suomesta rakkaudella – From Finland with Love* [Helsinki: Johnny Kniga, 2005].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Чистяков Андрей Владимирович
[р. 1986]. Переводчик с немецкого, аспирант МГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Евгения Константиновна Тиновицкая
Переводчик со скандинавских, английского и польского языков.

В ее переводах опубликованы произведения Д. Джозеф, Д. Доджа, Д. Дрейкотт, Л. Крун, А. Линдгрен, М. Маялуомы, Т. Парвелы, К. Хелакисы. В *ИЛ* в ее записи и переводе опубликована беседа с А. Силлитоу и Р. Фэйнлайт [2006, № 5] и рассказ Т. Макинтайра *Иная тишина* [2007, № 6].

Анна Петровна Сидорова
Переводчик с финского. Докторант отделения славистики и балтистики Хельсинкского университета.

В ее переводе были опубликованы произведения П. Сайсио, А.-Л. Хяркенен, Л. Крун, Р. Ниемеля и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Александра Евгеньевна Беликова
Переводчик с финского. Докторант отделения иностранных языков и переводоведения университета Йоэнсуу [Финляндия].

В ее переводе опубликован перевод пьесы Л. Руохонен *Остров одиночества* [в соавторстве с А. Сидоровой].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Борис Сергеев
[р. 1967]. Переводчик с финского.

В его переводе публиковались пьеса Ю. Йокелы *Фундаменталисты* [2008], статьи *Финны — московские стипендиаты* К. Кетолы, *Священные узы бюрократии — высшее чиновничество Финляндии и России, 1809—1898 гг.* К. Каллейнен, *Из "рюсся" в "советикусы" — из "советикусов" в русские. Революция в представлении соседей* Т. Вихавайнена.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Любовь Тимонина
Поэт, переводчик. Лауреат поэтической премии *Кипарисовый ларец* [2007].

В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Борисовна Людковская
Переводчик со шведского.

В ее переводе выходили произведения Ч. Вестё, Й. Вирдборга, М. Грипе, П. Лагерквиста, Х. Манкелля, А. Стриндберга, А. Хальстрём, И. Эдельфельдт, а также пьесы С. Остен и Н. Родстрёма. В *ИЛ* была составителем и переводчиком номера, посвященного шведской литературе [2007, № 3].

Михаил Давидович Яснов
[р.1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Ваксмахера [2002], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002], премий *ИЛлюминатор* [2007] и *Мастер* [2008].

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско, А. Рембо, книги *Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10] и др.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

Элеонора Ильинична Иоффе
Музыкант, поэт, публицист, переводчик с финского. Окончила Ленинградскую консерваторию по классу виолончели. С 1983 года живет в Финляндии, преподает игру на виолончели.

Автор поэтического сборника, четырех книг переводов стихов и прозы, книги *Линии Маннергейма* [2005]. Статьи, стихи и переводы Э. Иоффе с финского публиковались в журналах и поэтических антологиях в России, Финляндии, США, Эстонии, Израиле и Франции.

Ольга Николаевна Мяэотс
Переводчик со шведского и английского языков, литературный критик, заведующий отделом детской литературы ВГБИЛ.

В ее переводе выходили произведения Д. Смит, А. Линдгрен, С. Лагерлеф, А. А. Милна, У. Старка, Н. Боден, Г. Парланда, И. Б. Зингера. Автор статей в журналах *Знамя*, *Дружба народов* и др.

Аркадий Станиславович Гриднев
[р. 1972]. Переводчик с английского.

В издательстве *Открытый мир* готовится к выходу книга стихов С. Нурдквиста *Где моя сестра?* в его переводе.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Алина Георгиевна Михайловская
Этнолог, кандидат исторических наук, переводчик с английского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

ЖУРНАЛ "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
НА МОСКОВСКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КНИЖНУЮ
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ,
КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ НА ВВЦ
со 2 по 7 сентября 2009 года.

На стенде "толстых журналов"
ЕЖЕДНЕВНО – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГИДЫ.
Ведущие сотрудники журнала и лучшие переводчики представляют самые интересные журнальные публикации, рассказывают о литературах разных стран, отвечают на вопросы.

На стенде и на уличном лотке – **РАСПРОДАЖА АРХИВНЫХ НОМЕРОВ** "Иностранной литературы" по специальным ценам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(место и время уточняется, следите за сообщениями в блоге http://obzor-inolit.livejournal.com):

– **презентация** готовящегося **индийского номера** "Иностранной литературы"; **(3 сентября, 12–15 часов,** стенд Индии – Почетного гостя ярмарки);

– **дискуссия** "'Толстые журналы' как феномен русской культуры – какое будущее их ждет?";

– **круглый стол** "Чтение как социокультурная категория" (презентация специального номера "ИЛ" "Как слово наше... продается");

– "Болгарская литература на страницах российских журналов" – **встреча с болгарскими писателями.**

ЖДЕМ ВАС!

Подписаться на журнал "Иностранная литература"
можно во всех отделениях связи —
подписной индекс 70394 (на полгода).

Льготная подписка — в редакции по адресу:
Москва, Пятницкая улица, 41.

Электронная подписка:
через ОАО Агентство "Роспечать" —
www.presscafe.ru
через компанию "Интер-почта" —
www.interpochta.ru
Тел. (495) 5000060 или 7880060.

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejoirnal.com

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
АБОНЕМЕНТ на журнал **«Иностранная литература»**

70394 (индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов

на 2010 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ПВ | место | литер

доставочная карточка

70394

на журнал (индекс издания)

«Иностранная литература»

Стоимость: по каталогу _____ руб. ____ коп.; доставку за _____ руб. ____ коп.

Кол. комплектов

на 2010 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

Журнал "Иностранная литература" выходит 10 числа каждого месяца.
Для регулярного получения нашего журнала вы можете оформить текущую подписку.
Оплату подписки необходимо произвести в любом отделении банка не менее чем за 10 дней до выхода подписного номера.
Подписка производится только на территории Российской Федерации.
Стоимость подписки включает почтовую доставку до почтового ящика.

Для оплаты подписки вырежьте и заполните прилагаемую квитанцию или воспользуйтесь ксерокопией.
При заполнении разборчиво укажите название организации, получателя, почтовый индекс, адрес доставки, количество номеров, а также сумму вашего заказа.
Стоимость одного номера – **210** руб.
Стоимость комплекта (полгода) **1260** руб.
Копию квитанции необходимо отправить:
по факсу **785-14-76**
или по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Напоминаем, что журнал выходит 6 раз в полугодие.
Оплату по этой квитанции необходимо произвести до 10 числа предыдущего месяца (есть возможность оформления подписки с № 7 2009 года).

При оплате платежным поручением, необходимо отправить заявку на подписку и затребовать счет к оплате любым удобным способом:
по телефону **(495) 921 25 52**
по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Почтовый адрес для писем по вопросам подписки:
123995, Москва, пр-т Маршала Жукова, 4, Агентство "Роспечать", Отдел прямой подписки.

ИЗВЕЩЕНИЕ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: _____ ФИО:_____ Адрес для доставки: _____ _____ ***Подписка на журнал «Иностранная литература» на_____ номеров 2009г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):
КВИТАНЦИЯ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: _____ ФИО:_____ Адрес для доставки: _____ _____ ***Подписка на журнал «Иностранная литература» на_____ номеров 2009 г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):

"ИЛ" в 2010 году:

Роман американского прозаика ДОНА ДЕЛИЛЛО **"Падающий"** обязан своим названием знаменитой фотографии, запечатлевшей падение человека, выбросившегося 11 сентября 2001 года из горящего небоскреба. Книга – о тех, кто уцелел в этой катастрофе, но словно бы завис между небом и землей.

"Император Запада" – яркая и удивительно изящная историческая зарисовка эпохи крушения Римской империи и становления новой европейской цивилизации. Автор романа – известный французский прозаик ПЬЕР МИШОН. В этом же году будут опубликованы и его беседы о литературе.

"Портрет одного из невидимых" – роман современного немецкого прозаика ХАНСА ПЛЕШИНСКИ, – это объяснение в любви умершему другу, и картина нравов мюнхенской художественной богемы, и рассказ о сюрреалистических полотнах Эдгара Энде, отца знаменитого сказочника Михаэля Энде.

"По наследству". В этой книге с подзаголовком **"Подлинные истории"** американец ФИЛИП РОТ, один из лучших писателей современности, рассказывая о смертельной болезни своего отца, который для него всегда остается "судьей всех его дел", с пронзительным лиризмом и тонким юмором повествует и о себе, и о своем времени.

"Ангелы на каждый день" – история о людях и ангелах. "Это книжка обо всех нас, чье время давно отмеряно, однако мы ведем себя так, будто нам дано жить здесь вечно", – так характеризует свою повесть МИХАЛ ВИВЕГ, самый читаемый чешский писатель.

"Здесь" – новая книга стихов польской поэтессы, лауреата Нобелевской премии ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ.

Впервые на русском языке подготовлены дневники, записные книжки, путевые заметки, письма, эссе и рассказы ГЕНРИ ДЖЕЙМСА – своеобразная лаборатория творческих планов, достижений и неудач, жизненных и литературных впечатлений всемирно знаменитого писателя – и другие материалы о его жизни.

"Необычный корреспондент" – своеобразный документальный роман в письмах выдающегося английского актера ДИРКА БОГАРТА, известного нашим зрителям по ряду кинофильмов, среди которых и "Ночной портье".

Свод писем, которыми обменивались ВЛАДИМИР НАБОКОВ и его "американский Вергилий", известный критик, эссеист и писатель ЭДМУНД УИЛСОН; в их переписке, продолжавшейся более тридцати лет, раскрываются сложные, подчас неразрешимые отношения двух крупных художников.

Отрывки из книги **"Тот, через которого соблазн приходит"** выдающегося французского философа РЕНЕ ЖИРАРА, который разработал концепцию "миметического желания и насилия", поражающую смелостью обобщений.

Книга МЕИРА ШАЛЕВА **"Впервые в Библии"** – экзистенциальная интерпретация известных библейских сюжетов. Писатель впервые рассказывает нам о том, что могли бы думать и чувствовать герои этих историй.

"Ничего страшного" – книга воспоминаний и философских раздумий ДЖУЛИАНА БАРНСА, в которой известный английский писатель размышляет о страхе смерти, вере и безверии и многом другом.

Американский публицист ИОНА ЛЕРЕР – об открытиях ученых в области человеческой психики, предвосхищенных Марселем Прустом, Вирджинией Вулф и другими писателями и художниками, в книге **"Был ли Пруст нейропсихологом?"**

Жизнь парижского литературного салона XVIII века, какой она предстает в письмах влиятельной маркизы ДЮ ДЕФФАН.

Литературные гиды: **"Американское эссе – XXI век"**, куда войдут яркие эссе таких известных авторов, как ДЖОН АПДАЙК, СИНТИЯ ОЗИК, МАЙКЛ ЧЕЙБОН и ряд других, ранее не публиковавшихся на русском языке; а также **"Книга и новые технологии: словесность в эпоху видео, Интернета, компьютерных игр".**

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины финского художника Магнуса Энкеля [1870–1925] *Мальчик с черепом* [1893].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.08.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1343.
Тираж 5 800 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

PERSONA
Журнал «Персона»/«Persona»

Журнал о творчестве
для творческих людей

Подписка-2009
38678
Объединенный каталог «Подписка-2009» – «Пресса России»
80905
Каталог агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы»

Продажа в книжных магазинах, театрах и культурных центрах Москвы и РФ

Льготная подписка и продажа в редакции (возможно с доставкой)

Редакция 119019 ул. Новый Арбат, д. 21
(495) 691-20-05, 691-50-27
E-mail persona-magazine@mail.ru
www.persona-magazine.ru

---

[10] 2009

НОЧЬ, КОГДА ПАЛА СТЕНА: ФРАГМЕНТЫ РОМАНА УВЕ ТЕЛЬКАМПА "БАШНЯ" / СТИХИ ХАЙНЕРА МЮЛЛЕРА, ДУРСА ГРЮНБАЙНА И БОРИСА ШАПИРО / РАЙНХАРД ЙИРГЛЬ И ДР. В РУБРИКЕ "9 НОЯБРЯ 1989 ГОДА" / ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ГЮНТЕРА ГРАССА "ПО ПУТИ ИЗ ГЕРМАНИИ В ГЕРМАНИЮ. ДНЕВНИК 1990 ГОДА" / СТАТЬЯ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР "В МОЛЧАНИИ МЫ НЕПРИЯТНЫ, А ЕСЛИ ЗАГОВОРИМ — СМЕШНЫ"

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

sustainability [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(присуждается предпринимателям)*

sustainable [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный (*о звуке*)

sustaining [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, поддерживающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

sustaining program *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstənəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪʤ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

...дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшивание, соединение

...*мед* накладывать швов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

...lte [svelt] *adj* стройный, гибкий (*о женщине*) **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveədˈlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердрупа *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник (*насадка типа щётки на шомпол*); шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

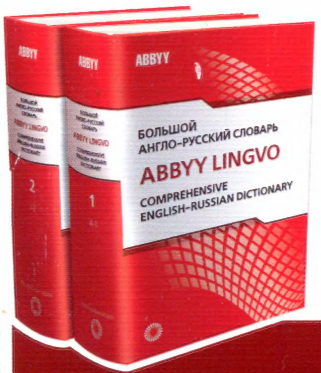
II *v* **1.** (*тж ~ down*) мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать (*младенца*) **2.** (*тж ~ up*) бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи-



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY®
www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

Приглашаем на работу
лингвистов и лексикографов
job@abbyy.com

ISSN 0130-6545 09009 9 770130 654770

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №9, 1-288

ИНДЕКС 70394